В. С. НЕЧАЕВА

Ранний Достоевский

1821–1849

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
им. А. М. ГОРЬКОГО

В. С. НЕЧАЕВА

Ранний Достоевский

1821–1849

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА
1979

В публикуемом исследовании рассматриваются некоторые спорные или малоизученные, но имеющие принципиальное значение факты и события жизни и творчества Достоевского с 1821 по 1849 г.

Значительное место в книге о раннем творчестве Ф. М. Достоевского отводится его брату — М. М. Достоевскому.

Устанавливается принадлежность писателю нескольких новых страниц текста.

Ответственный редактор

Е. В. СТАРИКОВА

Н $\frac{70202\text{-}131}{042(02)\text{-}79}$ 447-79 3603020400

Введение

Предлагаемая книга не является монографией, изучающей весь жизненный и творческий путь молодого Достоевского. Автор не ставит себе задачей рассмотреть все этапы его ранней биографии и проанализировать все, им написанное в этот период. Научная литература в этой области богата и продолжает пополняться как новыми сведениями, так и новыми точками зрения на уже известные факты.

Цель публикуемых исследований — рассмотрение лишь некоторых фактов раннего периода жизни и творчества писателя, которые, по нашему мнению, спорны, толкуются ошибочно или вообще обойдены вниманием исследователей.

В начале 70-х годов, в первых набросках к роману «Подросток», Достоевский, уже опытный автор больших художественных произведений, так охарактеризовал свой творческий процесс, выделив эту запись крупными буквами:

«Чтобы написать роман, надо запастись прежде всего *одним* или *несколькими* сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. *В этом дело поэта.* Из этого впечатления развивается тема, план, стройное целое. Тут *дело уже художника,* хотя художник и поэт помогают друг другу и в том и в другом — в обоих случаях» [1].

Дело исследователя творчества писателя — до какой-то степени проникнуть в те «сильные впечатления, пережитые сердцем автора действительно», послужившие основой «темы, плана и стройного целого» романа, а для этого нужно сосредоточить особое внимание на анализе тех «впечатлений», которые «действительно», т. е. сильно и глубоко, были пережиты его «сердцем».

Большинство книг о Достоевском, не только биографических, но и литературоведческих, начинается с рассказа о его родителях, детских годах, годах учения. Это вполне закономерно: писатель сам засвидетельствовал в творческих записях к романам, как глубоко запали в его душу эти ранние впечатления, не покидавшие его до последних лет жизни. Но, читая начальные страницы книг о ранних годах, проведенных писателем в Москве, мы нигде не обнаружили интереса к тем общественным настроениям, которые

характеризовали Москву в первые годы сознательной жизни Достоевского (1826—1836), т. е. годы, тотчас последовавшие за восстанием декабристов. Это была пора многочисленных политических слухов, широко поставленного шпионажа, доносов, арестов и разгрома зарождавшихся кружков, желавших продолжать дело декабристов. Но это была и пора созревания передовых деятелей будущего десятилетия в стенах Московского университета, уже признанного рассадником вольномыслия, антиправительственных идей. Тяжелая политическая атмосфера конца 20-х годов XIX в. осложнилась в начале 30-х известиями о революции во Франции, обнаруженными в России связями с восстанием в Польше и отголосками «холерных бунтов».

Указанные настроения не смогли не отразиться на воспитании старших сыновей штаб-лекаря М. А. Достоевского, человека достаточно образованного, чрезвычайно предусмотрительного и, конечно, «благонамеренного» чиновника учреждения, состоявшего под личным контролем царской фамилии. Отец писателя со свойственной ему мнительностью и осторожностью учитывал политическую сложность этого времени, опасность вольных идей, которые обнаруживались в среде учащейся молодежи, студентов и гимназистов, в современной литературе, и последовательно охранял подраставших сыновей от возможных влияний. Сперва строгая изоляция от какого-либо общения со сверстниками, потом отдача сыновей в частное закрытое учебное заведение, высоко рекомендуемое, а далее определение их в военизированное Инженерное училище в Петербурге — таков был путь, избранный М. А. Достоевским для своих сыновей, связанный, по нашему мнению, с общественными политическими настроениями этого десятилетия.

Характеристика Михаила Андреевича Достоевского привлекала внимание многих исследователей и вызвала самые разнообразные, часто противоположные трактовки его личности. Одними он объявлялся запойным пьяницей, развратником, жестоким крепостником, семейным деспотом, маниакальным скупцом и лицемером, другими — личностью «гордой и независимой», совершившей в 15 лет чуть не «ломоносовский» путь в стремлении к образованию, прекрасным семьянином, ставшим жертвой злобного преследования богатого соседа. Нашей задачей было выявить отличительные черты личности М. А. Достоевского прежде всего по наиболее достоверному источнику — его собственным письмам и воспоминаниям его третьего сына, Андрея, который был дольше и ближе связан как с отцом, так и с людьми, постоянно общавшимися с ним. Изучение истории Медико-хирургической академии не позволяет видеть ничего «ломоносовского» в стремлении двадцатилетнего семинариста в это учебное заведение, которое именно на подобных кандидатов было рассчитано и обеспечивало им привлекательную возможность сменить жалкое прозябание в сельском церковном причте на официальную службу чиновника военного ведомства.

Мы сочли нужным внести корректив в ставшее традиционным изображение матери писателя как некоей «кроткой», безответной жертвы жестокого деспота, опять-таки основываясь на ее письмах во всем их объеме, а не ограничиваясь вырванными из них цитатами.

Во втором разделе исследования — пребывание Достоевского в пансионах — было соблазнительно хотя бы очень осторожно коснуться тех «сильных впечатлений, пережитых сердцем автора», которые он много позднее в какой-то мере приурочил к отроческим годам своих будущих героев («Житие великого грешника», «Подросток»), сопроводив рядом упоминаний о людях и фактах своей личной биографии.

После искусственной изоляции до одиннадцатилетнего возраста пребывание в пансионах было первым сближением братьев Достоевских с представителями разных социальных слоев, внесемейным общением с людьми. Это было также временем усиленного чтения, страстного увлечения литературой. Лишь недавно стало известно, кто был тот учитель словесности в пансионе Чермака, который, по словам А. М. Достоевского, «сделался идолом» его старших братьев и «на каждом шагу был ими упоминаем».

Чтобы понять значение для Ф. М. Достоевского авторитета Н. И. Билевича в эти отроческие годы, мы исследовали две печатные работы, в которых запечатлелись педагогические и общественно-политические взгляды этого незаурядного педагога. Его педагогические установки мы находим в статье «О преподавании русского языка и словесности». В пору тягчайшей реакции, когда от всех подданных, от мала до велика, требовалось прежде всего строгое следование официально одобренным суждениям и преследовалось всякое «вольномыслие», в пору, когда в школах процветала бессмысленная механическая зубрежка, Билевич так сформулировал тезис, которым он руководствовался, обучая своих учеников: «Человек должен *мыслить, рассуждать* и *уметь выражать свои мысли* (понимаю — *правильно*), эти три условия разумного существования его он обязан выполнить и в детстве, и в юности, и в возрасте мужества. Если слово есть выражение духа человека, то и сфера изучения словесности может ограничиваться этими тремя требованиями».

Вторая привлеченная нами статья Билевича открывает, каким в идеале Билевича был «дух человека» мыслящего, рассуждающего и выражающего свои мысли. Это его прекрасная статья о Николае Ивановиче Новикове, которая одновременно является и серьезным аргументированным исследованием о деятеле XVIII в., и вместе с тем восторженной оценкой его просветительской деятельности, подлинным апофеозом писателя, отдавшего свою жизнь гуманным идеям, росту русской культуры и литературы.

С именем Билевича связываем мы и первое увлечение русской журналистикой будущих издателей «Времени» и «Эпохи», интерес братьев Достоевских к «Библиотеке для чтения».

В разделе о пребывании Достоевского в Инженерном училище мы характеризуем на основе ряда архивных материалов первое знакомство писателя с нравами окружающей его петербургской действительности, произволом, взяточничеством и карьеризмом начальства, невежеством и ограниченностью интересов сверстников, отвращение писателя к изучаемым дисциплинам и военной муштре. Касаясь его дружеских связей с И. Н. Шидловским, мы фиксируем внимание не на позднейших устремлениях к религии этого поэта-романтика, а на его горячей защите и пропаганде на рубеже 30—40-х годов русской журналистики, на его высокой оценке «Московского телеграфа» и личной близости с Н. Полевым, на его серьезной похвале «Отечественных записок», начавших выходить под редакцией Краевского. Эти авторитетные для братьев Достоевских суждения Шидловского могли быть определенным этапом на их пути к будущей журналистской деятельности.

Особое внимание в этом исследовании мы отдаем важному факту биографии писателя — смерти его отца в 1839 г. Автор недавно опубликованных отрывков «Следственного дела» о смерти М. А. Достоевского принимает официальную судебную версию, что смерть произошла от «апоплексического удара», и отвергает идущее от современников этого события утверждение, что М. А. Достоевский был убит своими крепостными крестьянами. Именно это утверждение было признано правильным в семье писателя и, конечно, им самим. Можно сомневаться как в достоверности судейских формулировок, так и в мемуарных свидетельствах современников события, но отстаивать ничем не аргументированный домысел, что сведения об убийстве были *сочинены* по злобе на покойника его соседом-помещиком, кажется нам задачей несерьезной и неубедительной как в бытовом, так и в психологическом плане.

В четвертом разделе нашего исследования от анализа биографических событий мы переходим к творчеству Достоевского. Тщательно изучается перевод романа Бальзака «Евгения Гранде», как его первое «художественное произведение». Если в идею и сюжет романа Достоевский не мог внести свое творческое начало, то в создании основных образов, характеристике их психологии, поведения, языка он смело выступил как оригинальный творец-художник. С этого труда должно начинаться изучение его как великого мастера, художника-психолога. Знакомя читателя с историей этого перевода, мы должны были отметить недостоверность как французского, так и русского текстов, к которым обращались ранее исследователи перевода, что внушает сомнение в научности и достоверности их работ.

В заключение мы впервые привлекаем внимание изучающих творчество Достоевского к оконченному им, но не дошедшему до нас переводу романа Жорж Санд «Последняя Альдини», героиня которой, по нашему мнению, оставила в нем «впечатление, пере-

житое сердцем автора действительно» и возможно отразившееся позднее в «Неточке Незвановой».

При анализе перевода романа Бальзака мы обратили внимание на те детали перевода, которые соединяют его с автобиографическими воспоминаниями и переживаниями Достоевского, а также на те, которые нашли свое отражение и развитие в его первом оригинальном произведении «Бедные люди». В исследовании этого романа мы говорим подробнее о его связи с глубокими детскими впечатлениями автора, об «исповедальном» характере записок Вареньки и о какой-то связи ее образа с героиней недавно законченного перевода Бальзака.

Однако основными «сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно», из которых развилась «тема, план, стройное целое» этого романа, по нашему мнению, были не жизненные впечатления автора, а глубоко взволновавшие его *заново* прочитанные произведения трех русских писателей — Пушкина, Гоголя и Белинского, впечатления, которые объединились в центральной фигуре Макара Девушкина.

Несколько частный характер отличает шестой раздел исследования. В нем приводится новое свидетельство того, как остро ощущали некоторые современники Достоевского в самих себе черты, подмеченные автором «Двойника» в Голядкине. Подтверждается дважды зафиксированное то же наблюдение в статьях Валериана Майкова, а позднее повторенное Добролюбовым.

Седьмой раздел исследования посвящен рассказу Достоевского «Господин Прохарчин». Воспроизведен текст газетной информации, который, по нашему мнению, послужил основой рассказа. Задачей исследования было определить те цензурные искажения, которым подвергся рассказ, в результате чего автор готов был от него отречься, а Белинский нашел его малопонятным. Несомненно, что наиболее заостренные автором высказывания Прохарчина против зависимости от николаевского бюрократического режима, который угнетал чиновничью мелкоту и порождал в ней «вольнодумство», были удалены цензурой. Об этом можно догадываться и по неувязке оставшегося текста, и по не соответствующей на него реакции присутствующих слушателей, и по значительности нескольких сохранившихся реплик Прохарчина. Они позволяют догадываться, что страх перед закрытием канцелярий, порождая помешательство отдельных лиц, вызывал массовый протест тех, кто понял и осознал, что «и всем тяжело» жить на свете.

В восьмом разделе исследования рассмотрены некоторые проблемы неоконченного романа «Неточка Незванова». В первой его части, посвященной Ефимову, нет оснований видеть, подобно иным исследователям, социальную драму артиста из низов, не признанного «светом». До какой-то степени справедливы указания на значение личных переживаний Достоевского в период, когда после блестящего успеха «Бедных людей» следующие его произ-

ведения встретили неблагоприятные оценки критики и читателей. Но, по нашему мнению, основной задачей Достоевского в повествовании об Ефимове было вскрыть трагедию артиста, переоценившего или потерявшего по своей вине талант, т. е. та же задача, которую решал Гоголь в своем «Портрете». Сопоставление обоих произведений, не производившееся ранее, обнаруживает ряд общих этапов в развитии трагедии Чарткова и Ефимова при всем различии завязки сюжета, фантастической в одной повести и глубоко психологической и реальной в другой.

Возможно, что не одно возражение встретит наша уверенность в том, что «сильным впечатлением», помогавшим «художнику» создать атмосферу второй части романа, были воспоминания автора — «поэта» — о его старшей сестре Варваре, которая до какой-то степени была уже предметом его изображения в «Бедных людях». Память о тяжелой зиме, проведенной после смерти матери пятнадцатилетней Варей в глухой деревне с полупьяным отцом, резкий переход от убогого существования в богатый дом Куманиных, совместная жизнь и дружба с хорошенькой сверстницей Катей Нечаевой, сестрой хозяйки дома, выросшей в самых благоприятных условиях, сам хозяин дома А. А. Куманин, известный филантроп и уважаемый общественный деятель, — все это позволяет сопоставить судьбу Вари с судьбой осиротевшей Неточки в доме князя Х. и ее близость с княжной Катей.

Более всего места в нашей работе отведено исследованию (в трех частях) ранних фельетонов Достоевского («Петербургская летопись», 1847), чего по неопытности мы не смогли сделать в 1922 г., когда, найдя их в старой газете, опубликовали отдельной книгой. Б. В. Томашевский отверг нашу атрибуцию Достоевскому фельетона 13 апреля 1847 г., приписав его Плещееву, а В. Л. Комарович настаивал на совместном авторстве в этом фельетоне Достоевского и Плещеева. Ни тот, ни другой исследователи не сделали никаких попыток сопоставить фельетон с известными фельетонами Плещеева этого времени. После тщательного изучения нескольких десятков фельетонов Плещеева 1846—1847 гг. в «Русском инвалиде», после параллельного сопоставления фельетона 13 апреля со следующими фельетонами, подписанными Достоевским (сюжеты, образы, стиль, авторская позиция), мы убедились — и старались доказать это читателю — в единоличном авторстве Достоевского в этом фельетоне.

Вторая часть исследования о фельетонах («Петербург Достоевского») посвящена характеристике Достоевским столичного населения и отношению фельетониста к нему. Отмечается его постоянное саркастическое изображение «светской» публики, высмеивание ее якобы цивилизованности и культурности. Иронически изображается и средняя интеллигентная масса петербуржцев, так называемые кружки, где действительно толкуют и об общественных интересах, и о литературе, но постепенно скатываются к обмену «новостями», сплетням и все завершается карточной игрой.

Мимоходом касается Достоевский «простого народа», т. е. мелкой буржуазии и мещанства, отмечая пагубное влияние на эти слои подражания верхам, «свету», которое сковывает естественный народный характер.

Но, рисуя этот окружавший писателя ежедневно Петербург со всеми отрицательными сторонами, Достоевский думал о его будущем исчезновении и появлении на его месте иного города и иных людей (фельетон 1 июня). В этом будущем Петербурге, который пока в «хаосе», созидается и «будущее его еще в идее; но идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России...». А люди, его населяющие, будут помнить, что «только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте... не в уединении» они станут подлинными людьми, людьми «с добрым сердцем».

В третьей части исследования о фельетонах рассматривается их связь с большинством произведений Достоевского, написанных им в 1847—1848 гг. Особое внимание привлекает образ Юлиана Мастаковича, крупного дельца и эксплуататора, который в современном Петербурге, накануне падения феодально-крепостнического режима, делается наиболее заметной фигурой. Как одно из характернейших явлений этого же времени отмечается фигура «мечтателя». В фельетоне она дана в виде «физиологического очерка», художественно опоэтизированная — в «Белых ночах», трагически гибнущая в «Хозяйке».

Но рядом с перечисленными выше «книжными» мечтателями появляются наброски иных, мечта которых направлена на улучшение современной социальной жизни. Они подготовлены вольнодумством Макара Девушкина, Прохарчина и воплощаются в Васе Шумкове и Нефедевиче в «Слабом сердце». «Книжная» мечтательница Неточка Незванова, столкнувшись лицом к лицу с человеческой несправедливостью, превращается в активного борца с жизненным злом.

Последнее исследование посвящается ближайшему в эти ранние годы Ф. М. Достоевского человеку — его брату Михаилу. Он почти забыт нашим литературоведением, сведения о нем не лишены фактических ошибок, а высказанные нравственные оценки его личности несправедливо чернят его образ, о чем мы уже говорили в печати[2]. Дружба их, возможно, была «сильнейшим» впечатлением, «пережитым сердцем» юноши Ф. М. Достоевского, и не могла не сказаться на его мировоззрении и художественной деятельности.

В разделе о М. М. Достоевском мы рассматриваем его беллетристические произведения. Наиболее существенным является анализ его повести «Пятьдесят лет», опубликованной в 1850 г. Близость ее сюжета, отдельных персонажей и их роли, ряда бытовых деталей к сибирской повести Ф. М. Достоевского «Дядюшкин

сон» никогда не учитывалась исследователями, но требует какого-то объяснения.

Наиболее интересное художественное достижение М. М. Достоевского как беллетриста — его незаконченный роман «Деньги», которому мы отдаем наибольшее внимание. От изображения обычного для «натуральной школы» мира мелких чиновников и канцеляристов в этом произведении М. М. Достоевский обратился к классу современной буржуазии, рисуя всех ее представителей от крупных денежных воротил, акционеров и спекулянтов до разоренных ими и эксплуатируемых мелких торговцев и предпринимателей. В романе ощущается веяние приближающейся новой эпохи, которая придет на смену феодально-бюрократическому николаевскому режиму.

В «Введении» мы коротко наметили те неясные и спорные проблемы, касающиеся жизни и творчества раннего Достоевского, которым далее посвящены десять исследований. Существенным кажется нам признание единоличного авторства Достоевского в фельетоне 13 апреля 1847 г. Теснейшим образом связанный и по идейному направлению, и по содержанию, и по стилю изложения не только с остальными четырьмя фельетонами, но и со всем творчеством молодого Достоевского, фельетон 13 апреля должен занять свое законное место в его литературном наследии.

В области биографических фактов особенно важен критический пересмотр вопроса о смерти отца писателя, анализ исторических (юридических и психологических) данных, дошедших до нас об этом событии.

Предполагая, что некоторые из выдвинутых нами в книге объяснений, сопоставлений, гипотез встретят аргументированные возражения специалистов, которых мы цитируем в исследованиях и примечаниях к ним, думаем, что все же наша работа послужит достижению исторической истины в изучении жизни и творчества раннего Достоевского.

I

Москва 20–30-х годов XIX в. Родители писателя

Десять лет прошло с тех пор, как Достоевский покинул Москву. Он был уже известным писателем и полон новыми литературными планами. В ненастное весеннее утро 1847 г. он расположился писать фельетон для газеты «Санкт-Петербургские ведомости», но, «сам не зная как, раскрыл журнал и начал читать одну повесть». Это был № 3 «Отечественных записок», а повесть называлась «Сбоев» и принадлежала А. Нестроеву (псевдоним П. Н. Кудрявцева). Один эпизод этой повести так глубоко захватил Достоевского, что в своем фельетоне «Петербургская летопись» он с волнением изложил часть его содержания и свои переживания при его чтении. Он писал:

«В этой повести описывалось одно московское семейство среднего, темного круга... И я как будто перенесся в Москву, в далекую родину. Если вы не читали этой повести, господа, то прочтите ее... Так прочтите в ненастный час, в такое же ненастное утро, эту повесть об маленьком московском семействе и об разбитом фамильном зеркале. Я как будто видел еще в моем детстве эту бедную Анну Ивановну, мать семейства, и Ивана Кириллыча знаю. Иван Кириллович — добрый человек, только под веселый час под куражем любит разные шуточки. Вот, например, жена его больная и все смерти боится. А он при людях начнет смеяться и стороною, для шутки речь заводить, как он в другой раз женится, когда овдовеет. Жена крепится, крепится, засмеется, с натуги, что делать, такой уж характер у мужа. Вот разбился чайник, правда, денег стоит: но при людях все-таки совестно, когда муж начнет стыдить и попрекать за неловкость. Вот настала и масленица. Ивана Кирилловича не было дома. Собралось на вечер, как будто украдкой, много молодых подружек к старшей дочери... Как будто предчувствовала больная Анна Ивановна, но увлеченная общим желанием разрешила жмурки. Ах, господа, точно пятнадцать лет назад, когда я сам играл в жмурки! Что за игра!... Случилось так, что меньшие дети забились в угол под стул и зашумели у зеркала... зеркало покачнулось, сорвалось с ржавых петель... и разбилось вдребезги. Ну! Когда я читал, как будто

я разбил это зеркало! Будто я был во всем виноват. Анна Ивановна побледнела, все разбежались, на всех напал панический страх. Что-то будет! Я с нетерпением и страхом ожидал прихода Ивана Кирилловича. Я думал об Анне Ивановне. Вот в полночь он возвратился хмельной. Навстречу ему на крыльцо вышла змея-наушница бабушка, московский старинный тип, и что-то нашептала, вероятно, о приключившемся *несчастии*. Сердце мое начало биться, и вдруг гроза началась, сначала с шумом и громом, потом стихая; я услышал голос Анны Ивановны: что-то будет? Через три дня она лежала в постели, через месяц умерла в злой чахотке... Хорош и Иван Кириллович. Он почти с ума сошел. Он сам бегал в аптеку, ссорился с доктором и все плакал о том, на кого это жена его оставляет! Да, много припомнилось» [1].

Не только через десять лет, но до конца своей жизни Достоевский будет возвращаться памятью к проведенным в Москве годам детства и ранней юности: свидетельства об этом мы встретим не только в его письмах к родным и близким и в их воспоминаниях, но и в его рабочих тетрадях, в черновиках его гениальных романов. Исследователи будут угадывать нити, ведущие от его художественных образов к людям и событиям из жизни «одного московского семейства среднего, темного круга».

И естественно, что многие книги о Достоевском, не только биографические, будут начинаться рассказом о семье, жившей в больничном флигеле на Божедомке.

Нам кажется, однако, что прежде чем говорить о московском семействе Достоевских, надо сделать небольшой экскурс в историю Москвы того десятилетия, на которое пришлись первые сознательные годы писателя, — Москвы 1826—1836 гг.

В 1834 г. в Москве вышла небольшая книжка В. П. Андросова «Статистическая записка о Москве». Ее автор, обративший на себя внимание в университете сочинением о Канте, посвятил свою дальнейшую деятельность теории и практике сельского хозяйства. Но он уже был автором напечатанной в «Телескопе» в 1834 г. яркой антикрепостнической «русской современной были», а позднее редактором и издателем журнала «Московский наблюдатель». «Статистическая записка о Москве» интересна не только собранными в ней статистическими данными, но и их осмыслением и теми замечаниями, которыми автор сопровождал приводимые цифры. Отмечая незначительный процент населения Москвы, принадлежащего к «людям высшего сословия», Андросов доказывал, что политические события первого тридцатилетия XIX в. расстроили прежние условия экономической жизни страны, способствовали обеднению дворянства «и принудили многих дворян, бывших прежде этого времени постоянными зимними обитателями Москвы, распрощаться со столичною жизнию... Следствием этого было... в столице — переход многих недвижимых собствен-

ностей во владение среднего сословия, которое с этого времени ощутительно начало усиливаться, ибо самая промышленность, возбуждаемая и поддерживаемая внутренним потреблением и покровительствуемая с большими или меньшими изъятиями, но уже постоянно правительством наблюдаемою запретительною системою, оказала успехи неимоверные...». Основываясь на данных о переходе недвижимости из рук дворян в руки купцов и мещан и особенно подчеркивая рост приобретений среди мещанского сословия, Андросов пришел к заключению, «что среднее сословие необыкновенно усилилось в Москве».

Сведения о московской промышленности и населении, в ней занятом, Андросов сопровождал постоянными оговорками, указаниями на непосильную для него трудность дать верное представление об этой стороне московской жизни. Надо признать, что статистическое изучение промышленности этого времени было почти невозможно. Недоброкачественность цифровых данных соединялась с отсутствием отчетливого понимания современниками тех процессов, которые происходили в Москве в связи с бурным ростом ее промышленности.

Андросов указал, что «большая половина народонаселения Москвы... состоит из людей, призываемых в Москву промышленностью. Большая часть этих людей были крестьяне, стекавшиеся как из ближайших, так и отдаленных губерний». Среди них можно было наметить разные категории, но все они вместе составляли около 122 тыс. «Около половины всего народонаселения Москвы составляют дворовые и крестьяне, в числе которых более $^3/_4$ крепостного состояния», — подводил итог Андросов. Из таблиц, помещенных в «Статистической записке», мы узнаем, что в Москве начала 30-х годов было свыше 3000 ремесленных заведений, на которых работало свыше 20 тыс. работников и учеников; свыше 19 тыс. приказных и разночинцев. Мелкие чиновники, приказные, по большей части духовного происхождения, были очень заметной составной частью населения Москвы, где, кроме многочисленных городских и губернских учреждений (суды, казенная палата, опека, почтамт и др.), находилось три департамента сената, сосредоточившие в себе целую армию чиновников.

Книга Андросова произвела сильное впечатление на современного ему читателя собранными в ней данными. Как уже было ранее нами отмечено [2], в относящемся к 1833—1835 гг. «Путешествии из Москвы в Петербург» Пушкина нетрудно уловить отголосок рассуждений Андросова и установить текстуальную близость в характеристике Москвы, «покидаемой дворянством» и заселяемой богатеющим купечеством и процветающими представителями промышленности.

Восторженный отзыв о книге дал «Телескоп», сопроводив его чрезвычайно большими выписками. Но глава, посвященная промышленности, не вполне удовлетворяла Погодина, который был автором рецензии. Называя Москву «средоточием нашей ману-

фактурной промышленности», он требовал более подробных сведений о ней.

Совсем в ином духе дал рецензию на труд Андросова Николай Полевой в «Московском телеграфе». Он указывал на ряд пропусков Андросова: «Нет никаких известий о нищих и бродягах, которых в Москве такое множество, что правительство учредило особенную комиссию для искоренения сего зла...»; «Автор позволил себе много замечаний, почему же не сказал он ни слова об этой толпе учителей, отставных студентов, кандидатов, приезжих и урожденных иностранцев, которые целый день ходят и ездят из дома в дом *давать* уроки?...». Полевой был недоволен слишком беглыми сведениями о культурной жизни Москвы, об ее учебных заведениях, типографиях, театрах. Но главное, что он поставил в вину автору книги, это недостаточно определенная, сбивчивая позиция, которую занял Андросов в изображении Москвы как промышленного центра.

«Рыцарь промышленности» (так называли Полевого его враги), сознательно поставивший себя на защиту и службу русской буржуазии, он критиковал самую попытку Андросова делать общие выводы на основе статистических данных, которым нельзя доверять «по многим причинам», так как они, «по-видимому, собраны большею частью полицейским управлением, а всякому известно, как собираются и каковы сведения сего рода». Надо думать, что, кроме этой немаловажной причины, Полевой имел в виду еще более важную: выводы из статистических таблиц, сделанные со всей откровенностью, превратились бы в жестокую критику всего строя и, конечно, не могли бы пройти через цензуру.

Регистрируя социальный состав населения Москвы и происходящие в нем изменения, Андросов совершенно не касался общественных настроений и поведения различных сословных групп в эти самые мрачные годы полицейского и цензурного террора, которые последовали после разгрома декабрьского восстания. Между тем для нашей книги важно хотя бы бегло напомнить об атмосфере страхов и слухов, в которой тогда жило население Москвы [3].

«Великими историческими событиями ознаменовался 1825 год для нашего отечества, — вспоминал московский педагог и литератор, «безземельный дворянин» Сергей Глинка. — Москва превратилась в столицу военную. Недоумение и страх восстали по всем ее стогнам. Многие уезжали из нее, опасаясь какого-то волнения... Носились различные туманные слухи...» Бывший студент Муразакевич вспоминал о том же времени: «Видно, Москва еще не забыла старинное „слово и дело“, когда о всех современных событиях говорили и судили не иначе как вполголоса и то с оглядкой». Среди дворян, сочувствовавших декабристам, передавались слухи, что к Москве с юга идет 2-я армия, а с Кавказа войска Ермолова, которые не присягают Николаю. «Эти слухи были так живы и по-

ложительны, — вспоминал Кошелев, — и казались так правдоподобны, что Москва или, вернее сказать, мы ожидали всякий день с юга новых Мининых и Пожарских».

В народной среде распространялись противодворянские, противопомещичьи слухи и выявлялись своеобразные агитаторы, собиратели и разносители слухов, главным образом из дворовых людей. В «Кратком обзоре общественных мнений за 1827 год», представленном Николаю I, обозреватель из III отделения писал о крепостных: «Среди этого класса встречается гораздо больше рассуждающих голов, чем это можно было бы предположить с первого взгляда... шатающиеся по кабакам мелкие чиновники, в особенности выгнанные за дурное поведение, распространяют пагубные идеи среди крепостных, главари и подстрекатели коих находятся среди барской челяди». Целое «дело» о слухах возникло на основании доноса о разговорах сторожей и караульных Архива иностранных дел, которые ссылались как на источник на подслушанные разговоры чиновников.

Москва была наводнена шпионами и доносчиками. Были приняты многочисленные предохранительные меры. Столица была переполнена введенными в нее войсками — в каждом доме был военный постой. Напряженное угнетенное состояние населения усиливалось многочисленными арестами и увозами в Петербург лиц, так или иначе оказавшихся причастными к восстанию или только заподозренными в том. В 1827 г. в Москве было раскрыто «тайное общество братьев Критских», задумавших продолжать дело декабристов и мстить за них. Общество, состоявшее из разночинной молодежи, было связано с Московским университетом и с мелким чиновничеством.

Дело Критских вызвало новую волну арестов и усилило подозрительность правительства по отношению к разночинной интеллигенции и особенно к Московскому университету, где в это время формировался отряд новой молодежи, которая взяла на себя дальнейшую разработку передовых общественных идей.

Но реакция делала свое дело. Герцен писал о Москве того времени: «Тон общества менялся наглядно; быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто... не смел показать участия, произнести теплого слова о родных и друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства: одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно».

Быстро совершался отход от вольномыслия и среди части разночинной интеллигентной молодежи. Напомним хотя бы путь наиболее способных ее представителей — таких, как Никитенко, Погодин, историк Строев. Страх быть замешанными в следствии по политическим делам сменился заботой о своем положении в условиях торжествующей реакции, стремлением приспособиться к идеологии крепостнической и бюрократической дворянской верхушки,

служить ей в качестве чиновников, педагогов, журналистов и т. п. Н. И. Пирогов вспоминал о своих товарищах по университету, бывших «закоснелыми приверженцами всякого рода свободомыслия и вольнодумства, и многих из них видел потом тише воды, ниже травы на службе, семейных и богомольных... Того господина, например, из 10-го нумера, который горланил во всю ивановскую „Оду на вольность", я видел потом тишайшим штаб-лекарем, женатым, игравшим довольно шибко в карты и служившим отлично в госпитале...».

Об одной лишь категории населения Москвы мы не находим никаких свидетельств колебаний ее общественно-политических симпатий: «Спасаясь от конкуренции под защиту покровительственных тарифов, буржуазия искала опоры у существующей власти и не могла подняться до широкого и ясного понимания своих классовых интересов», — пишет советский историк [4]. Ни старшее, ни младшее поколение русской буржуазии того времени не питало революционных настроений, не стремилось к активной борьбе за свои интересы и права, довольствуясь успехами торговли и промышленности, за благоприятные условия для которых она была признательна правительству.

По возможности бегло наметив общественно-политическую атмосферу, которая окружала семью Достоевских в эпоху детства и ранней юности писателя, перейдем к характеристике ее главы — Михаила Андреевича Достоевского. Исследование об истории рода Достоевских с XVI в., о связях этого рода с Польшей и Литвой, с католичеством [5] ничего не дает для понимания одного из его потомков, родившегося в 1789 г. в семье православного священника Подольской губернии. Михаил Андреевич окончил Подольскую семинарию. Далее о его жизненном пути его сын Андрей Михайлович пишет в «Воспоминаниях»:

«Так как дед мой непременно хотел, чтобы его сын, а мой отец, пошел по его же стопам, т. е. сделался священником, и так как отец мой не чувствовал к этой профессии призвания, то он с согласия и благословения матери своей удалился из отеческого дома в Москву, где и поступил в московскую Медико-хирургическую академию студентом» [6].

Вот все, что мы знаем об этом важном событии в жизни Михаила Андреевича и чему можем доверять, вопреки романтическому изложению в записях Любови Федоровны Достоевской, которая пишет о «смертельной вражде» М. А. Достоевского с его отцом и братьями (брат был только один!), его уходе из дома «в пятнадцать лет» (ему было 20!), с «жалкой котомкой» «без денег и без протекции» в незнакомый город [7].

Формулярный список о службе М. А. Достоевского начинается так: «Из подольской семинарии в число казенных воспитанников по медицинской части императорской Медико-хирургической академии в Московское отделение поступил 1809 г. октября 11» [8]. Это начало как будто свидетельствует о непосредственном переходе

из семинарии в воспитанники академии, что было как раз характерно для этих лет.

Главной задачей основанной в Петербурге в 1799—1800 гг. Медико-хирургической академии (и ее Московского отделения) была подготовка врачей для армии и флота. По указу, данному Павлом в 1798 г. и подтвержденному Александром I в 1803 г., студенты академии набирались почти исключительно из семинаристов, окончивших философский курс. Отбирали их «по склонности и охоте», при условии хороших знаний латинского языка и словесных наук. По этим предметам при поступлении они сдавали экзамены и в случае удачных испытаний принимались казеннокоштными учениками академии. Но были случаи самостоятельных приездов: «Если кто из семинаристов приезжал, не будучи послан Управой, таких было не много, — и принимался в казеннокоштные, то ему выдавались прогоны за две лошади» [9]. При недостатке врачей каждый способный ученик находил приют в стенах академии. Так самостоятельно приехал отец критика Григорий Никифорович Белынский в 1804 г. Так как в семинарии он еще не прошел философский класс, то и не мог быть отобран для посылки в академию.

А. М. Достоевский писал, что Михаил Андреевич «не чувствовал призвания» быть священником и решил покинуть дом. Но также может быть, что его пугала бесперспективность будущего на родине: он не мог «унаследовать» место отца, который был протоиереем г. Брацлава Подольской губернии, и ему предстояла участь его брата, Льва, который был назначен священником в село, а после смерти отца должен был взять на свое попечение трех сестер.

Был ли Михаил Андреевич отобран и послан из семинарии в академию, отправился ли самостоятельно, конечно зная, как охотно примут в нее подготовленного семинариста на казенный кошт, — нам неизвестно. Но у нас нет оснований видеть в его отбытии в Москву «повторения ломоносовского шага». Нет оснований и мрачно рисовать, вслед за Л. Ф. Достоевской, его путь в Москву — «без средств, без связей, когда и пешком» — за образованием, открывавшим ему более благоприятные условия жизненного пути [10]. Кроме отделения Медико-хирургической академии, в Москве врачей готовил и медицинский факультет Московского университета, количество студентов на котором порою было меньше учащихся в академии.

«По составу студентов Медико-хирургическая академия, так же и медицинские факультеты университетов, были более демократическими, нежели другие факультеты университета. Нуждаясь во врачах и считаясь с тем, что дворяне неохотно выбирали своей профессией медицину, правительство вынуждено было допускать сюда больше разночинцев» [11].

Историк академии описывал суровую обстановку и условия, в которых жили и учились казеннокоштные студенты, сообщал,

что среди них на этой почве вспыхивали «замешательства», но расправа с выказавшими «отменную дерзость» и «буйство» была коротка: несовершеннолетних пороли, совершеннолетних отдавали в солдаты. Историк отмечал, что студенты из бурсаков, «в школьной жизни которых было немного условий, содействующих смягчению нравов», отличались грубостью, наклонностью к «насилиям», т. е. дракам и пьянству. Но он же отмечал и положительные черты этой демократической студенческой массы: «Горячая любовь к ближнему, стремление вступиться за обиженного, уважение ко всему честному и благородному» отличали бурсаков. «Строгая дисциплина, небогатая обстановка, почти беспрерывные занятия — вот отличительные черты студенческой жизни в первые годы академии. Такая жизнь приучала к труду, вырабатывала терпение, выносливость, подготовляла их к перенесению трудностей и невзгод врачебной службы» [12].

Учение Михаила Андреевича, видимо, протекало вполне благополучно. 4 ноября 1811 г. он «удостоен студентом 3 класса. Студентом 4 класса произведен 15 июля 1812 г.» Но здесь и кончается его учеба, а начинается служба военным врачом в связи с развертывавшимися военными событиями: «По надобности во врачах во время последней против французов войны командирован г. вице-президентом академии в московскую Головинскую госпиталь для пользования больных и раненых 15 августа 1812 г. Потом в Касимовский военно-временный госпиталь, откуда получил похвальный аттестат 1 сентября 1812 г. Потом командирован им же г. вице-президентом Московской губернии в Верейский уезд <для> прекращения свирепствовавшей там повальной болезни и за что имеет тоже похвальный аттестат. Лекарем 1-го отделения произведен 5 августа 1813 г. В Бородинский пехотный полк поступил 1 сентября 1813 г. За выслугу узаконенных лет медицинским департаментом военного министерства удостоен звания штаб-лекаря в означенном полку со старшинством 5 августа 1816 г. По предписанию медицинского департамента, во уважение ревностной службы его помещен в оном же полку на оклад 1-го класса с жалованьем по 500 рублей в год 20 октября 1816 г. Из оного полка переведен в Московский военный госпиталь ординатором, за усердную службу помещен на оклад старшего лекаря 2-го класса с жалованьем по 600 рублей в год 7 мая 1819 г. Уволен из военной службы 16 декабря 1820 года».

Восемь лет службы военного врача после сражения при Бородино, к тому же с командировкой на эпидемию были, вероятно, очень нелегкими, но, по-видимому, начальство его ценило, и он продвигался по служебной иерархии с похвалами и вполне удовлетворительно. Чем же объяснялась его отставка в тридцатилетнем возрасте? Надо думать, что причиной были его женитьба в 1819 г., появление в 1820 г. первого ребенка и желание прочно обосноваться в Москве, не будучи связанным военной службой.

Через своего сослуживца он вошел в дом своей будущей невесты. А. М. Достоевский так рассказывает об этом в своих воспоминаниях: «Г. П. Маслович, по словам маменьки, был, так сказать, сватом моего отца. Служа с отцом вместе в Московском военном госпитале и узнав его за доброго и хорошего человека, Григорий Петрович познакомил его с домом моего деда Федора Тимофеевича Нечаева, с которым был по жене своей в родстве...».

Одинокий в Москве Михаил Андреевич Достоевский, женясь на Марии Федоровне Нечаевой, вступил в обильную родней семью Котельницких-Нечаевых, в которой были и представители буржуазии, от купцов 1-й гильдии до «сидельцев» в лавках, и представители разночинной интеллигенции, от профессора Московского университета до скромных художника и архитектора. Своего деда по матери, М. Ф. Котельницкого, бывшего корректором Московской духовной типографии, Мария Федоровна, родившаяся в 1800 г., уже не застала в живых, но отзывалась о нем как об «очень умном человеке». Ее родной дядя, брат матери, Василий Михайлович Котельницкий, декан медицинского факультета в университете, читавший фармакологию, был наиболее уважаемым родственником в семье Достоевских, хотя, как свидетельствовал А. М. Достоевский, он, «быв доктором, по его собственным словам, не написал в свою жизнь ни одного рецепта по причине своей мнительности и боязни ошибиться. А потому при самом пустячном недуге своем или жены своей он обращался за советом к папеньке» (т. е. к Михаилу Андреевичу Достоевскому). Анекдотические рассказы сохранились в воспоминаниях студентов об архаическом характере лекций и преподавания этого профессора и о его гордости своим чином статского советника.

Можно думать, что мать Марии Федоровны Достоевской из семьи Котельницких вынесла те интересы, которые привила дочерям: любовь к книге, литературе, музыке, умение свободно владеть пером, выражать на бумаге свои чувства и мысли, что позднее было свойственно Марии Федоровне.

Иную социальную линию представлял собой ее отец — Федор Тимофеевич Нечаев. Происходя из старых посадских г. Боровска Калужской губернии, он в 1790 г. переселился в Москву, значился купцом 3-й гильдии, имел торговлю в суконном ряду и в 1811 г. жил в своем доме в Басманной части. Необходимость покинуть Москву и все дела в 1812 г. в связи с нашествием французов совершенно разорила его, и, хотя по возвращении он еще продолжал жить в своем доме, к торговле он не возвращался. В 1813 г. умерла его жена, оставив кроме тринадцатилетней Марии Федоровны старшую на четыре года дочь Александру и сына Михаила, перешедшего в мещанство и ставшего приказчиком в суконном магазине. Ф. Т. Нечаев через год женился вновь, и эта вторая его жена, Ольга Яковлевна, звалась «бабушкой» в семействе Достоевских, хотя была почти ровесницей своей старшей падчерицы.

Ко времени замужества Марии Федоровны ее старшая сестра Александра Федоровна уже была шесть лет замужем за богатым московским купцом Александром Алексеевичем Куманиным. «Хотя тетенька Александра Федоровна, — вспоминал А. М. Достоевский, — была только четырьмя годами старше маменьки, но маменька считала свою сестру более как мать, чем за сестру, она любила и уважала ее донельзя и эту свою любовь умела вложить во всех нас». А. А. Куманин и А. Ф. Куманина сыграли наиболее значительную роль в жизни всей семьи Достоевских и самого писателя.

Вернемся к обзору служебной карьеры Михаила Андреевича Достоевского.

Через три месяца после получения отставки в военном госпитале он уже принят на службу в Мариинскую больницу для бедных. Она была построена в 1803—1806 гг. на Божедомке, недалеко от Марьиной рощи, между зданиями двух женских институтов — Екатерининского и Александровского.

В 20-х годах XIX столетия эта местность была окраиной Москвы: большие пространства вокруг оставались пустырями или были использованы под огороды. Больница расположилась на огромном участке, который был занят многими служебными постройками, большим садом и «чистым» и «черным» дворами. В центре находился внушительный корпус главного здания больницы с красивой колоннадой. С двух сторон его расположились флигеля, по преимуществу занятые квартирами служащих.

Основанная по повелению вдовы Павла I, Марии Федоровны, больница для бедных в первые десятилетия своего существования была теснейшим образом связана с двором вдовствующей императрицы. Историограф больницы считает, что для этого периода был характерен полусемейный порядок управления, при котором все даже важнейшие дела, касающиеся этого учреждения, решались с помощью частной переписки между государыней и ее помощником М. И. Мухановым, почетным опекуном больницы. Ясно, что при такой системе получить штатную должность в больнице можно было лишь при помощи каких-либо влиятельных связей и протекций. Можно предположить, что новому родственнику помогло или влияние университетского декана медицинского факультета университета или деньги и положение в Москве Куманиных. В формуляре М. А. Достоевского появилась запись, что он, «по соизволению» Марии Федоровны, «определен императорского воспитательного дома в больницу для бедных на вакансию лекаря, при отделении приходящих больных женского пола 24 марта 1821 г.»

Молодая семья Достоевских получила в том же 1821 г. казенную квартиру в правом флигеле больницы, где 30 октября 1821 г. родился второй сын — Федор. Вскоре Достоевские получили квартиру в другом, левом флигеле больницы, где и прошло детство и ранняя юность писателя [13].

Служба М. А. Достоевского в Мариинской больнице для бедных, так же как в военном госпитале, протекала успешно, о чем свидетельствует его послужной список: «Неоднократно удостоивался всемилостивейшего денежного награждения. По представлению начальства за отличную службу пожалован кавалером ордена св. Анны 3 степени 2 апреля 1825 г.»; «По таковому же представлению за выслугу узаконенных лет награжден чином коллежского асессора — 7 апреля 1827 г.»; «По засвидетельствованию начальства об отличной и ревностной службе пожалован кавалером ордена св. Владимира 4 степени — 18 января 1829 г.»; «Всемилостивейше пожалован знаком отличия беспорочной службы за XV лет при установленной грамоте». 21 апреля 1832 г.: «По представлению начальства больницы всемилостивейше награжден орденом св. Анны 2 степени».

Можно указать, что в марте 1837 г. начальство предложило М. А. Достоевскому «занять упраздняющееся место старшего врача при мужском отделении приходящих больных Мариинской больницы», что, по признанию Михаила Андреевича в его официальном ответе, было для него не только «выгодно по значительному окладу жалованья», но и особенно лестно «почетным вниманием начальства к его посильной службе и трудам». Отказавшись по состоянию здоровья, он был 18 апреля 1837 г. произведен в коллежские советники со старшинством и уволен по прошению 1 июля этого же года.

Мы привели официальные сведения о том, как протекала служебная деятельность М. А. Достоевского, чтобы показать благополучие этой стороны его жизненного пути. Эти данные опровергают существовавшие в литературе о Достоевском версии о том, что его отец был запойным пьяницей, обладал другими пороками и в какой-то мере ненормальной психикой [14]. Это был примерный служака-чиновник, который вполне отвечал требованиям казенной дисциплины и, конечно, официальной идеологии своего времени. В учреждениях, непосредственно связанных с лицами царской фамилии, дух благонамеренности, верноподданничества особенно отчетливо определял служебную карьеру, а М. А. Достоевский, как мы видели, благополучно шествовал от одной награды к другой, и это в пору всеобщего полицейского террора и слежки III отделения.

В среде сослуживцев у М. А. Достоевского были хорошие отношения с наиболее уважаемыми из них. А. М. Достоевский называет в воспоминаниях К. А. Щировского, старейшего врача в больнице, Ф. А. Маркуса — эконома больницы и брата известного лейб-медика, А. А. Альфонского, ставшего профессором Московского университета и деканом факультета. Фамилия Альфонского, а может быть, и черты его образа занесены Достоевским как материал в черновые творческие тетради. Но был у М. А. Достоевского «приятель» в больнице совсем другого ранга. Это был Гавриил Захарович Прыжов, поступивший в больницу швейцаром

в 1815 г., перемещенный в 1817 г. на вакансию писаря, которым и оставался до конца 50-х годов. Вероятно, их сблизило военное прошлое: Прыжов (из вольноотпущенных) вступил в Московское ополчение 5 августа 1812 г., «был в сражении под Бородином», преследовал неприятеля за границей и был уволен в отставку 15 октября 1814 г. Его сын, нечаевец И. Г. Прыжов, автор книги «Нищие на святой Руси», писал в «Исповеди»: «Отец мой служил в московской Мариинской больнице вместе с своим добрым приятелем, доктором Достоевским, отцом покойного Ф. М. Достоевского. Последнего помню немного, когда мне было еще лет шесть-семь. Итак, из Мариинской больницы суждено идти в Сибирь двоим, Достоевскому и мне» [15]. Не вспоминал ли Достоевский рассказы Г. З. Прыжова, когда в 1848 г. писал своего Отставного («Честный вор»), и его военные повествования?

Несомненно, что в детские годы Достоевский немало слышал об Отечественной войне, о Бородино, взятии Москвы, из которой спешно уезжала, бросив дом и торговлю, семья его матери, а отец трудился в госпиталях. У отставного Астафия Ивановича автор «полюбопытствовал о подробностях его военной службы и чрезмерно удивился, узнав, что он был почти во всех сражениях незабвенной эпохи тринадцатого и четырнадцатого годов».

Если со стороны служебно-формальной у М. А. Достоевского не было основания для недовольства и огорчения, то и со стороны экономической в первое десятилетие жизни писателя его семейство было сравнительно обеспечено. С разрешения начальства М. А. Достоевский занимался частной врачебной практикой, посещая на дому своих пациентов, среди которых были и знатные и состоятельные люди. Для этих поездок еще до покупки имения у него были собственные лошади, экипаж и крепостной кучер. По рассказам А. М. Достоевского, отец его ежедневно, окончив утренний прием в больнице, в 12 часов уезжал «на практику». Получаемые гонорары помогали не только покрыть домашние расходы, но и делать кое-какие сбережения, которые в 1831 г. были вложены в покупку сельца «Даровое», а в 1833 г. — деревни «Черемошни» в Каширском уезде Тульской губернии. Так как первая покупка была оформлена на имя М. Ф. Достоевской, можно предполагать, что в оплате покупок участвовало ее приданое, а может быть, и помощь ее богатой, но бездетной сестры.

Оба владения заключали менее 100 «душ мужеского пола» и около 500 десятин земли. Бедность крестьян, неурожайные годы (1833—1834 гг.), полная неопытность новых помещиков и отсутствие у них свободных денег для вложения в хозяйство (владения были в первые же годы заложены), судебное дело с соседом по межеванию, наконец пожар в деревне и усадьбе — все это нарушило налаженное существование семьи Достоевских. Между тем она росла (семь человек детей), старшим надо было давать образование. Частная практика врача была доходом непостоян-

ным, и ее колебания резко отзывались на бюджете семьи. Владение имением оказалось не под силу семье штаб-лекаря и вело ее к разорению.

Отсылая читателя к нашей работе, специально посвященной хозяйству Достоевских в Даровом [16], здесь мы используем лишь те материалы, которые могут характеризовать родителей писателя и относятся к первой половине 1830-х годов. До нас дошла, хотя и далеко не полная, переписка М. А. и М. Ф. Достоевских за 1832—1835 гг., когда в летние месяцы жена находилась в деревне и вела там хозяйство, а муж оставался в Москве. 16 писем Михаила Андреевича и девять писем Марии Федоровны позволяют наметить существеннейшие особенности характеров обоих корреспондентов, хотя на три четверти их письма наполнены заботами и распоряжениями по хозяйству в Даровом и Москве.

Кажется, не может подлежать сомнению та искренняя преданность Михаила Андреевича своей семье, горячая любовь к жене и забота о детях, которые пронизывают почти все его письма. Часто эти чувства облекаются в «высокий штиль», украшены штампами церковно-славянской письменности, но эта речь не столько свидетельствует о религиозной настроенности автора, сколько о его хорошем знакомстве с церковной литературой, о его семинарском образовании: «С благоговейными слезами благодарю господа, подателя всех благ, за его ко мне неизреченные милости...»; «Чем мы, недостойные, возблагодарим всещедрого бога за его к нам неизреченные милости! Сколько несправедливо мы роптали, да послужит сие для нас назидательным примером на всю жизнь нашу, что всевышний послал нам сие кратковременное испытание для блага и пользы нашей» и т. п. Эти риторические отступления вяжутся с общим колоритом его письменной речи, испещренной славянизмами, вроде «денно и нощно», «твоя обо мне печность», «колико возможно», «толикой важности» и многочисленными «оный», «ибо», «дабы» и т. п.

Этот полусеминаристский, полуканцелярский язык смягчают обильные уменьшительные и ласкательные имена (обычно в начале и конце писем), с которыми Михаил Андреевич обращался к жене, уверяя ее в своей любви. Сопоставляя эти письма с ранним творчеством Достоевского, с его переводом романа Бальзака, с текстом «Бедных людей», мы найдем прямые совпадения с эпистолярным языком М. А. Достоевского.

Но рядом с постоянными обращениями к оборотам высокого духовного красноречия, с искренними любовными обращениями к жене в письмах М. А. Достоевского мы встречаем примеры довольно грубого юмора, напоминающего о пройденной им бурсацкой школе. Предметом обычно служила няня детей, Алена Фроловна, отличавшаяся исключительной толщиной. 29 апреля 1835 г. он отвечает жене: «Пишешь ты, что сорокапятипудовая раскапустилась и что много трудов стоило выгружать и опять нагружать брычку, то я полагаю, что нет зла без добра, ибо думаю, что

в ней весу убыло по крайней мере 20-ть пудов, следовательно, вычесть подобный вес для лошадей и для брычки не маловажный выйдет выигрыш...». 9 мая он вновь повторяет эту остроту о няньке [17]. Ту же Алену Фроловну, используя ее огромный аппетит, Михаил Андреевич готовил («трессировал») к состязанию по обжорству, которое устраивал в Москве с приглашением участников и зрителей. В письме жене 6 августа 1833 г. он подробно описывал различные медицинские средства, которые он употреблял, чтобы увеличить аппетит, какими блюдами кормил и как состязание не удалось. Эта дикая бурсацкая затея, как и приведенные остроты, рисуют грубоватый образ Михаила Андреевича.

Но характерной чертой писем М. А. Достоевского к жене, помимо постоянных уверений в нежных чувствах и заботах о детях, является его мрачная настроенность, постоянное ожидание несчастий, жалобы на тяжелое душевное состояние. Излагаемые в письмах мелкие хозяйственные убытки или сообщения о погоде не соответствуют тем безнадежным выводам, которые заставляют автора письма сокрушаться, впадать в тоскливые размышления. Приведем только один пример из первого письма 1832 г.: «Дела мои по приезде очень тихи, до сих пор ни одного больного, что делать, скучно на старость лет при недостатке, но бог для меня был всегда милостив, — потерпим. Более всего меня угнетает дождливая погода. Здесь, в Москве, льют беспрестанные дожди; ежели и у вас такие же, то беда да и только, ваза (сорт ржи. — *В. Н.*) пропадет. Сено у тебя в Даровой хотя и сложено, но наверное говорю, что сгниет, а все оттого, что меня не послушались и не сложили в ригу. При приезде нашел, что нанятая моя услуга расстроилась... (сообщение о неприятностях с прачкой и кухаркой. — *В. Н.*) беда мне да и только... Поверишь ли, что бытность моя у тебя представляется мне как бы во сне; в Москве уже встретили меня хлопоты и огорчения; сижу подгорюнившись да тоскую, и головы негде приклонить, не говорю уже горе разделить; все чужие и все равнодушно смотрят на меня; но бог будет судить их за мои огорчения...». Именуя себя то «бесприютным», то «бедным горемыкой», он доходил до отчаянных признаний в результате размышлений лишь о возможных осложнениях в связи с родами жены и своем отпуске: «Я так расстроен духом, что более писать не в состоянии. Прощай, дражайшая надежда жизни моей, не забывай меня в растерзанном моем положении души моей, какого я еще с начала жизни моей не испытал».

Постоянная угнетенность духа была связана с исключительной мнительностью Михаила Андреевича. Его подозрительность распространялась на всех окружающих, отравляла ему жизнь и портила отношения с людьми. Вероятно, эти переживания распространялись и на его служебное положение. В одном из писем он жаловался жене, что Николай I, бывший в Москве и посетив-

ший больницу, пожаловал главному врачу Станислава со звездою: «А нам, разумеется, ничего... а впрочем, это так всегда водилось и будет водиться, овцы пасутся, а пастух доит молоко; стрижет шерсть и получает барыш».

До нас дошли два письма М. А. Достоевского в Петербург к капитану Костомарову, который готовил Михаила и Федора к поступлению в Инженерное училище в 1837 г. Тот же душевный надрыв, мнительность, сомнение диктуют ему послания, которые он старается смягчить сентиментальными фразами:

«В прошедшем моем письме, не имея никакого сведения о детях моих, я терзался сомнениями и был в отчаянии, а потому прошу Вас простить меня, что я так часто обременяю Вас моею перепискою. Но я пишу к отцу, и с сей стороны остаюсь покоен...» (8 ноября 1837 г.).

«Еще мне за несколько пред сим временем прискорбно было прочесть в письме сына моего, что будто бы Вы полагаете меня способным написать что-то предосудительное к одному из начальствующих лиц на Ваш счет. Поверьте, что ежели бы написал, то кроме душевной моей благодарности, я не мог бы более ничего написать. Уповаю, что Вы сим перемените обо мне Ваше мнение...» (1 марта 1838 г.) [18].

С Куманиными у него испорчены отношения, так как ему всегда казалось, что они на него «дуются», что они «скучают его посещениями», хотя, судя по письмам, он постоянно их посещает и общается с ними. Жена старалась сгладить расхождения мужа с ее родными. Но совершенно ничем не сдерживаемая подозрительность М. А. Достоевского особенно была обращена на подвластных ему слуг и крестьян. Здесь в сочетании с его мелочностью и мнительностью она, конечно, делала его ненавистным для всех, кто зависел от него. В письмах к жене много примеров его жалоб на «подозрительность» поведения тех или иных слуг, боязнь какого-нибудь ущерба в хозяйстве и поиски его виновников, расследования причин сломанной чайной ложки, разбитой бутылки с наливкой и пр.

Эта мнительность и подозрительность М. А. Достоевского распространялась и на единственно ему близкого и дорогого человека — жену. На ее шутливое замечание в письме, что она «теперь разбогатела», он поспешил пожаловаться на свою бедность и заподозрил ее всерьез, что она утаила от него какие-то деньги. Он обвинял ее в сознательно веденной против него интриге с целью оттянуть свой приезд из деревни в Москву: «Теперь ясно вижу, что переписка твоя прежде тобою была хорошо обдумана, скажу тебе откровенно, что я тебя совершенно понимаю, ты переписывалась с тем, чтобы довести время до последнего периода и после сказать решительно, что не можешь приехать, а я по своей простоте всему верил и в последние дни все глаза проглядел. — Но бог тебе судья».

Это писалось жене после многих намеков, жалоб и причитаний, из которых она могла понять, что он подозревает ее в неверности, и это на седьмой ее беременности. Далее мы скажем, как реагировала Мария Федоровна на эти подозрения, вызвавшие в ней чувство глубокого оскорбления и возмущения.

Угрюмая мрачность, постоянно питаемая подозрительностью и мнительностью, сопровождалась у Михаила Андреевича исключительной вспыльчивостью, сведения о которой не скрывал в своих воспоминаниях его сын, А. М. Достоевский, ею главным образом объясняя его столкновения с окружающими. Но А. М. Достоевский, поместив в «Воспоминаниях» три письма отца, в заключении писал: «Приведя здесь эти письма моих родителей, я вполне убежден, что, кому случится прочесть письма отца, тот, верно, не назовет его человеком *угрюмым, нервным, подозрительным*, как наименовал его покойный О. Ф. Миллер в биографии Ф. М. Достоевского... со слов и воспоминаний будто каких-то родственников. Нет, отец наш, ежели и имел какие недостатки, то не был угрюм и подозрителен, то есть таким *букой*. Напротив, он в семействе был всегда радушным, а подчас веселым».

Тем не менее, к сожалению, изучение двух десятков сохранившихся писем М. А. Достоевского позволяет утверждать, что ему чрезвычайно были свойственны тяжелые душевные переживания, порождаемые мнительностью и подозрительностью, ведущие к жалобам и обвинению обстоятельств и лиц, ему неблагоприятных. В семье он не был «букой» и был «подчас веселым», как вспоминал его живший с ним до 14 лет сын Андрей. Но тот же Андрей вспоминал, как он был обязан ежедневно после обеда полтора-два часа, «в часы отдыха папеньки», веткой отгонять от спящего мух, «в абсолютном безмолвии и сидя без всякого движения на одном месте. К тому же, боже сохрани, ежели бывало, прозеваешь муху и дашь ей укусить спящего...». Он же вспоминал, как боялись старшие братья уроков с отцом, который занимался с ними латинским языком.

М. А. Достоевский не был «тираном» в семье, он не страдал запоями, ненормальной скупостью и другими пороками, о которых без фактических оснований писали некоторые исследователи. Но была постоянная зависимость от главы семьи с характерными для него мелочностью, подозрительностью, мнительностью, разражавшимися или бурными приступами гнева, или жалобами и тяжелым угнетенным состоянием. Ф. М. Достоевский оставил одну-единственную оценку своих родителей, которая относится к поздним годам его жизни, оценку несомненно высокую, хотя и не совсем ясную и сопровожденную характерной оговоркой. Он писал 10 марта 1876 г. младшему брату: «Идея непременного и высшего стремления в *лучшие люди* (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения». Какие «все уклонения» имел он в виду? Конечно, это не относится к матери, к которой он испы-

тывал «благоговение». Доктор С. Д. Яновский, вспоминая свои беседы с Федором Михайловичем в 40-х годах, писал: «В это время он сообщал мне многое о тяжелой и безотрадной обстановке его детства, хотя благоговейно отзывался всегда о матери, о сестрах и о брате Михаиле Михайловиче; об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать» [19].

Если прямых высказываний Достоевского об отце не дошло до нас, то сохранилось косвенное признание, которое основано на лично пережитом «опыте». 9 марта 1857 г. он писал А. Е. Врангелю по поводу семейных дел товарища: «Более всего беспокоят меня за вас, друг мой, отношения ваши с отцом. Я знаю, чрезвычайно хорошо знаю (по опыту), что подобные неприятности нестерпимы, и тем более нестерпимы, что вы оба, я знаю это, любите друг друга. Это своего рода бесконечное недоразумение с обеих сторон, которое чем далее идет, тем более запутывается... Характеры, как у вашего отца, — странная смесь подозрительности самой мрачной, болезненной чувствительности и великодушия. Не зная его лично, я так заключаю о нем; ибо знал в жизни, два раза, точно такие же отношения, как у вас с ним. Его тоже нужно щадить...». Далее Достоевский находит в своем друге ту же «болезнь сердца и души», зачатки «мнительности и подозрительности» с «болезненно развитой чувствительностью» [20].

К облику М. А. Достоевского, каким он вырисовывается по его письмам и приведенным отзывам, никак нельзя приложить наименование «гордый и независимый» [21]. Это человек мучительно переживавший ущемление самолюбия, то, что во времена молодости Достоевского и самим Достоевским называлось «амбицией» и что сам Достоевский так сформулировал в показаниях на следствии по поводу своего выступления в кружке Петрашевского: «Что же касается до второй темы о *личности* и *эгоизме*, то в ней я хотел доказать, что между нами более *амбиции*, чем настоящего человеческого достоинства, что мы сами впадаем в самоумаление и размельчение личности от мелкого самолюбия, от эгоизма и от бесцельности занятий. Эта тема чисто психологическая» [22].

Эта тема стала одной из ведущих в раннем творчестве Достоевского и воплотилась в ряде персонажей его повестей. Добролюбов разбил героев Достоевского на «два главных типа: кротких и ожесточенных» и добавил, что есть «еще разрядец людей», который стоит между этими двумя крайностями. В их характеристике Добролюбов как бы повторяет вышеприведенное определение Достоевским амбиции: «Это люди, потерявшие широкое сознание своего человеческого права, но заменившие его какою-нибудь узенькою фикциею условного права, утвердившиеся в этой фикции и бережно ее хранящие. Это тоже люди трусливые, подозрительные, щепетильные, обидчивые донельзя и сами всех более несчастные своею обидчивостью» [23].

Перейдем к характеристике матери писателя, для чего так же используем ее письма к мужу 1832—1835 гг. Эпистолярный язык М. А. Достоевского явно запечатлел его семинарский и чиновничий жизненный путь. Иным языком изложены письма Марии Федоровны Достоевской. В них также немало общеупотребительных в то время штампов церковнославянской речи, но они короче и употребляются обыденнее, без ложного пафоса. Большинство писем Марии Федоровны написано необычайно простым разговорным языком с большим количеством народных словечек, оборотов, поговорок: «ранехонько», «прямехонько», «радехонька», «одинохонек», «ни туда, ни сюда», «насилу таскаюсь», «мочи нет», «как собака палку», «шелепами бы прогнала» — такими выражениями переполнены ее письма. Чрезвычайно живой и непосредственный рассказ Марии Федоровны не чужд юмора, например рассказ о каширском уездном суде, о котором она говорит: «Весь Каширский сенат побывал у меня». Каждая фраза письма ярко окрашена сочувствием или антипатией рассказчицы.

Но, кроме этого обычного повествовательного, почти разговорного языка, Мария Федоровна владеет и иным стилем, который приходит ей на помощь, когда чувства, переживаемые ею, возвышают ее над будничным, ежедневным уровнем. Возмущенная подозрениями мужа, обвинениями в измене, она пишет два письма (от 31 мая и 10 июня 1835 г.), стиль которых напоминает нам о сентиментальном романе конца XVIII—начала XIX в. Мы знаем о чтении Карамзина, прозы Жуковского в семействе Достоевских. Эта литературная школа дает себя чувствовать в указанных письмах, несмотря на всю их неподдельную искренность и страстность. Вот характернейшие цитаты из этих писем: «Сия гибельная догадка как стрелою пронзила и легла на сердце...»; «горестное предчувствие утвердило меня в сей догадке...»; «не была и не буду преступницею сердечной клятвы моей, данной тебе... пред святым алтарем в день нашего брака»; «любви чистой, священной, непорочной и страстной, неизменяемой от самого брака нашего...» и т. п. Повышенный эмоциональный тон, некоторая торжественная приподнятость речи, типичные эпитеты книжного характера — вот отличительные черты цитированных писем. Но отражение обычного ежедневного лица Марии Федоровны надо искать не в них, а в непосредственных рассказах ее о деревенской жизни, в ее бесхитростных нежных наименованиях, которыми она осыпает мужа и детей. Стиль писем Марии Федоровны раскрывает перед нами ее непосредственный живой и добрый характер не менее отчетливо, чем их содержание.

Как непосредственная, прямая натура, М. Ф. Достоевская полнее и законченнее отразилась в дошедших до нас письмах, чем ее муж. Основная тема ее писем — беззаветная любовь к семье, мужу, детям, хотя о последних она мало пишет. Но почти в каждом письме мы встречаем ее заботливые расспросы о том, чем оза-

бочен, огорчен ее муж. Постоянная мрачность Михаила Андреевича, беспокойство, его снедавшее, были ей органически чужды. Она пыталась объяснить эти свойства мужа фактами окружающей жизни и всеми силами старалась утешить его и заставить по-другому взглянуть на мир. В ней были сильны как раз обратные черты характера: ясный оптимизм, жизнерадостность, общительность и кипучая активность. «Веселость природного характера» — так обозначает сама Мария Федоровна свое основное свойство. В письмах эта «веселость» находит отражение в бодром тоне, которым все они проникнуты. Описывает ли она путешествия в Каширу и Зарайск и деловые встречи с судейскими, свои впечатления от приезда в деревню, свои хозяйские планы и распоряжения — никогда и нигде ни в чем ни звука жалобы, недовольства. Она всегда уверена в хорошем будущем, и если по необходимости приходилось сообщать что-нибудь неприятное, то она делала это мельком, незаметно смягчая и заслоняя неприятность чем-нибудь радостным и приятным. Отчасти, вероятно, это делалось сознательно, так как болезненно реагировавшему на все сообщения Михаилу Андреевичу надо было преподносить их в соответствующем оптимистическом освещении. Но, конечно, и характер Марии Федоровны играл здесь большую роль.

Общительность Марии Федоровны доказывается тем, что она скоро стала любимой гостьей и собеседницей соседок-помещиц. Старушка Небольсина от нее в восторге, муж и жена Хотяинцевы — недавние враги Достоевских по судебным делам — в 1835 г. уже изо всех сил зазывали Марию Федоровну к себе в гости, принимая ее «чрезвычайно ласково», хотя тяжба в суде между ними продолжалась. И сама Мария Федоровна охотно «пировала» у соседей на именинах, крестила детей, выполняла в Москве их поручения, покупая шляпки и т. п. Она любила сама кокетливо одеться, следить за своим туалетом. Развивая в то же время кипучую хозяйственную деятельность, она не приходила в уныние и от убогого даровского хозяйства: оптимизм и доброжелательность сквозят в каждой ее фразе.

«Вчера и нонче у нас дождички пребесподобные и довольно-таки наделали грязи и потеплело, только все ветрено. Я крайне трусила, что ржи наши опять засохнут, но теперь так все зазеленелось, что мило посмотреть...»

«Погода у нас благословенная до сего дня дожжечки перепадали порядочные и тепло было, словом сказать, живительная для всего погода...» и т. п.

Постоянная тема Михаила Андреевича о гнетущей его бедности вызывала со стороны Марии Федоровны утешения, характерные для ее оптимизма: «Дети нас любят, и мы щастливы ими, чего же нам больше, богатство, — да составит ли оно наше щастие! Друг мой, умоляю тебя, отбрось все печальные думы, бог милосерд, не оставит нас своею милостию...». На мелочные хозяйственные заботы мужа Мария Федоровна отвечала, стараясь

его успокоить, что все сделается в свое время, все уладится и не стоит его расстройства. Происходя из полукупеческой, полуразночинной московской среды, никогда не имев ранее дела с поместным хозяйством, Мария Федоровна сразу же очень энергично повела работы в доставшемся ей имении. Она распоряжалась вполне самостоятельно и по полевому хозяйству, и по скотному и птичьему двору, и по огороду. Недаром даже ее муж при всей своей мнительности был спокоен, что жена его «ничего не упустит». Это уменье овладеть новой обстановкой и делом говорит о жизнеспособности, одаренности ее натуры.

Письма Марии Федоровны полны самыми нежными любовными словами, обращенными к мужу. Нет никаких оснований подозревать ее искренность, да и невозможно это — такой непосредственной глубокой правдивостью дышат ее письма. Она любила своего угрюмого мнительного мужа, хотя жизнь с ним была для нее длительным тяжелым испытанием. Мы видели, как она умело смягчала в письмах все те острые темы, которые так волновали и мучили его. Чувствуется, что она хорошо изучила странный характер мужа за 16 лет совместной жизни и приспособилась к нему. Но была ли она все эти годы кроткой, безответной жертвой его «жестокости», не защищенной против его «деспотизма», как пишут некоторые исследователи?

В «Воспоминании» А. М. Достоевского есть описание одной из сцен между отцом и матерью, которую ему пришлось наблюдать и которую он не решился выкинуть из своих мемуаров, хотя стремился в них всячески «облагообразить» быт своей семьи. Он писал: «Один выдающийся случай, которому я был свидетелем, сделал на меня сильное впечатление, и я никогда не забывал его и теперь помню очень хорошо, с лишком через 60 лет! Дело было так.

Раз вечером, в зале, родители ходили вместе и о чем-то серьезно разговаривали. Маменька что-то сообщила отцу, и он сделался, видимо, очень удивлен и опечален. Потом маменька разразилась сильным истерическим плачем, и папеньке едва-едва удалось ее успокоить. Эта картина при вечерней обстановке, в полумрачной зале, оставила сильное во мне впечатление. И я недоумевал, почему после спокойных разговоров родителей произошла беспричинно такая сцена».

Далее А. М. Достоевский высказал свои позднейшие разгадки этой сцены. Родители, вероятно разговаривали о предполагаемой летом 1835 г. поездке в деревню, а мать сообщила отцу, «что ее постигла вновь беременность»: отец «неосторожно высказал свое неудовольствие, что и вызвало со стороны маменьки истерический плач». Как свидетельствуют сохранившиеся письма, относящиеся к весне и лету 1835 г., цитируемые далее, причина сцены, наблюдавшейся Андреем, была много сложнее: М. А. Достоевский заподозрил жену в неверности, результат которой видел в беременности, о чем, очевидно, ей и сообщил [24].

В одном из своих писем Мария Федоровна сама говорит о том, что ей много пришлось вытерпеть за годы супружеской жизни: «Время и годы проходят, морщины и жолчь разливаются по лицу; веселость природного характера обращается в грустную меланхолию, и вот удел мой, вот награда непорочной страстной любви моей; и ежели бы не подкрепляла меня чистая моя совесть и надежда на провидение, то конец судьбы моей самый был бы плачевный... Заклинаю тебя твоею же любовью, не огорчайся и не сокрушайся обо мне, я давно уже покорилась судьбе моей и обтерпелась».

Хотя из этих строк и явствует, что тяжела была жизнь Марии Федоровны в браке с постоянно подозревающим, раздражительным и вспыльчивым мужем, но явствует также и то, что она сохраняла в себе огромную силу воли, смелость и достоинство, которые позволили ей дать отпор ему тогда, когда он затронул своими подозрениями наиболее глубокие ее чувства. В ответ на обвинение в измене, результатом которой будто явилась ее беременность, она ответила письмом, исполненным сознания своей правоты, проникнутым пафосом подлинного чувства, оскорбленного мелочными грязными подозрениями. На косвенные намеки, попреки, вздохи и жалобы мужа, не смевшего прямо заявить о своих подозрениях, Мария Федоровна ответила открыто и смело.

Прямизна и достоинство ее ответа ничуть не позволяют назвать ее кроткой жертвой, раздавленной тираном. В письмах, написанных по этому поводу, ощущается ее сознание равенства с мужем и даже нравственного превосходства над ним. «Прости мне, что пишу резкую истину чувств моих. Не кляну, не ненавижу, а люблю, боготворю тебя и делю с тобой, другом моим единственным, все, что имею на сердце...»; «Любви моей не видят, не понимают чувств моих, смотрят на меня с низким подозрением, тогда как я дышу моею любовью», — писала Мария Федоровна мужу.

Отметим, что эти пронизанные чувством обиды и искренней любви письма жены не убедили Михаила Андреевича. Следующее его письмо полно новыми подозрениями против жены, он принимает тон глубоко оскорбленного человека и стремится уязвить ее, говоря о своих собственных семейных добродетелях, очевидно намекая на ее «безнравственность». «Не сердись на меня за правду, внушенную мне чистою, искренною, постоянною и оскорбленною любовью; обо мне не беспокойся, я здоров и, как всегда, пекусь о щастии моего семейства, о *нравственности моих детей, и теперь более, чем когда* (курсив мой. — *В. Н.*), а равным образом и тружусь о ежедневном для них насущном пропитании».

Напомним, что эти жестокие слова писались женщине на восьмом месяце беременности, находившейся с двумя маленькими детьми в глухой далекой деревушке, без единого близкого человека, писались в ответ на ее клятвы и любовные уверения, только

что перед тем данные, писались, конечно, для того, чтобы глубже растравить нанесенную обиду.

Драма, которая разыгрывалась в семье Достоевских, была драма глубоко психологическая, а не мелодрама порочного «тирана» и его жертвы.

Образ матери Достоевского, образ женщины, прекрасной своей жизнерадостностью, любвеобилием и внутренней силой, никак не согласуется с образом мечтательницы «не от мира сего», «кликушечки», какой хотят иногда ее представить под влиянием художественных образов, взятых из поздних романов ее сына [25].

II

Детство. Учение в пансионах

Сведения о детских годах писателя сохранили нам только воспоминания его брата, Андрея Михайловича. Но, описывая быт своей семьи, ближайших родственников и знакомых, он очень мало говорит об особенностях характера брата Федора, свойственных ему в детстве. Так как Андрей Михайлович был на три с половиной года моложе брата, то естественно, что его воспоминания могли бы относиться уже к школьным годам писателя. Но и для этого периода мы почти не находим сколько-нибудь остро подмеченных индивидуальных черт характера Федора Михайловича. Между тем автор воспоминаний сам уверял, что вся детская жизнь двух старших братьев, Михаила и Федора, до поступления их в пансион Чермака (1834 г.) была на его глазах. «Все занятия и все их разговоры были при мне; они не стеснялись моим присутствием, а разве только в редких случаях отгоняли меня от себя, называя своим „хвостиком". Оба были чрезвычайно дружны между собою. Но, несмотря на эту дружбу, они были совершенно различных характеров. Старший брат Михаил был в детстве менее резв, менее энергичен и менее горяч в разговорах, чем брат Федор, который был во всех проявлениях своих настоящий огонь, как выражались наши родители».

Однако примеров проявления в эту пору живости и горячности Федора Михайловича брат его не приводит. Он рассказывает о том, что Федор был инициатором их детских игр в Даровом, подробно характеризует его интересы в чтении (о чем мы будем далее говорить), но почти не приводит свидетельств его живого поведения, реакций на окружающую действительность. Интересно отметить, что некоторые факты, запомнившиеся А. М. Достоевскому, он изложил в том варианте своих воспоминаний, которым он поделился с Орестом Миллером, и они вошли в составленную О. Миллером биографию писателя [1]. В «Воспоминаниях» же А. М. Достоевского, изданных его сыном в 1930 г., эти отрывки или отсутствовали, или сильно сокращены. Приведем их здесь, так как, по нашему мнению, они помогут сделать некоторые заключения о характере Достоевского-мальчика.

Рассказывая о том, как Федор Михайлович представлял в больничном саду виденного им бегуна, А. М. Достоевский мимоходом

упомянул, что Федор Михайлович, «по его собственным словам, любил в детстве выказываться силою, ловкостью и т. п.». Там же А. М. Достоевский сообщал, что в больничном саду, где прогуливались больные, «Федор очень любил как-нибудь украдкою вступать в разговоры с этими больными, в особенности ежели попадались мальчики; но это строго преследовалось, и отец был весьма недоволен, ежели до него доходили об этом слухи». В опубликованный в 1930 г. текст «Воспоминаний» почему-то не вошло описание поведения Федора во время поездок в Даровое: «Поездка в деревню для нас, детей, составляла эпоху, которой мы дожидались с нетерпением. Ездили обыкновенно на своих деревенских же лошадях, которые нарочно приезжали за нами с крестьянином Семеном Широким. Совершали эту поездку обыкновенно в двое суток — на третьи. Во время поездок этих брат Федор бывал в каком-то лихорадочном настроении. Он всегда избирал место сидения на облучке. Не бывало ни одной остановки, хотя бы на минуту, при которой брат не соскочил бы с брички, не обегал бы близ лежащей местности или не повертелся бы с Семеном Широким около лошадей».

Сильно сокращен в окончательном тексте и этот рассказ о жизни в Даровом: «В деревне мы постоянно почти были на воздухе, а исключая игр, проводили целые дни на полях, присутствуя и приглядываясь к трудным полевым работам. Все крестьяне любили нас очень и в особенности брата Федора. — Он по своему живому характеру брался за все, то просит водить лошадь с бороной, то погоняет лошадь, идущую в сохе, и т. п. Любил он также вступать в разговоры с крестьянами, которые всегда охотно с ним говорили; но верхом удовольствия его было исполнить какое-либо поручение или сделать одолжение и быть чем-нибудь полезным. Я помню, что одна крестьянка, вышедшая в поле жать вместе с маленьким ребенком в люльке, пролила нечаянно жбанчик воды, и бедного ребенка нечем было напоить. Брат сейчас же взял жбанчик, сбегал в деревню (версты $1^1/_2$) за водою и принес к радости матери полный жбан воды. Он сам знал, что его любили» [2].

Эти случайные зарисовки свидетельствуют не только о живости и подвижности мальчика, но о его интересе, тяге к окружающей жизни, людям, о стремлении общаться с ними, действовать. Пройдет несколько лет, и в воспоминаниях о Достоевском в пансионе Чермака, в Инженерном училище мы не встретим упоминаний об этих свойствах, а найдем свидетельства о его изолированности от сверстников и от общих с ними интересов, его замкнутости в маленьком кружке избранных друзей. Позволим себе высказать предположение, что это направление в развитии характера юноши было результатом того метода воспитания, которым систематически с ранних лет руководил отец.

А. М. Достоевский писал, что день в их семействе проходил «по раз заведенному порядку, один как другой, очень однооб-

разно». Детские игры в комнатах «в жмурки, в горелки» происходили лишь в отсутствие родителей и не со сверстниками, а с крепостной прислугой. «Но, впрочем, отсутствие родителей никогда не было продолжительным: в 9—10 часов вечера они непременно уже возвращались... мы же постоянно на другой день сообщали маменьке, с которою конечно были более откровенны, о вчерашних играх во время их отсутствия». Если в Даровом, где дети два-три месяца жили с матерью, а отец наезжал не более как на две недели, мальчики могли играть в любые игры и общаться с крестьянами, то в Москве «прогулки происходили весьма чинно, и дети даже за городом, в Марьиной роще, не позволяли себе поразвлечься, побегать. Это считалось неприличным и допускалось только в домашнем саду». Но и в больничном саду дети были всегда под контролем, и игры в мяч, с палками также запрещались как «опасные и неприличные»: «В больнице, кроме нас, было много жильцов, т. е. докторов и прочих служащих. Но замечательно, что детей, нам сверстников, ни у кого не было... А потому мы поневоле должны были довольствоваться только играми между собою, которые и были очень однообразны. Присутствие больных нисколько не стесняло наших прогулок, так как больные вели себя очень чинно. Нам же, равно как и няне, строго было запрещено приближаться к ним и вступать с ними в какие-либо разговоры».

Некоторый корректив к этому рассказу о ранних годах братьев Достоевских вносят беглые упоминания об этом времени В. М. Каченовского в его «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском». Каченовские жили недалеко от Мариинской больницы, их лечил сослуживец Михаила Андреевича К. А. Щировский, с женой которого дружила мать Каченовского. Последний вспоминал, что когда Каченовские посещали Щировских, то детей отправляли гулять в больничный сад, и здесь они познакомились «с двумя белокурыми мальчиками», которые были «руководителями игр» в саду. «Авторитет их между играющими был заметен и для меня, ребенка. Эти дети были Федор и Михаил Достоевские», — писал мемуарист. Надо отметить, что В. М. Каченовский был пятью годами моложе Достоевских, с которыми через несколько лет встретился в пансионе Чермака. Каченовский на всю жизнь остался в памяти Достоевского как «небольшого росту мальчик с прекрасными большими темными глазами» [3].

Отсутствие товарищей, сверстников в семейном, домашнем кругу продолжалось и после поступления старших братьев в пансион. А. М. Достоевский вспоминал: «Из товарищей к братьям не ходил никто. Раз только к старшему брату приезжал из пансионских товарищей некто Кудрявцев. Брату позволено было отдать ему визит, но тем знакомство и кончилось». А. М. Достоевский в одном абзаце своих «Воспоминаний» раскрыл нам, в какие условия были поставлены отцом подростки Михаил и Федор Достоевские, чтобы изолировать их от нежелательных знакомств и впе-

чатлений: «Отец наш был чрезвычайно внимателен в наблюдении за нравственностью детей, и в особенности относительно старших братьев, когда они сделались юношами. Я не помню ни одного случая, когда бы братья вышли куда-нибудь одни; это считалось отцом за неприличное, между тем как к концу пребывания братьев в родительском доме старшему было почти уже 17, а брату Федору почти 16. В пансион они всегда ездили на своих лошадях и точно так же и возвращались. Родители наши были отнюдь не скупы, скорее даже тароваты; но, вероятно, по тогдашним понятиям считалось тоже за неприличное, чтобы молодые люди имели свои хотя бы маленькие карманные деньги. Я не помню такого случая. И, вероятно, они ознакомились с деньгами только тогда, когда отец оставил их в Петербурге».

Судя по рассказам А. М. Достоевского, можно предположить, что его отцом в системе воспитания детей руководила постоянная мысль о «приличии» их поведения. Думается, что дело здесь было не столько в соблюдении «приличий», сколько в охране сыновей от того духа «вольнодумства», борьбой с которым характеризовались конец 20-х — начало 30-х годов, о чем мы говорили в первом исследовании. Опытный чиновник ведомства императрицы Марии, М. А. Достоевский очень хорошо знал, какие «дела» о молодежи раскрывались в Москве в это время и сколько из привлеченных следствием юношей отправлялись в тюрьмы, в Сибирь, на Кавказ в действующую армию. И не случайно сейчас же после описания, в каких условиях находились его братья до 16—17 лет, А. М. Достоевский «припоминал слова отца, которые служили не нравоучением, а скорее остановкою и предостережением»: «Я уже говорил неоднократно, что брат Федор был слишком горяч, энергично отстаивал свои убеждения и вообще был довольно резок на слова. При таких проявлениях со стороны брата папенька неоднократно говаривал: „Эй, Федя, уймись, не сдобровать тебе... быть тебе под красной шапкой!“». А. М. Достоевский поспешил добавить к этой записи следующее свое объяснение: «Я привожу слова эти, вовсе не ставя их как пророческие, — пророчество есть следствие предвидения; отец же никогда предположить не хотел и не мог, чтобы дети его учинили что-нибудь худое, так как он был в детях своих уверен. Привел же я слова эти в удостоверение пылкости братнина характера во время его юности». К этому объяснению мы бы добавили, что предостережение отца, не имея, конечно, пророческого характера, диктовалось конкретными условиями своего исторического времени. Отметим еще один факт, рассказанный А. М. Достоевским. У них в доме бывал сын знакомой родителей, О. Д. Умновой, юноша-гимназист, несколько старше братьев. Со слов этого Ванечки Умнова, сумевшего достать ходившую в рукописи сатиру А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших» и выучившего ее наизусть, братья Достоевские также выучили несколько строф и сказали их в присутствии отца. «Выслушав их, отец остался очень недоволен и выска-

зал предположение, что это, вероятно, измышления [4] и проделки гимназистов; но когда его уверили, что это сочинение Воейкова, то он все-таки высказал, что оно неприлично, потому что в нем помещены дерзкие выражения против высокопоставленных лиц и известных литераторов, а в особенности против Жуковского».

А. М. Достоевский высказал предположение, что отец не отдавал сыновей в гимназию (хотя это было бы значительно дешевле, чем обучать их в пансионе), не желая, чтобы они подвергались обычным там телесным наказаниям. Но Михайла Андреевича могли остановить и соображения иного порядка: гимназисты были тесно связаны с московским студенчеством, а Московский университет на рубеже 1820—1830 гг. был признан рассадником вредных, опасных идей. Может быть и решение определить сыновей в Высшее инженерное училище до какой-то степени было связано с этой репутацией университета [5].

Есть основание предполагать, что отец предостерегал сыновей от политически опасных настроений и связей. Когда Федор Михайлович был уже в Инженерном училище, там «случилась ужаснейшая история», о которой он не мог писать отцу, а только сообщил, что пять учащихся «сослано в солдаты за эту историю». «Я ни в чем не вмешан, — спешил он успокоить отца. — Но подвергся общему наказанию. Месяца 2 никуда не выпускали нас, совсем невинных, из училища» [6].

До 12—13 лет старшие братья были лишены общения со сверстниками и возможности знакомства с окружающей действительностью вне родной семьи. Деятельный живой ум и характер Федора был искусственно замкнут в узко ограниченные рамки, которые ставил болезненно мнительный отец под видом соблюдений порядка и «приличий». Результатом созданного режима были два фактора, определившие направленность духовных сил мальчиков: глубокая обоюдная дружба, заменившая им круг товарищей-сверстников и протянувшаяся на десятки лет вплоть до смерти старшего из братьев, и раннее, страстное увлечение книгой, чтением, дававшее пищу их уму и воображению, лишенным впечатлений от реальной жизни. Обстановка их детства готовила то своеобразное явление, которое Ф. М. Достоевский исследовал в ранних повестях, изображая «мечтателей» и объясняя их происхождение не столько особенностями психики, сколько условиями их быта и — шире — строем современного общества [7].

До овладения грамотой пищу для воображения, для размышления детям давали сказки, которые рассказывали им приезжавшие из деревень их бывшие кормилицы. А. М. Достоевский описал эти вечера, когда деревенская сказочница «почти шепотом, чтобы не мешать родителям», в темноте повествовала собравшимся вокруг детям про жар-птицу и про многое другое. Если верить опубликованным П. В. Быковым «Выдержкам из автобиографии Ф. М. Достоевского», которые Быков записал под диктовку писателя в конце 1870-х годов, то можно предположить, что в эти

вечера в Федоре зарождались первые попытки творчества. «По старшинству я родился вторым, — диктовал Достоевский, — был прыток, любознателен, настойчив в этой любознательности, прямо-таки надоедлив — и даровит. Года в три, что ли, выдумал слагать сказки, да еще мудреные, пожалуй, замысловатые, либо страшные, либо с оттенком шутливости. Я их запоминал. . .» [8].

Детей начинали учить рано, они сами стремились к знаниям, а мать, которая обучала их грамоте, была «изобретательна по части учения». Но и на эту сторону детской жизни — учение, которое чем далее, тем более важное место занимало в их сознании, падала тень угрюмой психики отца. «Я упоминал выше, что отец не любил делать нравоучений и наставлений, — писал А. М. Достоевский, — но у него была одна, как мне кажется теперь, слабая сторона. Он очень часто повторял, что он человек бедный, что дети его, в особенности мальчики, должны готовиться пробивать себе сами дорогу, что со смертью его они останутся нищими и т. п. Все это рисовало мрачную картину». С ранних лет внушалось отношение к знаниям как к средству для благополучного устройства жизни и в пример ставились сыновья священника при больнице Иоанна Баршева, блестяще окончившие юридический факультет, посланные на казенный счет за границу и ставшие впоследствии профессорами. «Ежели бы мне, не говорю уже дождаться, но быть только уверенным, что мои сыновья так же хорошо пойдут, как Баршевы, то я бы умер покойно». «Эти слова папеньки у меня сильно врезались в память», — писал А. М. Достоевский.

Лелея такую мечту, но лишенный в силу характера педагогических данных, Михаил Андреевич взял на себя занятия с сыновьями латинским языком и превратил это учение в ежевечернее тяжелое испытание. Он требовал, чтобы сыновья во время урока «по часу и более не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол». «Братья очень боялись этих уроков», так как отец «был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив». Заметив, что, несмотря на вспыльчивость отца, в их семье не только не наказывали телесно, но и не ставили детей на колени или в угол, А. М. Достоевский продолжал: «Главнейшим для нас было то, что отец вспылит. Так и при латинских уроках, при малейшем промахе со стороны братьев, отец всегда рассердится, вспылит, обзовет их лентяями, тупицами; в крайних же, более редких, случаях даже бросит занятия, не докончив урока, что считалось уже хуже всякого наказания».

Противоположностью занятиям с отцом латынью были уроки «закона божьего», которые давал мальчикам приходивший в дом Достоевских дьякон. Четверо старших детей и мать, сидя вокруг стола, увлеченно слушали повествования Ветхого и Нового завета «воодушевляющегося преподавателя. Он имел отличный дар слова, и весь урок, продолжавшийся по-старинному часа полтора-два, проводил в рассказах. Бывало, придет, употребит несколько

минут на спрос учеников и сейчас же приступит к рассказам — о потопе, о приключениях Иосифа. О Рождестве Христове он говорил особенно хорошо... Положительно могу сказать, что он своими уроками и своими рассказами умилял наши детские сердца», — вспоминал А. М. Достоевский.

Не только поэзия библейских и христианских легенд и их сюжетно-занимательное построение увлекали детей, но и нравственные проблемы, связанные с ними, к которым, несомненно, законоучитель привлекал их внимание. Мы знаем, что Федор Михайлович незадолго до смерти вспоминал о глубоком детском впечатлении от одной из библейских легенд. Он писал жене в 1875 г.: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг, бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача... Эта книга, Аня, странно это, — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда почти младенцем!». Вдохновенные рассказы дьякона, вероятно, жадно впитывал деятельный ум мальчика, искусственно ограниченного в восприятии текущей действительности.

Для занятий французским языком к братьям Достоевским был приглашен преподаватель Екатерининского института француз Сушар, который «с высочайшего позволения» стал именоваться по-русски Драшусовым Николаем Ивановичем. У Драшусова был маленький пансион для приходящих, куда вскоре и были определены Михаил и Федор для подготовки к поступлению в закрытый пансион с гимназическим курсом. По сообщению А. М. Достоевского, «сам Драшусов занимался французским языком, два взрослых сына его занимались преподаванием математики и словесности, и даже жена его, Евгения Петровна, кажется, что-то преподавала». Сыновья Драшусова — это Владимир Николаевич Драшусов, позднее магистр математических наук, в 40-х годах издатель «Московского городского листка», и Александр Николаевич Драшусов, в дальнейшем — астроном, профессор Московского университета. Оба они неодобрительно упомянуты Белинским в 1847 г.: первый в письме к Боткину, в качестве редактора газеты, а второй в рецензии на его статью «О Луне», которая, по словам Белинского, «нелитературно и неизящно написана», тяжелыми периодами, «словно переведенными с немецкого». Оба Драшусовы в начале 1830 г. были, возможно, еще студентами[9].

По воспоминаниям А. М. Достоевского, Михаил и Федор ездили в пансион Сушара, «кажется, в продолжение целого года или даже более, ежедневно по утрам и возвращались к обеду». Очевидно, это относится к 1833 и началу 1834 г., когда Ф. М. Достоевскому исполнилось 12 лет.

Как себя чувствовал Ф. М. Достоевский среди чужих подростков после замкнутой семейной жизни, как отразился на его развитии этот год? Исследователи его рукописей давно высказывали предположение, что в конце 60-х годов мысли его в работе над «Житием великого грешника» постоянно обращались ко времени

пребывания в пансионе Сушара и что в романе «Подросток» тот же пансион в какой-то мере дал материал для изображения пансиона Тушара. Аркадий именно в 12 лет был «в пансионишке, у Тушара, еще до гимназии...». Очень возможно, что Достоевский словами подростка рисовал портрет подлинного Сушара-Драшусова, долго служившего в Екатерининском институте и, по словам А. М. Достоевского, «горячо желавшего сделаться чисто русским».

Конечно, нет оснований искать в положении подростка в пансионе Тушара какие-либо параллели с фактами биографии Достоевского. Не мог Тушар третировать его как лакея, вряд ли могли преследовать его и ученики — ведь он был вдвоем с братом, да и не жил там, а только приезжал по утрам. Но что-то очень важное для его внутренней жизни, для становления мировоззрения он вынес оттуда. Может быть, это были первые раздумья о социальном неравенстве, которое так подчеркнуто в романе «Подросток» и культивировалось Тушаром, гордившимся «сенаторскими и графскими детьми», бывшими у него в обучении. Какой-то материал в этом отношении могли дать Ф. М. Достоевскому рассказы его младшего брата Андрея, который в 1834—1835 гг. был отдан в пансион немца Ф. И. Кистера и рассказал потом в «Воспоминаниях» о своих переживаниях там. Его положение в пансионе было несколько особое, так как отец, М. А. Достоевский, был «годовым врачом» пансиона Кистера, а за гонорар ему там воспитывали Андрея. Он вспоминает: «Кистер на меня не обращал никакого внимания, как бы явно показывая, что я у него обучаюсь даром!.. А мальчики так хорошо и зорко могут это заметить и угадать!» Оставил Андрей Михайлович и характеристику внутренней жизни своего пансиона, от которой очень страдал. А. М. Достоевский не решался даже рассказывать родителям о внутренней жизни пансиона, но со старшими братьями, вероятно, он делился.

Именно к двенадцатилетнему возрасту, к пребыванию в пансионе Сушара, относил впоследствии Ф. М. Достоевский в творческих планах глубокие нравственные потрясения своего героя, заставляя его пройти через нарушение остро сознаваемых им моральных норм вплоть до преступления (черновики «Жития великого грешника», частично вошедшие в роман «Подросток»). Оставляя в стороне переживания и поступки героя состоявшегося и несостоявшегося романов, которые диктовались им основной идеей и сюжетом, остановимся лишь на беглых записях психологических наблюдений, характеризующих духовное становление мальчика переходного возраста. В этих записях есть основание угадывать автобиографическую память о лично пережитом, тем более что в эти записи включаются имена многих людей, реально окружавших Достоевского в эти годы, и даже указывается реальное точное время: «сейчас по переходе от Сушара к Чермаку», т. е. 1833—1834 гг.

Вот несколько записей:

«Но и главное: не одно это уединяет его ото всех, а именно мечты о власти и непомерной высоте над всеми...»

«...Только готовит себя, но страшно уверен, что все само придет... Искания точки твердой опоры. Но во всяком случае человек необыкновенный...»

«Необычайная гордость мальчика делает то, что он не может ни жалеть, ни презирать этих людей. Он на них и негодовать очень не может...

Опасная и чрезвычайная мысль, что он будущий человек необыкновенный, охватила его еще в детстве. Он беспрерывно думает об этом. Ум, хитрость, образование — все это он хочет приобрести как будущие средства к необыкновенности...

И, наконец, он кается и мучается совестью в том, что ему так *низко* хочется быть необыкновенным. Впрочем, он сам не знает, чем он будет.

Чистый идеал свободного человека мелькает перед ним иногда; все это — в пансионе...» [10].

Отрывочно приведенные здесь беглые записи Достоевского о размышлениях и переживаниях мальчика вылились в романе «Подросток» в следующее признание Аркадия, которое как бы служит объяснением его характера и поведения:

«С двенадцати лет, я думаю, то есть почти с зарождения правильного сознания, я стал не любить людей. Не то что не любить, а как-то стали они мне тяжелы. Слишком мне грустно было иногда самому в чистые минуты мои, что я никак не могу всего высказать даже близким людям, то есть и мог бы, да не могу, почему-то удерживаюсь; что я недоверчив, угрюм и несообщителен. Опять-таки, я давно уже заметил в себе черту, чуть не с детства, что слишком часто обвиняю, слишком наклонен к обвинению других; но за этой наклонностью весьма часто немедленно следовала другая мысль, слишком уж для меня тяжелая: „Не я ли сам виноват вместо них?“ И как часто я обвинял себя напрасно! Чтоб не разрешать подобных вопросов, я, естественно, искал уединения. К тому же и не находил ничего в обществе людей, как ни старался, а я старался; по крайней мере все мои однолетки, все мои товарищи, все до одного оказывались ниже меня мыслями; я не помню ни единого исключения».

И дальнейшие строки свидетельствуют о раннем разочаровании Аркадия в людях, о его страданиях от того, что он не мог найти с ними контакта, что «беспрерывно закрывался» и желал «выйти из общества» [11].

Нельзя не задуматься над автобиографической основой, диктовавшей Достоевскому на рубеже 1860—1870 гг. признания и самооценки подростка 30-х годов, тем более что они перемежаются, как мы сказали, упоминаниями десятка имен людей, близких ему в те годы. Мы не можем видеть в Ламберте (Альберте)

тетрадных творческих черновых записей к романам Достоевского подлинного ученика пансиона Чермака[12], а тем более персонажа романа «Подросток», хотя возможно какие-то аморальные свойства этого персонажа сыграли в жизни мальчика значительную роль. К сожалению, остается совсем нераскрытой роль, которую в сознании Достоевского сыграл многократно упоминаемый в записях к «Житию великого грешника» доктор Альфонский, сослуживец по больнице отца Достоевского, сделавший научную карьеру в Московском университете, а через вторую жену, урожденную Муханову, вошедший в московское светское общество.

Комментарии академического издания к записям «Жития великого грешника»[13] раскрывают упоминаемый в них ряд имен. Это имена родственников, учителей и учеников, дворовых людей, принадлежавших их семье, и т. д. Только одно имя, неоднократно упоминающееся в записях с очень своеобразной характеристикой, не нашло объяснения в комментарии: это имя девочки Кати, которая десять раз фигурирует в этих записях. Между тем эта Катя, несомненно, тоже вполне реальное лицо, о которой еще в 1920—1930 гг. мне удалось разыскать сведения.

По воспоминаниям А. М. Достоевского мы знаем, что Мария Федоровна взяла из деревни трех сироток, которые исполняли обязанности горничных. Бывшую постарше, Акулину, пристроили в помощь к обслуживанию медицинской практики М. А. Достоевского; младшая, Арина, особенно полюбилась скромностью и трудолюбием Марии Федоровне, ухаживала за нею; о третьей же, Кате, А. М. Достоевский написал лишь, что она «была огонь-девчонка». Она была из деревни Черемошни, ровесница писателю, потеряла отца в раннем детстве, ее мать вышла замуж за даровского крестьянина, и с 1832 г. в списках д. Черемошни одиноко стала значиться: «дворовая девка Екатерина Александрова, 12 лет». Зимой, очевидно, как и две другие девочки, она трудилась в московской квартире Достоевских, а летом — в деревне. В записях имя ее дважды встречается вместе с указанием на «деревню».

Если в начале записей преобладает упоминание о Кате, то далее чаще называется Хроменькая, тоже девочка, на год моложе героя «Жития», но во всяком случае это не Катя. Их роли в повествовании очень близки и как-то пересекаются. Записи с именем Кати позволяют предположить, что эта «огонь-девчонка» и связанные с ней воспоминания глубоко запали в память писателя, предполагавшего ввести ее в события ранней юности своих героев.

К памяти о реальной Кате Достоевскому суждено было вернуться в связи с известиями о последних годах жизни овдовевшего Михаила Андреевича, который сделал Катю своей наложницей. В 1838 г. у нее родился ребенок, вскоре умерший[14].

Наброски к «Житию великого грешника» и к «Подростку», конечно, не автобиографичны, но мы думаем, что в поисках изображения психики двенадцатилетнего героя автор черпал в глубоких

подспудных источниках памяти первое осознание своей личности, ее значения, ее положения в мире. Сугубо осторожно может исследователь коснуться этого материала, говоря о кризисе, пережитом Достоевским в ранние годы, когда на смену искусственно созданного однообразного семейного существования наступило первое соприкосновение с миром «чужих» людей и осмысление своих взаимоотношений с ними.

Раннее овладение грамотой, изоляция мальчиков от общения со сверстниками до поступления в пансион, при развитом интеллекте и любознательности, создали в них страстную тягу к книге. Эта черта находила, очевидно, сочувствие и одобрение родителей, которые и сами не были чужды книжным интересам. Характерно сообщение А. М. Достоевского о вечерних чтениях, которые существовали постоянно в кругу родителей: «С тех пор, как я начинаю себя помнить, они уже происходили. Читали попеременно вслух или папенька, или маменька. Я помню, что при чтениях этих всегда находились и старшие братья, еще до поступления в пансион, впоследствии и они начали читать вслух, когда уставали родители».

А. М. Достоевский не сообщает о том, что читали родители Достоевских для себя, и перечисляет лишь то, что читалось для сыновей и что запомнилось Андрею. Цитирую далее воспоминания Андрея Михайловича о семейных чтениях: «Читались по преимуществу произведения исторические: „История Государства Российского“ Карамзина (у нас был свой экземпляр), из которой чаще читались последние томы — IX, X, XI и XII [15], так что из истории Годунова и самозванцев нечто осталось у меня в памяти из этих чтений; биография Мих. Вас. Ломоносова соч. Ксенофонта Полевого и многие другие. Из чисто литературно-беллетристических произведений помню читали Державина (в особенности оду „Бог“), Жуковского и его переводные статьи в прозе; Карамзина — „Письма русского путешественника“ и повести: „Бедную Лизу“, „Марфу Посадницу“ и проч. Пушкина преимущественно прозу. Впоследствии начали читать и романы „Юрий Милославский“, „Ледяной дом“, „Стрельцы“ и сентиментальный роман „Семейство Холмских“. Читали также сказки и Казака Луганского. Все эти произведения остались у меня в памяти, и не по одному названию, а потому, что чтения эти часто прерывались рассуждениями родителей, которые и были мне памятны. Перечитывая впоследствии все эти произведения, я всегда вспоминал наши семейные чтения в гостиной дома родительского».

Если сочинения Державина, Карамзина и Жуковского, вероятно, читались по инициативе родителей, то остальные названные выше произведения относились к первой половине 30-х годов и, возможно, свидетельствовали уже об интересах старших братьев, и сведения о них, может быть, приносились ими из пансиона Чермака. Романы «Стрельцы» К. П. Масальского и «Семейство Холмских» Д. И. Бегичева вышли в 1832 г., «Ледяной дом» Лажечни-

кова и «Были и небылицы» Казака Луганского (В. И. Даля) — в 1835, а «М. В. Ломоносов» К. А. Полевого — в 1836 г., т. е. ко времени занятий Достоевских словесностью в пансионе с Н. И. Билевичем, о чем мы говорим далее.

Характеризуя личные интересы и чтения братьев, А. М. Достоевский писал: «Выше я говорил уже, что старшие братья читали во всякое свободное время. В руках брата Феди я чаще всех видел Вальтера Скотта: „Квентина Дорварда" и „Ваверлея"; у них были собственные экземпляры, и вот их-то он перечитывал неоднократно, несмотря на тяжелый и старинный перевод». Это воспоминание А. М. Достоевского подтверждается признанием самого Федора Михайловича. Когда Н. Л. Озмидов в 1880 г. попросил рекомендации литературного чтения для дочери, Достоевский ответил ему письмом, в котором изложил свое мнение «по соображению и по опыту». Особенно много места он отвел чтению Вальтера Скотта: «12-ти лет я в деревне во время вакаций прочел всего Вальтер Скотта, и пусть я развил в себе фантазию и впечатлительность, но зато я направил ее в хорошую сторону и не направил на дурную, тем более, что захватил с собой в жизнь из этого чтения столько прекрасных и высоких впечатлений, что, конечно, они составили в душе моей большую силу для борьбы с впечатлениями соблазнительными, страстными и растлевающими. Советую и Вам дать Вашей дочери теперь Вальтер Скотта тем более, что он забыт у нас, русских, совсем, и потом, когда уже будет жить самостоятельно, она уже не найдет ни возможности, ни потребности сама познакомиться с этим великим писателем; итак, ловите время познакомить ее с ним, пока она еще в родительском доме, Вальтер Скотт же имеет высокое воспитательное значение» [16].

Далее А. М. Достоевский писал, что «брат Федор любил также повести Нарежного, из которых „Бурсак" (1821 г.) перечитывал неоднократно». Но далее он сообщал, что Достоевский «тогда восхищался романом Вельтмана „Сердце и думка"». Между тем этот роман был напечатан в 1838 г. и прочитать его и делиться своим восхищением Достоевский мог только в Петербурге. Важно следующее общее заключение А. М. Достоевского о чтении братьев: «Вообще брат Федя более читал сочинения исторические, серьезные, а также и попадавшиеся романы. Брат же Михаил любил поэзию и сам пописывал стихи, бывши в старшем классе пансиона (чем брат Федор не занимался). Но на Пушкине они мирились, и оба, кажется, и тогда чуть не всего знали наизусть, конечно, только то, что попадалось им в руки, так как полного собрания сочинений Пушкина тогда еще не было. Надо припомнить, что Пушкин тогда был еще их современником. Об нем, как о современном поэте, мало говорилось еще с кафедры; произведения его еще не заучивались наизусть по требованию преподавателей. Авторитетность Пушкина как поэта была тогда менее авторитетности Жуковского даже между преподавателями словесности; она

была менее и во мнении наших родителей, что вызывало неоднократно горячие протесты со стороны обоих братьев (в особенности брата Федора) [17].

Помню, что братья как-то одновременно выучили наизусть два стихотворения: старший брат «Графа Габсбургского» — перевод Жуковского баллады Шиллера, а брат Федор, как бы в параллель тому, — «Смерть Олега». Когда эти стихотворения ими были произнесены в присутствии родителей, то предпочтение было отдано первому, вероятно, вследствие большей авторитетности сочинителя».

Мы думаем, что исполненное глубокого преклонения перед религиозной святыней и прославляющее добродетельного монарха стихотворение Жуковского этими качествами должно было воздействовать на родителей и затмить пушкинское создание о князе-язычнике, в котором, как и в балладе Шиллера, присутствуют конь, служитель культа — кудесник и воинственное окружение князя.

Ко времени поступления в пансион Чермака (конец 1834 г.) братья Достоевские не расставались с книгами. Надо думать, что уже в это время они привыкли делиться суждениями о прочитанном, что стало позднее характерно для их переписки. Атмосфера пансиона Чермака способствовала их любви к книге, так как там они встретили юношей, несомненно начитанных, одаренных и в дальнейшем выдвинувшихся научной деятельностью. А. Д. Шумахер, одногодок с Михаилом Михайловичем, так вспоминал о пансионе Чермака, в котором, хотя и недолго, учился вместе с Достоевскими:

«По окончании домашнего учения, под руководством отца, я поступил в средние классы одного из лучших в то время в Москве частных пансионов с полным гимназическим курсом и даже обоими древними языками, именно в пансион, содержавшийся чехом Чермаком. Там я имел сверстниками несколько воспитанников, получивших впоследствии более или менее громкую известность» [18].

С Достоевским учились сыновья двух московских профессоров — М. Т. Каченовского и Д. М. Перевощикова. Первый из них, еще с раннего детства знавший Михаила и Федора, позднее писал Ф. М. Достоевскому: «Мы с вами знакомы и по соседству места жительства наших отцов (в Москве, в Сущеве), и по знакомству между нашими семействами, и, наконец, по ученической скамейке пансиона Л. И. Чермака». Только после смерти писателя он опубликовал в «Московских ведомостях» «Мои воспоминания о Ф. М. Достоевском» о совместном пребывании в пансионе: «...я поступил в пансион Леонтия Ивановича Чермака: пользовавшийся лучшею репутацией как по бдительному надзору за учащимися, так и по составу преподавателей. Достаточно сказать, что в числе их были Д. М. Перевощиков, А. М. Кубарев, К. М. Романовский, лучшие учителя того времени».

В. М. Каченовский оставил первую словесную зарисовку облика Федора Михайловича и вместе с тем отметил характерные черты его поведения. Он вспоминал, как Федор Михайлович, бывший на пять лет старше, заступался и утешал его, когда его как новичка дразнили старшие ученики:

«С тех пор он часто приходил ко мне в класс, руководил моими занятиями, а во время рекреаций облегчал занимательными рассказами тоску мою о родительском доме. Он был ко мне очень приветлив и ласков.

В то время Федор Михайлович был вместе с братом уже в старших классах; это был серьезный, задумчивый мальчик, белокурый с бледным лицом. Его мало занимали игры: во время рекреаций он не оставлял почти книг, правда, остальную часть свободного времени проводил в разговорах со старшими воспитанниками пансиона А. М. Ломовским, Ф. и А. Мюльгаузенами, Д. и А. Шумахерами и П. Перевощиковым» [19].

Постоянное чтение братьев в пансионе, о котором вспоминал Каченовский, продолжалось и по приезде домой, в субботу и воскресенье. А. М. Достоевский оставил краткое свидетельство об этом: «Пообедав и поговорив еще несколько, братья отбирали от меня с грехом пополам недельный отчет; затем они садились за свои ломберные столы и предавались чтению; так же проводилось и воскресенье. Помню только то, что я редко видал, чтобы по субботам и воскресеньям братья занимались приготовлениями уроков и привозили с собой учебники. Зато книг для чтения привозилось достаточно, так что братья постоянно проводили домашнее время в чтении».

Вероятно, Достоевские имели возможность получать в пансионе у своих не менее начитанных друзей книги для чтения, пополняя домашние возможности. Недаром Д. В. Григорович, удивленный в Инженерном училище широким знакомством Достоевского с литературой, писал в «Воспоминаниях»: «Мне потом не раз случалось встречаться с лицами, вышедшими из пансиона Чермака, где получил образование Достоевский; все отличались замечательною литературною подготовкой и начитанностью».

Естественно поставить вопрос, кто в пансионе руководил и способствовал развитию этих интересов. До последнего времени не было известно имя преподавателя языка и словесности, хотя А. М. Достоевский оставил чрезвычайно важное свидетельство о его влиянии на старших братьев. После краткого сообщения об увлечении старших братьев чтением он писал: «Замечу лишь то, что в последние годы, т. е. около 36-го года, братья с особенным воодушевлением рассказывали про своего учителя русского языка, он просто сделался их идолом, так как на каждом шагу был ими вспоминаем. Вероятно, это был учитель незаурядный. Братья отзывались о нем не только как о хорошем учителе, но в некотором отношении как о джентльмене. Очень жаль, что я не

помню теперь его фамилии, но в мое пребывание у Чермака учителя этого, кажется, уже не было и в высших классах».

И лишь в 1974 г. стало известно имя педагога, несомненно сыгравшего значительную роль в развитии Ф. М. Достоевского, ставшего для него не только литературным, но, возможно, и нравственным авторитетом: выражение «джентльмен» в речи Андрея Михайловича надо, конечно, отнести в данном случае к благородным общим человеческим качествам. Опубликовав архивные материалы, относящиеся к пансиону Чермака, Г. А. Федоров обнаружил в списке преподавателей 1835—1837 гг. имя Николая Ивановича Билевича, преподававшего русский язык и литературу[20]. Что же представлял собою этот «идол» подростков Достоевских, чему и как он их учил?[21]

Сын учителя гимназии в Курске, Билевич был всего на девять лет старше Ф. М. Достоевского. Так как его дядя, М. В. Билевич, был старшим профессором политических наук в Гимназии высших наук в Нежине, племянник был отдан туда в 1827 г., где учился одновременно с Гоголем, дружил с Кукольником. Его биограф сообщает, что «сближение с Гребенкою, Кукольником, Прокоповичем, литературные ученические собрания в квартире гувернера Мышковского, на которых читались разные произведения, приготовленные для гимназических журналов и альманахов, еще в Нежинской гимназии благотворно подействовали на Билевича и приготовили его к литературным занятиям, подстрекая к попыткам пробовать свои собственные силы». Билевич писал стихи, перевел две трагедии Шиллера, но не одобренный друзьями, перешел к прозе.

Он окончил курс со степенью кандидата и отличной аттестацией в 1830 г., когда в лицее расследовалось известное «дело о вольнодумстве» и по интригам и доносам, возглавлявшимся его дядей, профессором М. В. Билевичем, был уволен из лицея молодой профессор римского права Н. Г. Белоусов, любимец студентов. Племянник Билевич принадлежал к его поклонникам и «по сочувствию к профессору Белоусову» особенно интересовался римским правом.

Приехав в 1830 г. в Москву, Билевич слушал лекции в Московском университете по словесному и юридическому отделениям в годы, когда там учились Белинский и Герцен, когда в университете зрели и формировались идейные течения, определившие направление русской общественной мысли и литературы 1830—1840 гг.

Билевич не мог продолжать ученья по материальным причинам и занялся педагогической и литературной деятельностью. Он стал преподавателем истории и географии в московской Практической академии, где Н. Полевой за два года перед тем произнес свою «Речь о невещественном капитале, как одном из главнейших оснований государственного благосостояния». Полевой пытался

в ней доказать, что просвещение (невещественный капитал) важнее капитала вещественного, который без просвещения «не только мало важен, но совершенно ничтожен». Он говорил, что «основание всего составляет *труд*, посредством коего человек производит ценность», и, восхваляя просвещение, восклицал: «Но неужели все звания, все состояния должны быть просвещены и образованны? Все до единого, ибо все они производители капиталов, граждан общества, все они люди, образ и подобие бога, братья наши... Мысль, что просвещение развращает нравы, есть мысль безумная». Если эта горячая защита просвещения не могла найти понимания и сочувствия среди чванных «отцов города», первогильдейского купечества, к которым она была обращена, то позиция Полевого и его боевого журнала «Московский телеграф» привлекла к нему немало молодежи, студенчества, постоянно с ним общавшегося. В их числе оказался и Билевич, сблизившийся с ним и приглашенный учителем к его племянникам. Так как уже в самом начале 30-х годов Билевич пытался начать в Москве свою литературную деятельность, то очень вероятно его участие в журнале Полевого [22].

По биографии его нам известно лишь, что он помещал переводы статей из разных изданий в «Телескопе», что в эти же годы там же и то же делал Белинский. В 1832 г. им были изданы особой книжкой несколько сатирических статей под заглавием «Картинная галерея светской жизни», а в ближайшие годы — «Простонародные рассказы» и «Святочные вечера». О последних, получивших благоприятные отзывы в журналах, мы скажем далее.

Время же его преподавания у Чермака совпало со временем его наиболее интенсивной и все расширяющейся педагогической деятельности. Его биограф пишет: «С каждым годом известность его как опытного, хорошего преподавателя увеличивалась, вследствие чего, имея уже уроки в пяти или шести частных пансионах, он был приглашен и во многие известные в Москве дома для преподавания русской словесности». В 40-х годах он преподает в III гимназии, Дворянском институте и других казенных учреждениях. Поддерживая литературные связи с Загоскиным, Вельтманом, С. Глинкой, сблизясь с профессорами университета Редкиным и Крюковым, он особенно занят подготовкой исторических трудов.

Чтобы охарактеризовать Н. И. Билевича как любимого педагога братьев Достоевских, мы позволим себе остановиться на двух его работах, из которых первая даст представление о его педагогических принципах, а вторая — о его общественно-политических взглядах. Хотя обе они относятся к середине 40-х годов, но несомненно, что и та и другая явились своего рода результатом его работ и размышлений предшествующего десятилетия.

В середине 40-х годов в издательстве Августа Семена в Москве выходила «Библиотека для воспитания», меньшая часть томов в которой ежегодно предназначалась воспитателям, а большая

часть — воспитанникам. С 1845 г. главным редактором и заведующим отделом словесности и художеств был Шевырев, отделом средней и новой истории заведовал Грановский, отделом педагогики и общим редактором был Редкин. В журнале сотрудничали М. Погодин, В. Одоевский, А. Хомяков, Н. Павлов и др. В феврале 1846 г. вышла III часть второго отделения журнала, предназначавшаяся воспитателям и состоящая из трех статей: 1 — «На чем должна основываться наука воспитания» П. Редкина; 2 — «О преподавании русского языка и словесности». Статья 1 Н. Билевича; 3 — «О чтении». Статья 1 — Ю. Фелькеля[23].

Статья Билевича содержит общее введение о значении изучения родного языка и его принципов, а также краткое изложение системы — «Преподавание русского языка в низших классах». Автор предполагал вторую статью посвятить преподаванию в средних классах и третью — в старших. Вторая и третья статьи, которые были бы особенно интересны для изучения Достоевского, в печати не появились, но и первая до какой-то степени может дать представление о педагогической практике Билевича.

Статью Билевич начал следующей декларацией: «Изучение отечественного языка, конечно, составляет первое, необходимое условие всякого образования, и научить правилам того языка, на котором мы впервые произносим слово наше, нетрудно; можно довести ученика до того, что он будет писать правильно, гладко, по-видимому, даже хорошо на родном языке, но этого не довольно. Человек должен *мыслить*, *рассуждать* и *уметь выражать свои мысли* (понимаю — *правильно*). Эти три условия разумного существования его он обязан выполнить и в детстве, и в юности, и возрасте мужества. Если слова есть выражение духа человека, то и сфера изучения словесности сможет ограничиваться этими тремя требованиями. Начнем же с первого. Что же значит научить ребенка *мыслить*? Развить в нем деятельность его духа, вселить в него сознание с ранней поры, что он существо мыслящее... Изучением отечественного языка начинается первое развитие мыслящей способности ребенка: в его уроках совершается первый акт мышления детей».

Излагая далее свой метод преподавания грамматики в младших и средних классах и опираясь на свои наблюдения и практику, Билевич все время ведет борьбу с механическим заучиванием, с бессмысленным повторением усвоенного без вникания в суть дела, требуя все время приучать ученика к мышлению, «развить в нем эту способность» и, обучая его «навыку писать сколько-нибудь правильно по-русски», иметь «в основании первое условие учения языка: *должно мыслить*».

Очень четко, коротко и ясно формулируя свои советы в области изучения «*предмета, бытия и качества*» (как частей речи, так и членов предложения), он ставит «непременным условием: приучать ученика отдавать отчет во всем им сказанном».

Мы можем лишь гадать, как строил Билевич «преподавание словесности в высших классах», где у него были уже хорошо подготовленные и начитанные ученики. Конечно, умение мыслить, выражать свои мысли и рассуждать оставалось и там основным требованием. Но молодой учитель, близко стоявший к двум ведущим журналам — «Московскому телеграфу» и «Телескопу», общавшийся с современными литературными деятелями, не мог не знакомить своих учеников с текущим литературным процессом, выдающимися событиями, появлением новых произведений и сведениями об их авторах. Не отсюда ли у братьев Достоевских к 1837 г. культ Пушкина, интерес к Шиллеру (Билевич переводил его драмы)? А. М. Достоевский сообщал, что не помнит наверное, читал ли Ф. М. Достоевский в Москве что-нибудь из Гоголя, и это понятно, так как до 1837 г. изданий Гоголя было мало, а в домашнем окружении Достоевских его имя вряд ли могло звучать.

Трудно себе представить, что Билевич, учившийся в Нежинской гимназии высших наук с Гоголем, внимательно следивший за литературой и по окончании ее, не интересовался и не увлекался блестящими успехами своего товарища. Конечно, Билевич общался с Гоголем, и последний был в курсе если не литературных, то служебных дел Билевича. В письме к А. О. Смирновой в Калугу 6 декабря 1849 г. Гоголь писал: «С Назимовым я мало знаком... Если вам имеется в нем надобность, может быть, насчет Билевича, то посоветуйте ему обратиться к Гинтовту, который с ним еще недавно служил вместе». Билевич в 1848—1850 гг. был инспектором Калужской гимназии, и жена калужского губернатора А. О. Смирнова, возможно, желала пригласить его как преподавателя словесности к своим детям. Назимов же был попечителем Московского учебного округа и должен был хорошо знать Билевича [24].

В тетради, куда Достоевский вносил записи в 1874 г. для будущего романа «Подросток», среди которых многие прямо связаны с его пребыванием в Москве, в обоих пансионах, он записал: «Школьный учитель, роман (описание эффекта чтений Гоголя, Тараса Бульбы)» [25]. Напомним, что «Тарас Бульба» был напечатан в сборнике «Миргород», служащем продолжением «Вечеров на хуторе близ Диканьки», вышедшем в начале 1835 г. в Петербурге. В записях Достоевского мы видим врезавшиеся в его память воспоминания об уроках Билевича в 1835—1836 гг., на которых последний знакомил учеников с созданием своего гениального товарища.

А. М. Достоевский указал, что Федор Михайлович «восхищался романом Вельтмана „Сердце и Думка"». Вельтман был в числе почитаемых знакомых Билевича. На одной из его книг в Ленинской библиотеке нам встретилась дарственная надпись Билевича: «Высокоуважаемому Александру Фомичу Вельтману от автора». Билевич мог рекомендовать ученикам чтение произ-

ведений Вельтмана[26]. Автограф Билевича находится на оттиске его статьи «Николай Иванович Новиков», сброшюрованной в виде малоформатной книжечки, на последней странице которой после подписи автора напечатано: «Из Московского городского листка: В типографии Степанова. 1848 г.» (ценз. разр. августа 1 дня 1848 г.). Книжка в переплете, но это, очевидно, лишь часть сборника, так как она имеет нумерацию 82—133. Статья Билевича «Николай Иванович Новиков» была им напечатана в «Московском городском листке» в 1847 г. № 43, редактором которого в это время был упоминавшийся выше В. Н. Драшусов.

В этом же году в той же газете Билевич поместил еще две статьи («Пребывание Карамзина в Москве» и «Русские писательницы XVIII—XIX вв.»), но мы коснемся лишь статьи о Н. И. Новикове.

Прежде всего в ней обращает на себя внимание серьезная подготовка, общая эрудиция автора, его непосредственное знакомство с многочисленными изданиями Новикова. Так, оспаривая обвинение Новикова в его якобы несправедливой оценке некоторых литераторов в «Опыте исторического словаря о российских писателях», Билевич писал: «Я перечитал словарь от первой строки до последней и решительно ничего подобного не нашел: все его мнения были весьма скромны, суждения и приговоры умеренны». Обилие использованных материалов, стремление их охватить и охарактеризовать говорят о подготовке не газетной статьи, а специального исследования, что подтверждает и заключение ее, в котором Билевич просит всех сообщить ему сведения о жизни и деятельности Новикова, возможно им пропущенные или ошибочно изложенные.

Статья проникнута глубоким уважением, восхищением личностью и деятельностью Новикова. Лишь бегло касаясь личных гуманных поступков Новикова — организации и содержания училищ, питания во время голода за свой счет целого уѐзда и других, Билевич весь пафос своего исследования посвящает просветительской деятельности Новикова, ее огромной роли для времени, которое «было скудно средствами образования... Предприимчивый, верный своим намерениям, твердый духом, хотя скромный в обращении, — он посвятил себя и свои средства образованию других...».

По необходимости кратко характеризуя каждое из изданий Новикова и говоря об их успехе в обществе, Билевич, конечно, должен был сказать о его аресте и заключении в крепость, но сделал это бегло, поспешив сообщить, что «невинность Новикова открылась уже при императоре Павле», и закончил статью апофеозом просветителя:

«Нужен был человек, который бы один умел дать ход тому, что сознавала масса, разобщенная на классы. Новиков стал посреди их и, отвечая требованиям публики, вызвался доставлять ей чтение и образовывать литераторов... Публика верила Нови-

кову и с жадностью читала его книги — и вот первое его значение *распространителя важных и современных идей по всем отраслям знания человеческого»*. Он стремился «возрастить и воспитать надежные таланты на поприще русской словесности. Прежде всех узнал он в Карамзине писателя весьма замечательного... и если бы Новиков не сделал ничего больше для словесности нашей, то одно это обессмертило бы его имя вместе с именем Карамзина — и вот второе значение Новикова — *образователя замечательнейших писателей...*

Мы не забудем того русского, человеческого направления, которое развито во всех его периодических изданиях, где идея современности идет всегда в параллели с идеею народности; не забудем исторических трудов и изысканий Новикова, его книжной торговли, типографской кампании, а что всего важнее, его примерного бескорыстия на поприще родного просвещения». Когда в 1847 г. в московской газете появилась эта статья Билевича о Новикове, то юный петрашевец Плещеев, писавший в «Русском инвалиде», счел нужным откликнуться на нее, заканчивая «Петербургскую хронику»: «Интересная биография Новикова составлена г-м Билевичем и находится в 43 № Московского городского листка» [27].

Намеченные вехи в истории умственной жизни Билевича — от сочувствия нежинского студента «вольнодумному» профессору Белоусову к сближению с издателем боевого «Московского телеграфа», от упорного требования строить педагогику на умении учеников *мыслить* и *рассуждать* к возвеличению просветительского подвига Новикова — все это в пору гнетущей реакции и ее ожесточенной борьбы с мыслью, рассуждением и просвещением свидетельствует о незаурядности педагога, который стал «идолом» братьев Достоевских. В их окружении в Москве мы не знаем больше ни одного лица, от которого могли бы они воспринять суждения, столь противоречащие взрастившей их старозаветной патриархальной среде, и этот человек не мог не врезаться в их память.

Мы указывали, что в записных тетрадях Достоевского с подготовительными материалами к «Житию великого грешника» и «Подростку» мысли писателя все время обращались к детским московским воспоминаниям, людям, его тогда окружавшим — в доме, усадьбе, в пансионах. Частично эти записи реализованы в романе «Подросток». И естественно в этой до какой-то степени юношеской исповеди Достоевского искать следы его страстного увлечения человеком, так не гармонировавшим с духом штаб-лекарской квартиры, купеческого особняка Куманиных, с подленькими «светскими» претензиями пансиона Сушара и формально добросовестным заведением Чермака.

В сущности в «Подростке» нет ничего о пребывании Аркадия в гимназии (времени, которое соответствовало бы учению Ф. М. Достоевского у Чермака). Упоминается оно бегло, без вся-

кой оценки и подробностей, тогда как мы многое узнаем о ранней жизни Аркадия в деревне и в Москве у Андронникова, еще больше — о двух годах пребывания в пансионе Тушара. Лишь попутно указывается на жизнь Аркадия в это время в доме некоего Николая Семеновича и его жены Марии Ивановны, племянницы умершего Андронникова, которая до какой-то степени участвует в развитии романического действия.

Но о Николае Семеновиче мы не узнаем ничего, ни его фамилии, ни общественного положения, ни наружности и возраста. Никакого участия в действии персонажей романа он не принимал. А между тем упоминания о нем Аркадия всегда сопровождаются краткими указаниями на его ум, строгость и мягкость, его доверие к мальчику, исключительную деликатность. Наконец, имя его сопровождается многозначительным и никак не объяснимым эпитетом: «В квартире *незабвенного* Николая Семеновича». Именно этот «незабвенный» для Аркадия человек был им выбран в качестве читателя и судьи написанных им автобиографических записок, тщательно скрываемых от окружавших его людей. Он посылает из Петербурга в Москву рукопись и просит совета — поступать ли ему в университет — у своего «бывшего воспитателя», как он его называет, хотя ничего об этой его роли не упоминал в записках:

«Я решился, наконец, спросить совета у одного человека. Рассмотрев кругом меня, я выбрал этого человека тщательно и критически. Это — Николай Семенович, бывший мой воспитатель в Москве, муж Марьи Ивановны. Не то чтобы я так нуждался в чьем-нибудь совете; но мне просто и неудержимо захотелось услышать мнение этого совершенно постороннего и даже несколько холодного эгоиста, но бесспорно умного человека. Я послал ему всю мою рукопись, прося секрета, потому что я не показывал еще ее никому... Посланная рукопись прибыла ко мне обратно через две недели и при довольно длинном письме». Приводя далее выдержки из письма, Достоевский вкладывает в них свою личную авторскую оценку не столько написанного романа, сколько современного состояния русского общества и возможности его отражения в литературе. Лишь один якобы биографический штрих вымышленного автора письма он допускает в тексте: «Говоря так, вовсе не шучу, хотя сам я — совершенно не дворянин, что, впрочем, вам и самим известно».

К кому мысленно мог обращаться Достоевский, вспоминая московские годы, называть «незабвенным» и «своим воспитателем»? Это, конечно, могло быть вполне вымышленное лицо, но мог быть и тот сильно поразивший воображение братьев Достоевских человек, на время ставший их «идолом», нравственным авторитетом.

Билевич умер в 1860 г. на родине. Последние годы жизни он отдал истории и статистике, составляя «Описание Курской губернии» и «Памятную книжку для жителей Курской губернии».

Перейдем от весьма проблематического предположения о связи образа Билевича с текстом романа «Подросток» к значительно более реальным биографическим сведениям. А. М. Достоевский, вспоминая о чтениях братьев, писал: «Появлялись в нашем доме и книжки издававшейся в то время „Библиотеки для чтения". Как теперь помню эти книжки, менявшие ежемесячно цвет своих обложек, на которых изображался загнутый верхний уголок с именами литераторов, поместивших статьи в этой книжке. Эти книги уже были исключительным достоянием братьев. Родители их не читали».

Сведения эти надо отнести, вероятнее всего, к 1836 г. Начав выходить в 1834 г., «Библиотека для чтения» приобрела в первые же годы много подписчиков. Но выписывать периодическое издание родители Достоевских вряд ли бы стали по собственной инициативе, а вероятно, согласились после настойчивых просьб сыновей, для которых занятия в пансионе с Билевичем открыли значение и интерес литературной журналистики. Если в 1834—1835 учебном году они приступили к изучению с Билевичем русской словесности, то осенью 1835 г. они уже могли добиться подписки на журнал на следующий 1836 г. и впервые окунуться в журнальный мир, имевший впоследствии для обоих братьев такое большое значение. Насколько сильны были их переживания при знакомстве с журналом, мы узнаем из свидетельства Михаила Михайловича, который через десять лет, рецензируя в «Пантеоне и Репертуаре» современные журналы, с особым умилением вспоминал о своем первом знакомстве с «Библиотекой для чтения», с журналом, вводившим его и брата в особый, заманчивый и многообещающий мир.

«Библиотека для чтения» в 1836 г. была богата и разнообразна по материалам. В ней была и рецензия на книгу Билевича. Может быть, именно он, уже причастный к журнальной жизни, зародил у братьев то стремление к журналистике, к «текущей» литературной жизни, которая сыграла в их жизни столь большую роль. Уже в стенах московской квартиры братья испытали трепет и восхищение перед вновь рожденной книгой, предвкушение новых радостей, которые она им несет. В «Обозрении русских журналов», которое Михаил Михайлович в 1848 г. (с № 3 журнала «Пантеон и Репертуар») взялся вести ежемесячно, он так отозвался о «Библиотеке для чтения»: «Мы признаемся в своей слабости, мы несколько неравнодушны к ней по старой памяти. Мы помним, тому уже очень давно, когда мы все были, кто еще очень молод, а кто моложе, мы помним, с каким нетерпением, бывало, ожидали выхода каждой из ее книжек. А как мы, бывало, восхищались ее стихотворениями... Где теперь эти светила русского Парнаса, гг. Тимофеевы, Бернеты? . .».

М. М. Достоевскому, уже в пансионе начавшему писать стихи, конечно, наиболее памятен был отдел первый «Русская словесность. Стихотворения», где каждый месяц печатались произведе-

ния Тимофеева, Бенедиктова, Кукольника, Козлова, Катенина, Подолинского и многих других. Влияние этих поэтов из «Библиотеки для чтения» заметно на дошедших до нас сентиментальных, а иногда риторически-романтических поэтических опытах М. М. Достоевского. Во втором отделе «Русская словесность. Проза» появлялись рассказы Н. Полевого, Казака Луганского (В. Даля), романы Марлинского, Масальского, А. П. Степанова и мемуарно-исторические очерки о войне 1812—1815 гг.

Третий раздел вводил братьев Достоевских в мир, для них новый и тем более привлекательный. Это — «Иностранная словесность», состоявшая из переводных с французского и английского языков повестей и романов. Здесь они читали произведения Бульвера, Купера, капитана Марриэтта, Сувестра и др. Сведения по иностранной литературе дополнялись отделами шестым — «Литературная летопись» и седьмым — «Смесь». В последнем велась особая рубрика «Французский театр в Париже», где передавались содержание и критическая оценка пьес (по преимуществу драм, мелодрам, водевилей и комедий), где звучали имена Скриба, Сулье, сообщалось о переложении для сцены романов Жорж Санд. Обозреватель часто вставлял попутно свое порицание излагаемому, возмущался не только фривольностью содержания, но и его идейной безнравственностью: «Отвратительно безверие и неуважение ко всему священному и почитаемому народами!» — восклицал он.

В «Литературной летописи» помещались статьи о Ламартине, «Общее мнение во Франции о В. Гюго», сообщения о выходе книги Бальзака «Le livre mystique», в которую входят «Louis Lambert», «Seraphita», «Les proscrits», а также о русском переводе: «Созерцательная жизнь Лудвига Ламберта» Бальзака. Сообщалось, что это роман «мистический» и «не заражен безнравственностью», но о другой новинке Бальзака — «Темные рассказы опрокинутой головы» — было сказано пренебрежительно: «Бальзак писал иногда ужасные пустяки». Особенно порицался плохой перевод книги на русский язык, который делал рассказ еще «темнее, чем по-французски».

В отделе «Науки и художества» содержался ряд серьезных исторических, естественно-исторических и экономических статей, среди которых большое место занимали статьи о малоизученных, экзотических странах. Если этот отдел иногда был узко специален и тяжел для чтения в плохих русских переводах с иностранного, то в обширном отделе «Смеси» было много десятков кратких переводных публикаций с интересными сведениями по истории всех веков и народов, по географии, этнографии, о быте, обычаях разных стран земного шара. Было среди них немало сведений медицинского и хозяйственного порядка, которые могли заинтересовать уже не сыновей, а главу семьи М. А. Достоевского, хотя А. М. Достоевский утверждал, что родители журналом не интересовались.

Мы знаем, как болезненно переживал М. А. Достоевский неудачи в Даровском хозяйстве, а в «Библиотеке для чтения» был специальный отдел «Промышленность и сельское хозяйство». В 1836 г. в Петербурге вышла книга А. Путяты «Опытный помещик», которая учила владельцев, как увеличить «в 3—4 раза доходы с недвижимых имений»[28]. В мартовской книге «Библиотеки для чтения» за 1836 г. дана на нее расширенная рецензия с изложением основных советов малоопытным и беднеющим помещикам.

Надо думать, что большое значение для юных читателей журнала имели его отделы «Критика» и «Литературная летопись», особенно последний, так как в первом помещались главным образом разборы специальных научных книг, а второй широко охватывал выходившую беллетристику, поэзию, драматургию как отечественную, так и переводную. В рецензиях отчетливо выражалось отношение издателя-редактора Сенковского к современным писателям. Упоминая якобы с глубоким почтением имя Пушкина, рецензент попутно вставлял о нем какое-нибудь недоброжелательное замечание.

В журнале братья Достоевские находили сведения о Гоголе, к произведениям которого, надо думать, в пансионе привлекал их внимание Н. И. Билевич. В февральской книге была рецензия на второе издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки». В ней указывалось, что хотя публика в них изображена низкая, «но все эти мужики, дьячки, казаки написаны весело, приятно, забавно. Хотя нельзя „этот отпечаток народного ума“ назвать юмором или ésprit, но все же в нем нет грубости и пошлости». Рецензент жалеет, что единственную повесть без мужиков и казаков об Иване Ивановиче Шпоньке и его тетушке автор не закончил.

В томе XVI, в отделе критики, после разбора комедии Загоскина «Недовольные», в которой рецензент видит влияние «Горе от ума», помещено несколько строк о «Ревизоре». Автор рецензии считает, что пьесу захвалили и этим могут испортить Гоголя, хотя признает, что несомненно комедия — его жанр, что развернута она ловко, только сюжет не оригинален, а является известным анекдотом. Вместе с тем предлагалось некоторые «неблагопристойные сцены» из комедии выкинуть.

В томе XVII обращает на себя внимание рецензия на издание в девяти частях романов и повестей В. Нарежного, где он называется «родоначальником русских романистов» и отмечается, что Гоголь от него унаследовал охоту *жартовать,* любовь к остротам и изображению провинции. Особенно высока оценка романа «Бурсак», но высказано сожаление, что Нарежный писал в то время, когда русский литературный язык еще не был выработан.

В «Библиотеке для чтения» за 1836 г. братья Достоевские прочли хвалебный отзыв о сочинении Булгарина «Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история

обыкновенной жизни». Для будущего автора повестей о чиновниках «Записки» Булгарина как бы открывали новый мир, совсем не затронутый в русской художественной литературе.

Андрей Михайлович Достоевский указал, что у него в памяти осталось чтение старшими братьями биографии Ломоносова, написанной Ксенофонтом Полевым. В журнале этой книге (в июньском номере) была посвящена очень талантливо, серьезно и эмоционально написанная большая статья (41 с.), высоко оценившая труд Кс. Полевого как новый жанр, не исторический роман или повесть, а тип «записок» или «мемуаров», построенных на исторических источниках и вместе с тем передающих не только многообразную деятельность ученого, но и его удивительную личность. «Нам дороже Ломоносов просто как человек», — восклицает автор статьи, глубоко симпатизировавший автору книги и проявивший большую осведомленность в истории XVIII в. Не был ли автором этой статьи будущий автор статьи о Н. И. Новикове, выше нами разобранной, т. е. Н. И. Билевич, который постоянно общался с братьями Полевыми?

Среди многочисленных пренебрежительных, язвительных отзывов на макулатуру, изготовленную для базарных, ярмарочных палаток издательством Пономарева и ему подобными, резко выделяется рецензия на одну книжку из этого серого потока, помещенная в «Литературной летописи» майской книжки. Это серьезный разбор книжки, автор которой не указан: «Святочные вечера, или Рассказы моей тетушки» (М., тип. Пономарева, 1836). Рецензент начинает отзыв с описания непривлекательной внешности, характерной для такого типа изданий: «Что можно подумать, увидев перед собою книжонку, дурно напечатанную, написанную беспорядочным слогом, с сотнями ошибок против правописания и грамматики... Подумать можно одно, что эти книжонки, изданные для толкучего рынка, и кто же станет их читать? Но вообразите себе радостное удивление, если бы вы стали читать эту книжонку и сквозь все пошлые формы ее увидели в ней ум, шутку, проблески чувства и воображения и, что всего лучше, что-то русское — грубое, тяжелое, мужицкое, но русское, национальное, что-то, слышанное вами в народе! Это удивление испытали мы, читая «Святочные вечера», и оно заставило нас порадоваться появлению «Святочных вечеров» более, нежели появлению стихотворений какого-нибудь поэта на веленевой бумаге».

Сравнивая далее встречу с рассматриваемой книжкой, как встречу с «грубым немытым, небритым человеком», у которого под фризовой шинелью вдруг открываете «природное дарование, остроумие, шутливость, народность неподдельную», рецензент советовал прочитать эти семь «шуточных рассказов вроде прибауток Казака Луганского». «Почти каждый из этих рассказов оригинален, все остроумны, во многих говорит сердце... Жаль, что мы не знаем, кто отец этой книжонки», — заключает журнал.

По сведениям, идущим от биографа Билевича[29], последний был ее автором, и конечно не его, квалифицированного словесника, а издателя и типографии вина в неряшливом виде и ошибках издания. Дружественный характер рецензии, резко выделяющий ее на общем фоне оценок этого рода изданий, заставляет подозревать, что писавший знал, кто был автором книги. Однако низкий тип ее издания не позволил оглашать имя автора, популярного учителя словесности.

Рецензия в «Библиотеке для чтения» вызвала к жизни рецензию на «Святочные вечера» в «Молве» 1836 г., подписанную В. Б. и принадлежавшую Белинскому[30]. Прочтя отзыв журнала Сенковского, он раздобыл книжку и, предпослав рецензии остро социальное введение о противоречии внешнего вида как людей, так и книг, их содержанию: «По платью встречают, по уму провожают», — написал свой отзыв, во многом согласный с отзывом «Библиотеки для чтения».

«Перед нами лежит теперь книжка или, лучше сказать, книжонка, напечатанная на бумаге, в которой отпускаются товары «авошных» лавочек, кривыми, косыми, слепыми буквами с ужаснейшими опечатками, грамматическими ошибками, словом, изданная в типографии г. Пономарева. И что же? Чтение этой книжонки порадовало нас и доставило больше удовольствия, нежели чтение многих „светских" повестей. Мы, может быть, и не увидели бы этой книжонки, потому что она, ... и не дошла бы до нас. Но нам о ней было говорено как о редкости, и мы ее достали».

Белинский привел в рецензии полностью один из рассказов, «не лучшую, а кратчайшую пьесу», и дал такую оценку автору: «Какое соединение простодушия и лукавства в его рассказе; какая прекрасная мысль скрывается под этою русско-простонародно-фантастической формою! ... Советуем неизвестному автору обратить внимание на свой талант и видеть в нем не одно средство к приобретению тех жалких и ничтожных выгод, которые могут доставить ему Муррен и Лавока толкучего рынка. Мы со своей стороны почтем ... за долг следить за развитием его таланта и быть посредником между им и публикою. Талант дело великое!».

Талант, который оценил Белинский в авторе рыночной книжонки и который принадлежал широко образованному и горячо преданному современной литературе и науке Н. И. Билевичу, остро ощутили ежедневно с ним общавшиеся братья Достоевские, сделавшие себе из него «идола». Под его влиянием, под воздействием непрерывного чтения, особенно журнала, бывшего для этих лет своеобразной научно-литературной энциклопедией, отрешенные от практической жизни вне семьи и закрытого пансиона, они углублялись в сферы отвлеченных общественных, психологических и моральных проблем. Вступая в свой юношеский возраст, они уже умели «мыслить», «выражать мысли» и «рассуждать», были уже теми «мечтателями», которым вскоре суждена была художественная жизнь в первых произведениях Ф. М. Достоевского.

III

В Инженерном училище. Смерть отца

Лето 1836 г. было последним, когда в Даровом, где с весны жила М. Ф. Достоевская с Варей, Верой и двумя малютками, Николей и Сашей, соединилась вся семья. После экзаменов в пансионе с отцом приехали Михаил, Федор и Андрей. «Прожили в деревне, по обыкновению, до осени и возвратились из деревни в Москву вместе с маменькой», — вспоминал А. М. Достоевский.

С осени быстро начала развиваться болезнь Марии Федоровны. Вероятно, до зимних каникул братья еще посещали пансионы, но первые месяцы 1837 г. были уже временем ожидания рокового конца: «Мы готовились ежедневно потерять мать». Врачи больницы, коллеги отца, непрерывно посещали больную, составляли консилиум, но в конце февраля заявили, что «их старания тщетны... Отец был убит окончательно». А. М. Достоевский описал, как умирающая благословляла и наставляла приведенных к ней детей. Может быть, к периоду болезни матери относится ее завещание старшей, Вареньке, заботиться о двух крошках, подобно тому как в «Неточке Незвановой» потрясенная Александра Михайловна завещала Неточке заботу о своих малютках: «„Неточка, друг мой, довольно, приведи детей". Я привела их. Она как будто отдохнула, на них глядя, и через час отпустила их.

— Когда я умру, ты не оставишь их, Анюта? Да? — сказала она мне шепотом. — Только послушай, ты их будешь любить, когда я умру, — да? — прибавила она серьезно и опять как будто с таинственным видом, — так, как бы своих любила, — да?».

Как признал А. М. Достоевский, после смерти матери и отъезда отца со старшими братьями в Петербург «главой семьи осталась сестра Варенька, ей в это время шел уже 15-й год».

Для каждого из многочисленной семьи Достоевских с апреля 1837 г. начинался новый, совершенно отличный от прежнего, отрезок жизни. «Спустя несколько времени после смерти маменьки, отец наш начал серьезно подумывать о поездке в Петербург (в котором ни разу еще не бывал), чтобы отвезти туда двух старших сыновей для помещения их в Инженерное училище. Надо сказать, что еще гораздо ранее отец через посредство главного доктора Мариинской больницы А. А. Рихтера подавал докладную записку Вилламову о принятии братьев в училище на казенный

счет. Ответ Вилламова, очень благоприятный, был получен еще при жизни маменьки, и тогда же была решена поездка в Петербург».

Мы не знаем, чем объяснялся выбор родителей образовательного учреждения, конечно полностью принадлежавший им. Руководило, видимо, желание дать сыновьям специальность, которая обеспечивала бы их будущность, как это сделал их отец. Но низкий уровень культуры поступавших в Медицинскую академию по преимуществу провинциальных бурсаков, трудность будущей работы, не соответствовавшие воспитанию и образованию юношей, а может быть, и сложность устройства их на казенный кошт при жизни родителей в Москве исключали мысль о медицинском образовании. «Дурная» политическая репутация московских студентов, мало привлекательная педагогическая деятельность, очень вероятная после окончания университета, и опять-таки сложность устройства на казенный кошт могли разрушить и планы поступления в Московский университет. Возможно, что М. А. Достоевский, наблюдавший в Москве в 30-е годы быстрый и успешный рост промышленности, понимал, что специальность инженера имеет впереди много положительных шансов, к тому же военного типа Инженерное училище в Петербурге было наиболее подходящим местом для охраны сыновей от нежелательных политических влияний.

А. И. Савельев, служивший с 1837 г. в училище ротным командиром юнкеров, писал в воспоминаниях: «Училище тогда представляло из себя особенный мирок, в котором были свои обычаи, порядки и законы. Сначала в нем преобладал немецкий элемент, так как и начальство, и воспитанники были большею частью немцы. Молодые люди числились на службе и на верность ее присягали с поступления в училище. Большая часть из них получила порядочное домашнее воспитание, а некоторые — университетское образование и все соблюдали по наружности приличия хорошего общества...» [1].

Есть основания также предположить, что Достоевским кто-то дал нужные сведения и об училище, куда М. А. Достоевский решил определить сыновей, и о готовившем к поступлению в него капитане К. Ф. Костомарове. В письме к отцу, вернувшемуся из Петербурга в Москву, сыновья, поселившиеся у Костомарова, сообщали 3 июля 1837 г.: «На прошлой неделе видели мы прежнего товарища нашего Гарнера и Весселя. Они приходили прощаться, ибо отправлялись в лагери в Петергоф». Очевидно, это были уже зачисленные в Инженерное училище бывшие ученики К. Ф. Костомарова. Откуда их могли знать только что приехавшие братья Достоевские и называть Гарнера «прежним товарищем»? Не была ли неправильно написана или прочтена фамилия Гарнер вместо Гарднер? Известна тесная дружба матери Достоевского с первой женой доктора Альфонского, родственницей семьи Гарднер, известного фабриканта фарфора. Она умерла ранее

Марии Федоровны, и они были похоронены рядом на Лазаревском кладбище [2].

До нас дошел черновик письма М. А. Достоевского на имя царя в связи с определением сыновей в Инженерное училище, относящийся к маю 1837 г.: «В январе месяце сего года по начальству осмелился утруждать ваше императорское величество всеподданнейшим прошением моим по многочисленному семейству моему и по бедному состоянию об определении двух старших сыновей моих Михаила 16 и Федора 15 лет в Главное инженерное училище на казенное содержание, хотя по положению в оное допускается один только. На такое прошение последовало всемилостивейшее вашего императорского величества решение: что определение детей моих зависеть будет от выдержания ими установленного в том училище <экзамена>, почему и приказано мне доставить их для сего в С-т Петербург» [3].

Положительный ответ из Петербурга решил судьбу братьев. Отъезд их из дома и поступление в училище были решены, конечно, без всякой с ними консультации, что через тридцать лет вызвало со стороны Ф. М. Достоевского горький упрек по поводу этого решения. 20 марта 1869 г. он написал С. А. Ивановой: «...меня с братом Мишей свезли в Петербург, в Инженерное училище 16-ти лет и испортили нашу будущность. По-моему, это была ошибка» [4].

Приезд в Петербург не оправдал ожиданий М. А. Достоевского. Получив в мае отпуск «на короткое время, единственно для устроения сыновей в вышепомянутое училище», он наивно рассчитывал, что их немедленно проэкзаменуют и, «если окажутся сведущими», обоих определят в училище на казенное содержание. «Оставить их на собственном иждивении» он не имел «никаких средств». Но вступительные экзамены полагалось проводить лишь в конце года, а зачисление на казенный кошт с начала следующего. Следовательно, сыновей надо было оставить в столице, поместя их как бы для подготовки к уже известному в этой области К. Ф. Костомарову, поручив ему заботу о их жизни и учении и оплатив вперед их пребывание до 1 января 1838 г.

Дошедшая до нас (хотя и не полностью) переписка сыновей с вернувшимся в Москву отцом позволяет представить в общих чертах этот период жизни Ф. М. Достоевского. Костомаров всячески старался заполнить время юношей занятиями, и первоначально они писали, что вряд ли без этих занятий смогли бы выдержать экзамен и что ученики Костомарова на экзаменах всегда проходят первыми. Однако к концу занятий, когда и Костомаров и приглашенные из училища учителя нашли братьев прекрасно подготовленными, у Достоевского возникли сомнения — нужна ли была им эта подготовка, которая дорого обошлась отцу. Тем более обнаружилось, что Костомаров взял у Михаила Андреевича еще добавочно 300 руб. для якобы необходимых специ-

альных преподавателей фехтования и фортификации, занятия с которыми вовсе не были обязательны и не велись.

Начав заниматься с Костомаровым и предполагая поступить не в начальный, а в следующий класс, братья сообщали, что они не только занимаются математикой, но чертят «планы полевых укреплений, редутов, бастионов» и что эти планы «содействуют к принятию»: «На этой неделе начали мы и артиллерию; она также необходима второму классу. Из этого вы теперь, любезный папенька, можете видеть, могли ли мы вступить без приготовления в училище!» — писали братья и сообщали о необходимости, кроме того, учиться «фронту» у специально приглашенного «унтер-офицера»: «На фронт чрезвычайно смотрят и хоть знай все превосходно, то за фронтом можно попасть в низшие классы. И притом этим одним мы можем выиграть у его высочества Михаила Павловича. Он чрезвычайный любитель порядка».

Триста рублей, посланных Костомарову для этих дополнительных занятий, судя по следующим письмам, вовсе не были употреблены по назначению, и два года спустя, когда Ф. М. Достоевский отлично понял порядки, существовавшие при приеме учеников, писал отцу 5 мая 1839 г. о младшем брате Андрее: «Когда я выйду в офицеры, то берусь его приготовить для поступления к нам, ибо поступить к нам довольно легко. Костомаров обморочил вас и взял с вас деньги за нас, тогда как мы бы могли и без приготовления поступить в училище» [5].

Но, кроме платы Костомарову, Михаила Андреевича ждало еще немало переживаний в связи с поступлением сыновей. Состоявшийся в конце сентября медицинский осмотр поступающих воспитанников забраковал Михаила Михайловича «по слабости здоровья, по которой он не сможет вынести трудностей военной службы». М. М. Достоевский не был допущен до экзаменов и был в отчаянии: «Много слез стоило мне это — но что же было мне делать?... Генерал со своей стороны, увидев мое свидетельство, готов был принять меня, если б на это было согласие доктора» [6]. Через своего сослуживца по больнице, Ф. А. Маркуса, брата «имевшего в Петербурге большой вес» лейб-медика, Михаил Андреевич пытался помочь сыну, писал он и генералу Герцу, начальнику училища, задумывался и о возможности для Михаила и другой карьеры. 17 октября 1837 г. он писал сыну: «Достань, милый друг Мишенька, правила об учреждении Училища правоведения» [7]. Запрашивал он об Училище правоведения и Костомарова, а также о других возможностях устроить Михаила в Петербурге, проявляя в своих заботах свойственную ему нервозность и подозрительность. В результате Костомаров взялся устроить его старшего сына в юнкера и обещал содержать его до поступления, рассчитывая, по словам М. М. Достоевского, «под этим благородным предлогом как-нибудь отклонить» со стороны М. А. Достоевского требование 300 руб., переведенных ему и не употребленных на обучение сыновей.

Но Михаила Андреевича, который писал Михаилу в связи с его неудачей поступить в училище: «ты знаешь друг мой, что жить в Петербурге без денег по нашему бедному состоянию не должно», ждали новые испытания. В сентябре начались вступительные экзамены Федора Михайловича, и его брат писал отцу 27 сентября: «Брат держал экзамены с честью. Мы наверно полагали, что он будет в числе первых, ибо ни у кого почти нет более баллов. Из географии, истории, французского и закона он получил полные баллы, т. е. 10, из прочих всех по 9, чего почти ни у кого не было. Несмотря на все это, он стал 12-м; ибо теперь, вероятно, смотрят не на знания, но на лета и на время, с которого начали учиться. Поэтому первыми стали почти все маленькие и те, которые дали денег, т. е. подарки. Эта несправедливость огорчает брата донельзя. Нам нечего дать; да ежели бы мы и имели, то, верно бы, не дали, потому что бессовестно и стыдно получать первенство деньгами, а не делами. Мы служим государю, а не им. Но это еще ничего, потому что личное достоинство никогда не затмится местом, и если он стал не первым — чего он совсем не заслужил, — то в училище он может быть первым. Главное же дело состоит в том, что генерал объявил, что нет ни одной казенной вакансии; следовательно, несмотря на разрешение государя, принять его не могут на казенный счет. Беда да и только! Где же взять нам теперь 950 р. Неужели отдать последнее? Вы уже и так все за нас отдали, что имели. Боже мой! Боже мой! Что с нами будет!» [8].

Михаил Михайлович был уверен, что и отказ принять его в училище по слабости здоровья был лишь поводом, а причина была именно та, что оба брата Достоевские с разрешения царя должны были быть зачислены на казенный счет, а начальству это было невыгодно. Надо думать, что братья нашли выход из положения, обратившись за помощью к Куманиным. Они скрывали от отца свое обращение, зная его нежелание обращаться к родственникам жены, которых подозревал в нелюбви к себе. Из следующего письма братьев к отцу от 8 октября 1837 г. мы узнаем уже о согласии Куманиных. Братья сообщали: «От тетеньки получили мы нынче письмо — ответ на наше, которое мы послали вместе с письмом к вам. Они очень об нас жалеют и хотят непременно внести за нас по 950 руб. за каждого, тем более что в нашем письме мы совсем об этом и не намекали и не просили. Позвольте это им сделать именно только для нас. В будущем письме мы ждем от вас ответа. Для них это ничего не будет стоить, а для нас это будет иметь большое влияние на судьбу нашу. При том же до сих пор для нас они ничего не сделали, так пусть, по крайней мере на этот случай, можно сказать критический, они одолжат именно только меня с братом. Без этого же брату взойти в корпус совершенно невозможно, ибо он уже и расписался в уплате этих денег; иначе он бы сейчас же лишился права на вступление и его место было занято другим...». Заключалось письмо так: «Ради

бога, уведомьте нас сейчас по получении нашего письма. Тогда мы будем немедля писать к тетеньке» [9].

Так как М. А. Достоевский был в первую половину октября в Москве (уехал в Даровое 18 октября), то, очевидно, в это время у Куманиных и был с его участием положительно решен вопрос об оплате ими учения обоих сыновей в Петербурге. 17 октября он писал братьям, упоминая какое-то предшествующее письмо, которое он «очень жестко написал», так как был «сам не свой от горя и огорчений» и должен был прибегнуть к «кровопусканиям», но что сейчас пришел в себя. В заключение он сделал знаменательную приписку: «P. S. Ежели станете писать Куманиным, то умолчите, что я к вам слишком много насчет их писал». В письме от 6 ноября М. А. Достоевский, жалуясь на свою бедность и невозможность что-нибудь послать Михаилу к именинам, спрашивал сыновей: «Вы же ничего не пишете, посылает ли вам ваша тетка Александра Федоровна...».

3 декабря М. М. и Ф. М. Достоевские сообщали отцу, что «деньги за брата уже внесены и квитанция уже взята», но при этом братья как бы оправдывались перед отцом в том, что они «переписываются» с Куманиными. А между тем Куманины, видимо, следили за судьбой семьи Достоевских, интересовались делами братьев в Петербурге и отца в деревне. Братья писали отцу: «Недавно мы получили от них письмо, в котором, между прочими недальновидными расспросами, пишут, что уже давно не получали от вас никакого известия. Вообще письма их наполнены только одними расспросами о делах, которые мы предпринимаем. Пишет Александр Алексеевич. Величает нас по имени и отчеству».

Отметим, что неодобрительное и подозрительное отношение М. А. Достоевского к Куманиным в ближайшие месяцы изменилось. В феврале 1838 г., когда оформилось поступление Михаила Михайловича в инженерные юнкера, что, очевидно, сопровождалось присылкой ему денежной помощи из Москвы от Куманиных, Михаил Андреевич, бывший в Москве, писал Михаилу: «Напиши, милый друг, к Куманиным, поблагодари их за родственное участие, а особенно за пособие» [10].

В январе 1838 г. закончилось оформление обоих братьев в их учебно-служебных ролях. Девять месяцев, прошедшие после их отъезда из Москвы, стали их первой тяжелой школой перед вступлением в жизнь, сближением с окружающей действительностью. Первый урок был получен еще по дороге в Петербург, когда Ф. М. Достоевский на придорожной станции наблюдал сцену с фельдъегерем, ставшую для него символом гнусного насилия.

В эти первые месяцы братья остро реагировали на открывавшиеся перед ними «тайны» николаевского чиновно-военного строя — бюрократизм, взяточничество, подлость. Михаил писал отцу в конце декабря 1837 г., пытаясь поступить юнкером и устроить свою судьбу: «...но я постараюсь настоять на своем. Ах, па-

пенька, как горько иногда бывает быть посреди людей этих, не зная к кому отнестись с своей просьбою, видя совершенную возможность поступить и, бог знает, сколько дожидаться. Но будьте покойны! Я уже пообтерся с этими людьми и сумею с ними сладить. Главное, не должно быть деликатным». А Федор Михайлович в письме к отцу 4 февраля 1838 г., мимоходом вспомнив «о наших 300 руб., которые Костомаров так низко оттягал» у отца, сообщал глубоко возмутивший его факт: «Недавно я узнал, что уже после экзамена генерал постарался о принятии четырех новопоступивших на казенный счет, кроме того, кандидата, который был у Костомарова и перебил мою ваканцию. — Какая подлость! Это меня совершенно поразило. — Мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить, когда другие, дети богатых отцов, приняты безденежно...».

А. И. Савельев вспоминал, что Федор Михайлович выражал ему свое «глубокое негодование» на тех начальников, которые пользовались взятками и «получали награды не по заслугам, а благодаря родству и связям с сильными мира сего... Он знал проделки бывшего инспектора классов Инженерного училища, как он помещал и поддерживал тех кондукторов, которых родители ему платили или делали подарки...».

С января 1838 г. для Ф. М. Достоевского начались жизнь и ученье в Инженерном училище. Хотя, по выражению брата, он «стал молодцом в своем новом мундире», но чувствовал он себя далеко не «молодцом». Он жаловался на перегруженность занятиями, которые никак не соответствовали интересам, явно сложившимся в последние годы его жизни в Москве. Следующее письмо к отцу хорошо передает напряженную атмосферу специального училища: «Вообразите, что с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекциями. — Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже ни минуты, чтобы следить хорошенько на досуге днем слышанное в классах. — Нас посылают на фрунтовое учение, нам дают уроки фехтованья, танцев, пения, в которых никто не смеет не участвовать. Наконец ставят в караул, и в этом проходит все время».

По воспоминаниям Григоровича мы знаем, как сильно было в училище жестокое преследование и издевательства старших учеников над вновь поступившими «рябцами» и как страдали от этого новички: «Нет сомнения, — писал А. И. Савельев, — что испытаниям в послушании старшим в первый год своего пребывания в училище мог подвергнуться и Ф. М. Достоевский. Исключений в этом случае никому не делалось». Федор Михайлович ни одним словом не оговорился отцу в письмах об этой стороне жизни в училище, только однажды, как бы выдавив из себя через силу, написал: «Слава богу, я привыкаю понемногу к здешнему житью. О товарищах ничего не могу сказать хорошего». Но тут же, очевидно для успокоения отца, прибавил: «Начальники обо мне, надеюсь, очень хорошего мнения».

Военная и школьная учеба с каждым месяцем становилась сложнее. Вот его отчет отцу к весне 1838 г.: «У нас начались тотчас третные экзамены, которые продолжались по крайней мере месяц. Надобно было работать день и ночь: особенно чертежи доканали нас. — У нас четыре предмета рисований: 1) рисование фортификационное, 2) ситуационное 3) архитектурное, 4) с натуры. Я плохо рисую, как вам известно... Это мне много повредило. Во-первых, тем, что я стал средним в классе, тогда как я мог быть первым. Вообразите, что у меня почти из всех умственных предметов полные баллы, так что у меня 5 баллов больше 1-го ученика из всех предметов, кроме рисованья. А на рисованье смотрят более математики. — Это меня огорчает...».

Вторым «огорчением» Достоевского была «фрунтовая служба». Уже в январе он жаловался брату, который сообщал отцу о нем: «Какой он молодец в своем мундире! Только скучает фронтом; ибо перед всяким офицером надобно вытягиваться». Весной же начались смотры, предшествовавшие «огромному пышному блестящему майскому параду, где присутствовала вся фамилия царская и находилось 140 000 войска». «Пять смотров великого князя и царя измучили нас. Мы были на разводах, в манежах вместе с гвардией маршировали церемониальным маршем, делали эволюции, и перед всяким смотром нас мучили в роте на учениях, на которых мы приготовлялись заранее... В будущем месяце мы выступаем в лагери...» [11]

По свидетельству А. С. Долинина, ссылающегося на архивные дела Инженерного училища за 1838 г., отметки Достоевского по строю колеблются от 2 до 4 при 12-балльной системе [12].

Лагерная жизнь также не давала возможности для столь привычного и необходимого для Достоевского времяпрепровождения: чтения, размышления, интеллектуального общения. С возвращением в Петербург начиналась опять срочная подготовка к экзаменам для перехода в следующий класс, которые закончились для Ф. М. Достоевского катастрофой.

Мы приводили ранее опасения отца, которые вызывал в нем второй сын остротой своих ответов и реакцией на замечания. При критическом отношении к порядкам в училище Достоевский, очевидно, не всегда умел поддерживать свою репутацию «благонравного» ученика, и его характер не мог не прорваться в отношении к педагогам и не вызвать их отрицательное отношение к строптивому ученику. При «полных» (т. е. лучших) отметках по геометрии, истории, географии, русскому, французскому и немецкому языкам и закону божьему он имел «неполные» отметки по алгебре, фортификации и артиллерии, за что и был оставлен на второй год в классе.

Отцу он писал: «Наш экзамен приближался к концу; я гордился своим экзаменом, я экзаменовался *отлично*, и что же? Меня оставили на другой год в классе... О, скольких слез мне это стоило. Со мной сделалось дурно, когда я услышал об этом. В 100

раз хуже меня экзаменовавшиеся перешли (по протекции)... Скажу одно: ко мне не благоволили некоторые из преподающих, и самые сильные своим голосом на конференцной. С двумя из них я имел личные неприятности — одно слово их, и я был оставлен (все это я услышал после)... Преподающий алгебру хотел непременно, чтоб я остался, он зол на меня более всех...».

На другой день, описывая то же событие брату, Достоевский повторил, что много готовился к экзамену, «заболел, похудел, выдержал экзамен отлично в полной силе и объеме этого слова и остался... Так хотел один преподающий (алгебры), которому я нагрубил в продолженье года и который нынче имел подлость напомнить мне это, объясняя причину, отчего остался я...».

«О ужас! Еще год, целый год лишний! Я бы не бесился так, ежели бы не знал, что подлость, одна подлость низложила меня; я бы не жалел, ежели бы слезы бедного отца не жгли души моей. До сих пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие. — Я бы краснел, ежели бы это чувство овладело мною...но знаешь? Хотелось бы раздавить весь мир за один раз...» [13]

Выше мы говорили, с каким негодованием реагировал Федор Михайлович на открывавшиеся ему пороки окружающей его в училище среды. Случай на экзамене обострил его накапливавшиеся настроения глубокого протеста, который, судя по воспоминаниям Савельева, был характерен для сознательных юношей. Савельев, вспоминая разговоры с Достоевским, писал, что не столько исторические предания, связанные с Михайловским замком, «сколько настоящая жизнь училища, так называемый дух заведения, система воспитания», занимали их. «В высшем учебном заведении, — пишет Савельев, — где воспитывались не дети, а зрелые юноши, сознававшие себя и обсуждавшие все действия начальства, ими, молодежью, скоро отличалась истина от обмана. Никакой популярностью и никаким сладкоречием купить их было нельзя, напротив, в молодежи был так развит дух скептицизма и так мало было доверенности к беспристрастию начальства, что небольшое послабление одним на счет других воспитанников — особенно на последнем курсе, в старшем классе, когда всякая единица в сумме баллов могла иметь влияние на дальнейшую службу, иногда и на судьбу молодого человека, — поселяла в душе юношей глубокие нравственные раны».

Тяжелые переживания Федора Михайловича вызывала мысль, что потерян еще год его жизни, что неизбежно удлиняется еле переносимое пребывание в военном заведении. Для отца, узнавшего о провале сына, происшедшее омрачилось его постоянной склонностью ожидать тяжелых, роковых осложнений. Признание сына, что у него были неприятности с важным начальством, что его не любят, преследуют, вызвало у него мысль о возможности исключения сына из училища, а может быть, и о других, столь свойственных царствованию Николая I наказаниях. Предчувствуя переживания отца, Достоевский в том же письме, где сообщал об

экзаменах, умолял: «Не огорчайтесь, папенька!.. Теперь вы убиваете себя неосновательной мыслью, что ежели я останусь в классе, то меня исключат из училища. Да разве я лишен всех способностей, чтобы выключать меня. Или я не знаю постановлений училища? Я оставлен на 2-й год! О подлость!»

То же предположение о переживаниях отца делал Михаил Михайлович, который еще до катастрофы на экзамене утешал Михаила Андреевича, волновавшегося за судьбу сына Федора в связи с его неудачами в черчении и фронте: «О брате Феде не беспокойтесь. Он мне писал то же самое, но это только одни его догадки. Это более зависит от экзамена, нежели от чертежей... Что же касается до его выключки, то я, право, не знаю, чем побожиться вам, что этого никогда не может быть. Выключают тех, кто гадко ведет себя и кто сидит по четыре, по пять лет в одном классе! И то по благоусмотрению великого князя, который докладывает об этом государю. Выключить же кондуктора — дело не совсем легкое, а тем более совсем невинно, ни за что, ни про что».

Получив уже после этого письма Михаила сообщение Федора о провале на экзамене и объяснение его причин, М. А. Достоевский, находившийся уже в болезненном состоянии, оказался близок к смертельному исходу. 19 ноября 1838 г. он описал пережитое старшей дочери, Вареньке: «К несчастью, в это самое время я получил от брата твоего Феденьки письмо, для нас всех неприятное: он уведомляет, что на экзамене поспорил с двумя учителями, это сочли за грубость и — оставили его до мая будущего года в том же классе. Это меня при болезненном состоянии до того огорчило, что привело в совершенное изнеможение, левая сторона начала неметь, голова начала кружиться».

Был срочно привезен из Зарайска фельдшер, с трудом «пустил кровь», и Михаил Андреевич ожил.

Не только болезненная мнительность и подозрительность М. А. Достоевского вызвали в нем столь тяжелые переживания после сообщения сына. Он имел достаточный опыт и сведения, к чему могли привести подобные столкновения студентов с преподавателями, в особенности в военных училищах. Четыре года спустя в Институте путей сообщения по настоянию главноуправляющего, любимца царя Клейнмихеля, пять студентов были публично выпороты и отправлены рядовыми в войска кавказского корпуса за то, что освистали ротного офицера[14]. В самом Инженерном училище произошли весной 1839 г. события, о которых Федор Михайлович писал отцу: «Теперь я знаю причину, почему мои письма не доходили до вас. У нас в училище случилась ужаснейшая история, которую я не могу теперь объяснить на бумаге; ибо я уверен, что и это письмо перечитают многие из посторонних. 5-ть человек кондукторов сослано в солдаты за эту историю. — Я ни в чем не вмешан, но подвергся общему наказанию...». Поиски в архивах училища следов этой истории ничего не дали, хотя и вызвали некоторые предположения.

Испытания, пережитые Достоевским в конце 1838 г., может быть, как-то повлияли на дальнейшее его пребывание в училище. Оно протекало без всяких осложнений, и, если судить по письму его к отцу от 5 мая 1839 г., отношение к нему начальства изменилось к лучшему. Сам же он избегал возможных осложнений, так как он более всего желал как можно скорее «развязаться со всем этим». Сдавая в мае 1839 г. экзамены «очень хорошо» и надеясь так же их кончить, он писал: «Теперь многие из тех преподающих, которые не благоволили ко мне прошлого года, расположены ко мне как не надо лучше. Да и вообще я не могу жаловаться на начальство. Я помню свои обязанности, а оно ко мне довольно справедливо. — Но когда-то я развяжусь со всем этим. Пишете, любезный папенька, чтобы я не забывал своих обязанностей. Повторяю: я их помню очень хорошо и со службою я уже связан присягою при самом моем поступлении в училище» [15].

Последние цитированные нами письма Достоевского к отцу от 5 и 10 мая 1839 г. были получены М. А. Достоевским за месяц до его гибели. Эти письма, по нашему мнению, несправедливо охарактеризованы последним исследователем «личности Достоевского» Б. И. Бурсовым [16]. Он видит в этих письмах «обдуманную тонкость», «строгую рассчитанность» сына с «одной только целью — перехитрить отца и вымолить у него хоть малую толику денег». Он именно говорит о том, что сын не просил, а «клянчил» у отца, прикрываясь «заверениями во всепоглощающей любви», т. е. явно лицемерил и подхалимничал, притворяясь «покорным отцу и любящим отца, но добивающимся своей цели с такой обдуманной тонкостью».

В первом разделе мы писали о нашем несогласии с характеристикой Б. И. Бурсовым «лицемерия» отца и «мученической» жизни матери. Писали и о свойственных М. А. Достоевскому в письмах риторических формах церковного красноречия, а его жене — сентиментализма прозы рубежа XVIII—XIX вв.

Эти особенности эпистолярного стиля родителей унаследовали юноши Достоевские, и в риторике писем восемнадцатилетнего Федора Михайловича мы слышим эти для него привычные заимствованные обороты и не подозреваем его ни в лицемерии, ни в тонком расчете подкупить отца. Он действительно понимал характер отца и искренно жалел его за неумение найти контакт с действительностью. В конце 1838 г. он писал брату в Ревель, т. е. вовсе не имея в виду, что его письмо прочтет отец: «Мне жаль бедного отца! Странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить. — А знаешь ли? Папенька совершенно не знает света: прожил в нем 50 лет и остался при своем мнении о людях, какое он имел тридцать лет назад. Счастливое неведение! Но он очень разочарован в нем. Это, кажется, общий наш удел» [17].

Понимание отца и жалость к нему выражены здесь без всяких расчетов на выгоды. В письмах 5 и 10 мая он не «клян-

чил» (!) у отца, а добросовестно излагал свои нужды, отчасти считаясь со своими более состоятельными сверстниками и, конечно, не представляя, до какого разорения дошло родительское деревенское хозяйство в неурожайные 1838—1839 гг. Возражая против изображения юноши Достоевского как сознательного лицемера и подхалима, мы находим особенно неестественным, неправдоподобным сближение одной детали этих писем с героем «Записок из подполья». Достоевский просил денег на сапоги, на возможность иметь в лагере книги для чтения, что для него было дороже, чем чай и сахар, от которых он готов был отказаться. Этот смиренный отказ Б. И. Бурсов представил как глубоко затаенную автором письма обиду на отца, прорвавшуюся через 25 лет в речи подпольного человека злобным вызовом вселенной: «Свету ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтобы мне всегда чай пить». Оставляем на совести автора романа-исследования закономерность этого сопоставления.

От исследования периода поступления Достоевского в училище, времени, когда впервые обнаружились перед ним характерные особенности николаевской действительности, от сведений об ожидавшей его школьной и военной учебе, о первых неудачах и огорчениях в этой области при сознании своих больших возможностей и сознании несправедливости их оценки перейдем к характеристике его окружения и самочувствия среди сверстников и к тем образовавшимся у него связям, которые помогали его духовному росту в столь тяжелой и неблагоприятной обстановке.

Не только изучаемые предметы — черчение, «фрунт» и др. — были чужды Федору Михайловичу, но бесконечно далек оказался и круг юношей, в который он был включен в связи с выбранной отцом специальностью. Если он лишь мимоходом заметил отцу в письме, что о товарищах ничего не может сказать хорошего, то много откровеннее, бесцеремоннее оказался в этом отношении Михаил Михайлович.

17 февраля 1838 г. он писал отцу о своем окружении, вступив 25 января во второй класс Санкт-Петербургской инженерной команды: «Мои товарищи, как обыкновенно, очень добры, но, как обыкновенно, и глупы, исключая разве одного. Но к этой мысли я еще привык, бывши у Костомарова. Да и пора было привыкнуть. Слава богу, шесть месяцев жил почти с дураками!» Через год, прослужив в Инженерной команде в Ревеле, он описал отцу 24 февраля 1839 г. следующие наблюдения над своими сослуживцами: «Не могу понять, что это за люди? Их никогда не встретишь с книгой, никогда не заметишь на лбах их какого-нибудь следа мысли. Заговоришь с ними о чем-нибудь подельнее — им скучно. Неужели им так весело бегать с утра до вечера по гостям? Право во весь день они ничего не узнают, ничего не выдумают... Не понимаю, решительно не понимаю, как можно жить, оставя в покое ум и сердце. Последние у них решительно спят и

разве тогда просыпаются, когда их обойдут чином или когда денщик простудит чай во время их сна» [18].

Эта злая характеристика сперва своих товарищей по ученью, а потом сослуживцев (в письме она значительно шире), вероятно, во многом совпадала с мнением Ф. М. Достоевского о массе учащихся в Инженерном училище. Через двадцать лет он писал по поводу своего пасынка Павла Исаева из Семипалатинска инспектору классов Омского кадетского корпуса И. В. Ждан-Пушкину в ответ на характеристику «общественного воспитания» в корпусе: «Вы Вашим письмом разбудили во мне все тяжелые воспоминания моего собственного воспитания. Но я был в отцовском доме до 15 лет и не заглох в корпусе. Но что я видел перед собою, какие примеры! Я видел мальчиков тринадцати лет, уже рассчитывавших себе всю жизнь: где какой чин получить, что выгоднее, как деньги загребать (я был в инженерах) и каким образом можно скорее дотянуть до обеспеченного, независимого командирства! Это я видел и слышал собственными глазами, и не одного, не двух!».

Конечно, не только погоня за чинами, корыстолюбивые помыслы, связанные со взяточничеством, входили в «тяжелые воспоминания» Достоевского о его «собственном воспитании». Он не мог забыть жестокость и грубость, царившие в училище, отсутствие интеллектуальных интересов у воспитанников. Давая краткое примечание к цитированному выше письму, А. С. Долинин писал: «То, что Достоевский здесь пишет о своих товарищах, является особенно ценным, поскольку ясно указывает на автобиографический источник рассказа героя „Записок из подполья“ о своей школьной жизни» [19].

Решительно отрицая возможность видеть в герое «Записок из подполья» отражение личности Достоевского, мы не можем не признать, что для характеристики школьных лет и сверстников Достоевский использовал свои личные воспоминания. Так перекликаются с этими страницами повести письма М. М. и Ф. М. Достоевских, свидетельства мемуаристов — Савельева, Григоровича, Трутовского, Ризенкампфа, — что можно предположить о их близости к памяти автора о «каторжных годах» своего учения. Савельев писал, что Достоевский всегда сторонился товарищей, был задумчивым, скорее угрюмым, можно сказать, замкнутым юношей, «непохожим на других товарищей во всех поступках, наклонностях и привычках». Трутовский отмечал, что изолированное положение Достоевского в училище вызывало «насмешки» товарищей, которые мемуарист называл «добродушными», и так рисовал облик Достоевского в его военной форме: «Во всем училище не было воспитанника, который бы так мало подходил к военной выправке, как Ф. М. Достоевский. Движения его были какие-то угловатые и вместе с тем порывистые. Мундир сидел неловко, а ранец, кивер, ружье — все это казалось какими-то веригами, которые временно он обязан был носить и которые его

тяготили. Нравственно он также резко отличался от всех своих более или менее легкомысленных товарищей. Всегда сосредоточенный в себе, он в свободное время постоянно задумчиво ходил взад и вперед где-нибудь в стороне, не видя и не слыша, что происходило вокруг него». Приведем отрывок из «Записок из подполья» о пребывании рассказчика в училище, о его окружении, выпуская то, что служит для индивидуальной характеристики рассказчика и в чем мы видим не закономерным проводить параллели с автором повести:

«Товарищи встретили меня злобными и безжалостными насмешками за то, что я ни на кого из них не был похож... Грубость их меня возмущала. Они цинически смеялись над моим лицом, над моей мешковатой фигурой, а между тем, какие глупые у них самих были лица! В нашей школе выражения лиц как-то особенно глупели и перерождались. Сколько прекрасных собою детей поступало к нам. Через несколько лет на них и глядеть становилось противно. Еще в шестнадцать лет я угрюмо на них дивился; меня уж и тогда изумляли мелочь их мышления, глупость их занятий, игр, разговоров... Самую, очевидно, режущую глаза действительность они принимали фантастически глупо и уже тогда привыкли поклоняться одному успеху. Все что было справедливо, но унижено и забито, над тем они жестокосердно и позорно смеялись. Чин почитали за ум; в шестнадцать лет уже толковали о теплых местечках» [20].

Но среди чуждой и до какой-то степени враждебной массы учащихся нашлись единицы, которых привлек к себе этот угрюмый, замкнутый юноша и привлек прежде всего своим увлечением литературой и ее знанием. Григорович вспоминал, что «при общем равнодушии к литературе» в нем и нескольких товарищах Достоевский пробудил горячий интерес к книге, с которой сам не расставался. Он писал: «Литературное влияние Достоевского не ограничивалось мной, им увлекались еще три товарища: Бекетов, Витковский и Бережецкий; образовался таким образом кружок, который держался особо и сходился, как только выпадала свободная минута».

Если для Григоровича сближение с Достоевским явилось значительным событием, повлиявшим на его будущее, то все же по своему интеллектуальному складу, по воспитанию полуфранцуз Григорович вряд ли мог войти в сколько-нибудь близкие дружеские отношения с Достоевским. О Витковском мы ничего не знаем, о сближении с Бережецким скажем несколько далее, остановившись сперва на характеристике подлинного друга Достоевского этих лет, не имевшего отношения к Инженерному училищу, но прочно оставшегося в его памяти до последних лет жизни. Это был Иван Николаевич Шидловский, происходивший из небогатой помещичьей семьи.

Окончив Харьковский университет по юридическому факультету, он в начале 1837 г. приехал в Петербург и поступил на

службу в Министерство финансов. Достоевские познакомились с ним тотчас по приезде в Петербург, возможно, вследствие близости их жилья: Достоевские остановились в гостинице «у Обухова моста», а Шидловский проживал на Фонтанке, «у Обухова моста» в 3-й Адмиралтейской части в доме № 84. И. Н. Шидловский, очевидно, заслужил благоволение отца, который одобрил знакомство сыновей с молодым чиновником. Он как бы зачислил его в свои знакомые, вел позднее через него переписку с сыновьями, давал ему поручения, посылал через него сыновьям деньги. Возможно, что его сблизили с Шидловским какие-то общие интересы по вопросам, связанным с поместным хозяйством. Сыновья писали отцу 3 июля 1837 г., после его отъезда в Москву, что Шидловский его запрашивает, получил ли он его письма и «Земледельческую газету». И следующие два года в переписке М. А. Достоевского с сыновьями не раз упоминается Шидловский. Отца беспокоил вопрос, «не скучает ли Иван Николаевич нашими комиссиями»?

Что сблизило молодого человека, пятью годами старше, окончившего университет, с двумя юнцами, только что привезенными с Божедомки, из патриархальной московской семьи, из закрытого частного пансиона? А Шидловский был далеко не рядовым молодым чиновником своей эпохи. Знавший его на рубеже 30-х—40-х годов двадцатилетний Н. Решетов оставил нам его портрет, который отражает впечатление, произведенное Шидловским на юношу. Возможно, такое же впечатление вызвал Иван Николаевич у братьев Достоевских, бывших еще моложе Решетова.

«Личность Ивана Николаевича была во многих отношениях весьма примечательна и выдавалась из ряда обыкновенных, начиная с наружности: это был очень высокий, красивый мужчина, с прекрасным выражением в глазах, внушавший к себе, при его светлом уме и хорошем образовании, общее расположение. Главное, что привлекало к нему всех, было его замечательное красноречие. Он был идеалист, и любимой его темой для разговоров служили большею частью предметы отвлеченные; к тому же он был поэт, писал стихи так же легко и свободно, как говорил. Впечатление, производимое Иваном Николаевичем на слушателей, действовало обаятельно, что я сам на себе испытал, бывши в то время 20-летним юношей...» Далее Решетов писал о стихотворениях Шидловского: «Они читались с увлечением и выучивались наизусть его поклонниками, хотя и тогда казались несколько восторженными, и некоторые выражения, встречающиеся в них, своеобразны, но это приписывалось блистательной фантазии и оригинальности поэта, и вынуждались звучностью и мечтательным направлением, в то время распространенными в этом кругу»[21].

Быстрое увлечение красноречивым знакомцем, знатоком литературы, к тому же поэтом, со стороны юношей Достоевских легко понять. Но как И. Н. Шидловский проницательно угадал в этих школьниках достойных его дружбы и общения, близких по духу

людей? То что он как бы взял их под свою опеку, ввел в свой интимный душевный и творческий мир, говорит о том, какими незаурядными, особенными проявили себя с первого знакомства сыновья штаб-лекаря, как быстро нашлись у них с ним общие запросы, интересы, суждения и вкусы.

Мы не будем здесь говорить о Шидловском позднейших десятилетий, а постараемся остаться в пределах тех реальных данных, которые до нас дошли о связи Шидловского и Достоевских 1837—1839 гг., т. е. времени их личного знакомства и общения. Это — упоминания о нем в письмах братьев и только *одно* (хотя и очень большое) письмо Шидловского к Михаилу Михайловичу.

Шидловский находился в Петербурге до конца января 1838 г. Эти первые семь месяцев знакомства братьев были перегружены занятиями у Костомарова, экзаменами, хлопотами об организации новой жизни. Несмотря на эту занятость, в их письмах неизменно среди деловых сообщений, заботах об отце и семье звучат проникнутые глубокой благодарностью и внутренним удовлетворением несколько слов об их дорогом друге. 3 июля 1837 г., живя у Костомарова, братья пишут отцу в Москву: «Погода теперь прекрасная. Завтра, надеемся, она также не изменится, и если будет хорошая, то к нам придет Шидловский и мы пойдем странствовать с ним по Петербургу и оглядывать его знаменитости». 23 июля: «С Шидловским мы еще не видались и следовательно не могли ему отдать вашего поклона». 20 августа: «Шидловский и Коронад Филиппович также получили письма ваши, и первый, я думаю, уже писал вам. Ах, папенька, ежели бы вы знали, какой это достойный молодой человек! Мы не знаем, как благодарить его. Он так любит нас, как будто родной. Всякое воскресенье навещает он нас, и мы, ежели бывает хорошая погода, идем с ним в церковь, а там заходим к нему и к обеду возвращаемся домой». 6 сентября: «С Шидловским мы не видались долгое время. Только нынче провели с ним час в Казанском соборе. Нам это хотелось давно; особенно перед экзаменом». 3 декабря: «Он по воскресеньям или бывает у нас, или присылает за нами, и мы проводим у него целое утро».

С начала 1838 г. Федор Михайлович, принятый в училище, уже не мог отлучаться для встречи с Шидловским, но Михаил Михайлович, живший еще у Костомарова, часто общался с Шидловским. Из позднейшего письма Шидловского к нему мы узнаем, что они вместе были в театре на пьесе Полевого «Уголино», вместе «дрожали и плакали, любуясь божественным Нино». И, конечно, много говорили о поэзии. В середине и конце января он дважды сообщает отцу об отъезде Шидловского из Петербурга «месяца на четыре в Харьков, чтобы отдохнуть от этого проклятого департамента, который так его мучил».

И. Н. Шидловский вновь появился в Петербурге осенью 1838 г. Вероятно, в августе он еще не был, так как Ф. М. Достоевский непременно упомянул бы о нем в письме к брату 9 августа,

письме, посвященном книжкам и отвлеченным интересам. Далее началась его интенсивная подготовка к злополучному экзамену. Но, сообщая отцу 30 октября о результатах экзамена, он писал: «Иван Николаевич в Петербурге, кланяется вам и свидетельствует свое почтение». А брату на другой день, ругая экзамен, писал: «Он задержал меня писать к тебе, папеньке и видеться с Иваном Николаевичем...». Но он надеялся вознаградить себя в ближайшее время: «Ах, скоро, скоро перечитаю я новые стихотворения Ивана Николаевича. Сколько поэзии! Сколько гениальных идей!»

Зима 1838—1839 гг. была временем наибольшей близости общения Федора Михайловича с Шидловским. Он писал брату 1 января 1840 г., что Шидловский «жил целый год в Петербурге без дела, без службы». «Бог знает для чего он жил здесь; он совсем не был так богат, чтобы жить в Петербурге для удовольствий. Но это видно, что именно для того он и приезжал в Петербург, чтобы убежать куда-нибудь». В этом письме Достоевский вспоминал, как год назад, в зимний вечер, пробирался на бедную квартиру Шидловского, перечислял темы их бесед, в которых рисовалось «прекрасное, возвышенное создание», «правильный очерк человека, который представили нам и Шекспир и Шиллер». Но в них вставала и «мрачная мания характеров Байроновских» [22].

Философско-религиозное мировоззрение, позднее овладевшее Шидловским, в эти годы воплощалось в увлечении литературными романтическими образами, именами Вертера и Чаттертона. По его письму к М. М. Достоевскому мы знаем, что тяжелые переживания, связанные с неудачной любовью, вызвали его попытку накануне рождества, идя из церкви, покончить с жизнью, бросившись в прорубь на Фонтанке. Федор Михайлович стал поверенным его духовных сомнений, его стремления найти выход из переживаемых колебаний, его попыток выразить себя в творчестве. Это, очевидно, и поражало Достоевского и глубоко воздействовало на его собственные поиски смысла жизни. Как верно писал М. П. Алексеев, Достоевского «не мог не поразить и увлечь страстный образ чувствований поэта и вся его сосредоточенная религиозная философия, облеченная в подвижные формы боевого романтизма».

Достоевский писал брату, что Шидловский «уже давно уехал, и вот ни слуху, ни духу о нем! Жив ли он?» Воспоминания об уехавшем были так ярки, что Достоевский в письме как бы снова пережил интимные беседы с Шидловским в 1838—1839 гг.:

«Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем! О какая откровенная чистая душа!.. Он не скрывал от меня ничего, а что я был ему? Ему надо было сказаться, комунибудь; ах, для чего тебя не было при нас!.. О какое бедное жалкое созданье был он! Чистая ангельская душа. Наступила весна; она оживила его. Воображение его начало создавать драмы и какие драмы, брат мой! Ты б переменил мнение об них, если бы прочел переделанную «Марию Симонову». Он переделывал ее всю

зиму, старую же форму он сам назвал уродливой. А лирические стихотворения, которые написал он прошлой весной! Например, стихотворение, где он говорит о славе. Ежели бы ты прочел его, брат! Пришед из лагеря, мы мало пробыли вместе. В последнее свиданье мы гуляли в Екатерингофе. О как мы провели этот вечер: вспоминали нашу зимнюю жизнь, когда мы разговаривали о Гомере, Шекспире, Шиллере, Гофмане, о котором столько мы говорили, столько читали. Мы говорили с ним о нас самих, о прошлой жизни, о будущем, о тебе, мой милый... О, пиши к нему».

В этом огромном послании Достоевский как бы собрал и отразил и тематику его бесед с Шидловским, и их высокий эмоциональный настрой. Драматические личные переживания Шидловского, разговоры о творчестве, о поэзии, о литературных произведениях от Гомера до Гофмана, об ожидающем их будущем и дорогом прошлом — все это дает хотя бы некоторое представление о широте и разнообразии интересов, соединявших друзей. Мы не будем здесь писать о романтическом стиле поэзии Шидловского, который его особенно сближал с Михаилом Михайловичем, а на рубеже 1830—1840 гг. был дорог и Федору Михайловичу, — этой стороны их художественных вкусов касаются все писавшие о дружбе Шидловского с братьями Достоевскими. Но, кажется, мало кто касался еще одной области, в которой, возможно, Шидловский сыграл значительную роль в сознании братьев. В его единственном дошедшем до нас письме к Михаилу Михайловичу вскрывается страстный интерес к русской журналистике, который, конечно, также был предметом его бесед с Федором Михайловичем. Последний еще в Москве, может быть под влиянием Билевича, был увлечен литературной журнальной жизнью.

Письмо Шидловского свидетельствует, что он был лично знаком с Полевым и был горячим поклонником и его журнала и его художественного творчества. Он цитировал запомнившиеся ему «чудесные» слова Полевого, сказавшего при нем: «На человека надобно смотреть как на средство к проявлению великого в человечестве, а тело, глиняный кувшин, рано или поздно разобьется, и прошлые добродетели, случайные пороки сгинут». Шидловский упрекал Полевого, работавшего в это время в «Сыне отечества», что журнал запаздывает, он объясняет это тем, что скоро в бенефисе «великого Каратыгина» пойдет новая огромная драма творца «Уголино» «Честь или смерть?». Восторгаясь «Уголино», Шидловский, однако, критически относится к романтическим эффектам, свойственным этой драме, рассуждая так: «Признаться, мне не нравится даже кинжал-обличитель в руках „Уголино“, несмотря на уважение к целой драме и благоговение перед ее сочинителем. Драма должна быть историей страстей, книгой жизни человека, где своенравный случай не может иметь места, где правят всем условия, самим богом определенные. Случай — есть пустое слово,

каким мы называем то, причины чего слишком мелки и ускользают из глаз наших или даже недостойны быть усмотрены».

Явное ироническое отношение высказал Шидловский к журналу «Библиотека для чтения», о которой, вероятно, не раз говорил с братьями Достоевскими, еще недавно восторгавшимися ею. Невысоко ценя свои стихи, он сравнивает их со стихами Тимофеева, которые печатались почти в каждой книжке «Библиотеки» Сенковского и отличались риторическими красивостями и самым дешевым романтизмом. Высмеивал он и роман «великого Тимофеева», самого «похабника» Сенковского и «непристойного г-на Менцова». Он противопоставил «Библиотеке для чтения» только что вышедший первый том «Отечественных записок» под редакцией Краевского. Шидловский привлек внимание братьев Достоевских к этому новому журналу, с которым они потом были тесно связаны, так охарактеризовав его начало: «Ежели все будущие номера „Отечественных записок" будут достоинством соответствовать первому, обличившему разом разнообразие предметов, приятность хотя не до нельзя чистого слога, мысли, параллельные европейской современности, то мы можем поздравить себя с лестным приобретением, которое уже не „Библиотеке" чета. В явившемся номере находится много светлых страниц, посвященных художествам, передающих нам богатые новости...». Верный своим романтическим вкусам, Шидловский отмечал далее напечатанную там «Италию» Бенедиктова и «отрывки из поэмы графини Растопчиной, обещающие творение великое, глубокомысленное».

От «Отечественных записок» Шидловский перешел к «Современнику», выражая сожаление, что он достался Плетневу, и констатировал, что хотя в нем еще много блестящих имен, «но нет журнального движения, живой критики, этого ensemble материалов». Далее он вспоминает о «Современнике» Пушкина: «Правда и покойный Александр Сергеевич не давал отчета во всех современных явлениях литературы, но кто же вспомнит без очарования его разбор фракийских элегий, согретый девственной увлекательной теплотой поэтического сочувствия, всегда более или менее верного, истинного; или его замечания на Броневского, критику «Истории Пугачевского бунта», дельный эпизод исторической мыслительности прагматического созерцания» [23].

Редакторству Пушкина Шидловский противопоставляет произвол редактора Плетнева, который «предоставил себе самовольное право не касаться суждения некоторых книг, о других говорит бесконечное приветливое, как вам угодно. Хочешь издавать альманах, так не порти же его галиматьею без значения».

Приводимые далее строки письма Шидловского к Михаилу Михайловичу раскрывают его взгляд на значение журналистики, свидетельствуют, что и эта тема обсуждалась им с братьями Достовскими, и, может быть, подсказала им первые идеи об основных принципах и идеалах журнальной деятельности как будущим редакторам «Времени» и «Эпохи».

«Вы как-то в ответ на мое желание быть журналистом изъявили удивление, находя эту обязанность хуже службы департаментской; но, верно, не захотели вникнуть в эту невидимую, магическую силу, которою журналист формирует и <нрзбр> умы, созидает общественное мнение, проясняет другие, уже созданные, указывает в лесу, во тьме недоразумений меты для новых просек деятелям гениальным, прямо или косвенно, отрицательно или положительно служит доводом суду потомства. Таковое значение роскошно, мощно развивал в себе «Московский телеграф» в годину полного рассвета русской словесной жизни. Счастлив, кто сохраняет его как кивот святыни в своей библиотеке. Ему обязан я целым духом своим! Нет, я бы хотел стать на чреду журналиста, но не имею ни капитала нужного, ни дарования вместе с трудолюбием неутомимым».

Это письмо Шидловского показывает, что общение с ним братьев Достоевских далеко выходило за пределы интересов к романтической поэзии и драматургии, которым в 1837—1839 гг., несомненно, были очень преданы трое молодых друзей. Старший из них не только сводил беседы к общим вопросам духовной жизни, «жажде светлого, трудного подвига» и презрения к житейской суете, но одновременно внимательно следил за современной литературной жизнью, признавая и ценя ее влияние на общественное сознание и желая лично принять участие в этом процессе. Духовное воздействие Шидловского, пришедшееся на самые трудные и томительные годы военно-инженерной учебы братьев, не только не давало угаснуть, но расширяло, обостряло те умственные интересы, которые начали уже развиваться в Москве.

К сожалению, нам мало известно о другом дружеском общении, пережитом Ф. М. Достоевским в эти же годы близости его с Шидловским, и все же о нем надо упомянуть как о выдающемся событии учебных лет Достоевского. А. И. Савельев так рассказал об этой дружбе, о которой даже с братом, Михаилом Михайловичем, Федор Михайлович не счел возможным делиться, хотя признал ее исключительное значение и влияние на него:

«Достоевский и в юности не мог мириться с обычаями, привычками и взглядами своих сверстников-товарищей. Он не мог найти в их сотне несколько человек, искренне ему сочувствовавших, его понятиям и взглядам, и только ограничился выбором одного из товарищей, Бережецкого, тоже кондуктора, хотя старшего класса. Это был юноша очень талантливый и скромный, тоже как Достоевский, любящий уединение, как говорится, человек замкнутый, особняк (homme isolé). Бывало, на дежурстве мне часто приходилось видеть этих двух приятелей. Они были постоянно вместе или читающими газету «Северная пчела», или произведения тогдашних поэтов: Жуковского, Пушкина, Вяземского... Можно было видеть двух приятелей, Бережецкого и Достоевского: гуляющими по камерам, когда их товарищи танцевали во вторник в обычном танцклассе или играли на плацу. То же можно

было видеть и летом, когда они были в лагере, в Петергофе».

Дальнейший рассказ о друзьях Савельев посвящает не их общим книжным интересам, которые, конечно, были, а их «особенно выдающимся душевным качествам, их состраданию к бедным, слабым и беззащитным», когда они выступали в качестве защитников обиженных, прекращали грубые шутки и обхождение, приходили на помощь беднейшим крестьянам, которых им приходилось наблюдать, находясь в лагерях. Этот рассказ как-то особо характеризует юношу Достоевского и, очевидно, тесно связан с личностью его друга Бережецкого.

Интересно обратиться к материалам воспоминаний Савельева, опубликованным в 1883 г. Ор. Миллером, где содержатся сведения о Бережецком, отсутствующие в публикации «Русской старины». Бережецкий характеризуется как юноша из состоятельной, светской семьи, хорошо воспитанный, мягкого характера. В связи с далее приводимой цитатой из письма Ф. М. Достоевского интересно процитировать следующие слова Ор. Миллера по поводу дружбы Достоевского и Бережецкого: «А. И. Савельев полагает, что Бережецкий мог защитить Достоевского, подобно тому как Ф. Ф. Радецкий... однажды защитил „новичка“ Григоровича... но, по мнению лица, бывшего тогда портупей-юнкером и сообщившего свои замечания на воспоминания А. И. Савельева, этого не могло быть, потому что Бережецкий не имел никакого влияния на товарищей, что же касается Достоевского, то его, как „чудака“, вскоре оставили в покое. По словам самого А. И. Савельева, Бережецкий сам был „под сильным влиянием Достоевского, слушался его и повиновался ему, как преданный ученик учителю“».

Близость Достоевского с Бережецким надо отнести к тому же 1839 г., как и сближение с Шидловским. В 1840 г. Бережецкий был произведен в инженерные офицеры и перешел из кондукторов в нижний офицерский класс. Очевидно, к этому времени надо отнести и разрыв его дружбы с Достоевским. Уже Ор. Миллер отнес к Бережецкому горячее признание Федора Михайловича в его письме к брату от 1 января 1840 г., письме, которое мы выше цитировали как почти целиком посвященное Шидловскому. Но заключенное в нем страстное излияние о *другой* дружбе, пережитой автором письма, несомненно надо скрепить с именем Бережецкого. Собственно, только оно и дает нам основание говорить о дружбе Достоевского с Бережецким как одном из важных событий его духовной жизни этих лет, к сожалению остающимся почти не раскрытым.

«Прошлую зиму я был в каком-то восторженном состоянии, — писал Ф. М. Достоевский 1 января 1840 г. брату. — Знакомство с Шидловским подарило меня столькими часами лучшей жизни; но не то было тогда причиною этого. Ты, может быть, упрекал и упрекнешь меня, почему я не писал

> к тебе. Глупые, ротные обстоятельства тому причиною. Но сказать ли тебе, милый: я никогда не был равнодушен к тебе; я любил тебя за стихотворения твои, за поэзию твоей жизни, за твои несчастья — и не более; братской любви, дружеской любви не было... Я имел у себя товарища, одно созданье, которое так любил я! Ты писал ко мне, брат, что я не читал Шиллера. Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. — Читая *с ним* Шиллера, я поверял *над ним* и благородного пламенного Дон-Карлоса, и Маркиза Позу и Мортимера. — Эта дружба так много принесла мне и горя и наслажденья! Теперь я вечно буду молчать об этом; имя Шиллера стало мне родным, каким-то волшебным звуком, вызывающим столько мечтаний; они горьки, брат; вот почему я ничего не говорил с тобою о Шиллере, о впечатлениях, им произведенных; мне больно, когда я услышу хоть имя Шиллера» [24].

Эти взволнованные строки Достоевского свидетельствуют о признании им высокого благородства, гуманистической идейности, шиллеровского идеализма в своем друге, нисколько не говоря о своем разочаровании в нем. Что же так глубоко огорчило его и о чем он решил «вечно молчать», так как разрыв, очевидно, связан был с глубокой душевной раной?

Выше, говоря об окружении Ф. М. Достоевского его сверстниками в училище, мы позволили себе провести параллель между дошедшими до нас историческими свидетельствами и тем изображением героя в «Записках из подполья», которое находим в рассказе парадоксалиста о его товарищах по школе. В этом рассказе есть сообщение и о его «исключительной» дружбе с одним товарищем, в котором можно найти, может быть, какие-то черты памяти о дружбе с Бережецким, хотя в этом сообщении вырисовывается специфика «человека из подполья», в которой мы не можем видеть автобиографических черт. Но засвидетельствованная письмом Достоевского его исступленная любовь к Бережецкому и свидетельство Савельева о мягкости и полной подчиненности товарищу Бережецкого позволяют говорить о какой-то аналогии этих строк повести с тем, о чем с горечью умалчивал, тяжело переживая, Достоевский двадцать пять лет назад. «Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над его душой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой; я доводил его до слез, до судорог; он был наивная отдающаяся душа; но, когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя — точно он и нужен

был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. Но всех я не мог победить; мой друг был тоже ни на одного из них не похож и составлял самое редкое исключение»[25].

Письма Достоевского из Инженерного училища прежде всего свидетельствуют о его обширном и разнообразном чтении, интересе к литературе, и главным образом зарубежной. Очевидно, он находил возможности получать книги от Шидловского, товарищей и даже покупать их. Он просил у отца денег на покупку сундучка для лагеря, где он мог бы держать книги, и восклицал: «Но без книг, как я проведу время?». Несмотря на жалобы отца на бедность, он решается просить у него денег, чтобы абонироваться во французской библиотеке, явно придумывая «благородный предлог». В обильных упоминаниях о своем чтении в письмах к брату Ф. М. Достоевский, конечно, не упоминал «военных гениев» и латинских авторов, о которых писал отцу. Тесное личное общение с Шидловским, письменное — с братом усиливали его увлеченность Шиллером, Гофманом, немецким романтизмом. Но вместе с тем все отчетливее в его письмах стал прорываться интерес к литературе Франции, ее крупнейшим поэтам и критикам, к журнальной жизни, свидетельствующий, что Достоевский читал не только художественные произведения, но и их критическую оценку. 31 октября 1838 г. он писал брату: «Напиши мне главную мысль Шатобрианова сочинения „Génie de Chrétionisme". Недавно в „Сыне отечества" я читал статью критика Низара о Victor Hugo. — О как низко стоит он во мнении французов! Как ничтожно выставляет Низар его драмы и романы! Они не справедливы к нему, и Низар (хотя и умный человек), а врет».

В письме от 1 января 1840 г. Достоевский вновь возвращается к суждениям о В. Гюго, высоко ценя его поэзию: «Victor Hugo как лирик, чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии, и никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир — я читал его сонеты на французском, — ни Байрон, ни Пушкин. Только Гомер с такою же неколеблемою уверенностию в призваньи, с младенческим верованием в бога поэзии, которому служит, он похож в <своем> направлении источника поэзии на Victor Hugo, но только в направлении, а не в мысли, которая дана ему природою и которую он выражал; я и не говорю про это».

К сопоставлению с Гомером Достоевский продолжает прибегать в этом письме и далее, переходя к восторженной характеристике французских классиков, Расина и Корнеля, решительно осуждая брата за его отрицательное отношение не столько к самим писателям, сколько к классической школе, ее формальным особенностям, что, конечно, было понятно у страстного поклонника немецкого романтизма, каким был М. М. Достоевский. В защите классицизма Федором Михайловичем характерно, что он не только не противопоставлял классицизм французов антич-

ности, но сопоставлял их создания с великими поэмами Гомера, все время помня об античных героях и сближая их с новой романтической школой, которую находил и в творениях Корнеля и Расина[26].

Мы приводили цитаты из писем 1838—1840 гг. не только для того, чтобы показать широкие литературные интересы и знания девятнадцатилетнего Достоевского. Мы ясно по ним видим, как влияние страстных поклонников немецкой романтической поэзии, Шидловского и М. М. Достоевского, у Федора Михайловича сменяется увлечением Гомером, Шекспиром, Корнелем и Расином. В них Ф. М. Достоевский видит как бы углубление того же романтического начала, но только не «форму» его, за которую так держался его брат, а его суть, смысл, содержание. Все его страстные высказывания, примеры имели более существенное значение, чем сообщение о том, чтó он читает и чтó хвалит в прочитанном. Эти письма — отражение того существеннейшего процесса, который продолжался в нем вопреки неблагоприятным условиям, в которые он попал, перевезенный в Петербург. Это стремление уяснить смысл, цель и дело своей жизни, найти ответ в беседах с Шидловским, Бережецким, братом и, конечно, в поглощаемых книгах. В письме от 9 августа 1838 г. он, может быть, под воздействием Шидловского развивает идеи о «слиянии в человеке неба с землею», о возможности через самоубийство вырваться из жесткой оболочки вселенной. Он переживает драму Гамлета и восклицает: «Как малодушен человек! Гамлет! Гамлет! Когда я вспомню эти бурные дикие речи, в которых звучит стенание оцепенелого мира, тогда ни грустный ропот, ни укор не сжимают груди моей. Душа так подавлена горем, что боится понять его, чтоб не растерзать себя...». Увлечение Гофманом вызывает в нем «прожект: сделаться сумасшедшим. — Пусть люди бесятся, пусть лечат, пусть делают умным».

Особенно характерен спор Ф. М. Достоевского с братом по вопросу о понимании философии, о роли знания и чувства, ума и сердца. Этот спор как бы предсказывает его будущую формулу о деле поэта, жизнью сердца и чувства создающего творческий замысел, и о деле художника, воплощающего его в мыслях, плане и слове. Утверждение брата — «чтоб больше *знать*, надо меньше *чувствовать*, и обратно» — Достоевский называет «правилом опрометчивым, бредом сердца» и так высказывает свое понимание:

«Что ты хочешь сказать словом *знать*? Познать природу, душу, бога, любовь... Это познается сердцем, а не умом. — Ежели бы мы были духи, мы бы жили, носились в сфере той мысли, над которою носится душа наша, когда хочет разгадать ее. — Мы же прах, люди, должны разгадывать, но не можем обнять вдруг мысли. Проводник мысли сквозь бренную оболочку в состав души есть ум. — Ум — способность материальная... душа же или дух живет мыслью, которую нашеп-

тывает ей сердце. Мысль зарождается в душе. — Ум машина, движимая огнем душевным... Притом (2-я статья) ум человека, увлекшись в область знаний, действует независимо от *чувства*, следовательно, от *сердца*. Ежели же цель познания будет любовь и природа, тут открывается чистое поле *сердцу*... Не стану с тобой спорить, но скажу, что не согласен в мнении о поэзии и философии... Философию не надо полагать простой математической задачей, где неизвестное — природа. Заметь, что поэт в порыве вдохновения разгадывает бога, следовательно исполняет назначенье философии. — Следовательно поэтический восторг есть восторг философии. Следовательно философия есть тоже поэзия, только высший градус ее...»

Эти философские размышления и рассуждения Ф. М. Достоевского приводили его к самым пессимистическим выводам относительно своей роли, своего призвания и своего будущего. Можно догадываться, что он таил в себе веру в творческое призвание, которая не подтверждалась его философскими выводами, а скорее разбивалась ими. После приведенных им общих рассуждений о связи поэта и философии, о высокой роли поэтического восторга и вдохновения он заканчивал письмо мрачным признанием в своей «охладелой душе», чуждой надежд на вдохновение:

«Брат, грустно жить без надежды.. Смотрю вперед, и будущее меня ужасает... Я ношусь в какой-то холодной, полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный... Я давно не испытывал взрывов вдохновенья... Не залетит ко мне птичка поэзии, не согреет охладелой души... Ты говоришь, что я скрытен, но вот уже и прежние мечты мои меня оставили и мои чудные арабески, которые я создавал некогда, сбросили позолоту свою. — Те мысли, которые лучами своими зажигали душу и сердце, нынче лишились пламени и теплоты; или сердце мое очерствело или... Дальше говорить ужасаюсь... Мне страшно сказать, ежели все прошлое было один золотой сон, кудрявые грезы...».

Цитированное письмо свидетельствует, каким сложным, трудным путем искал юноша Достоевский ответа на встававшие перед его требовательным умом философские вопросы, анализировал их связь с творчеством поэта, проверял, оценивал свои возможности, свою затаенную надежду на причастность к миру творчества и страдал, сомневаясь в подлинности призвания.

Прошел 1839 год, отмеченный сперва близостью, а потом разлукой с друзьями, Шидловским и Бережецким, год, принесший весть о катастрофе в Даровом — смерти отца. Год, закончивший его юность и поставивший перед ним проблему собственной ответственности за свою будущность. 16 августа 1839 г. Достоевский пишет брату письмо, сохранившееся с рядом изъянов,

но чрезвычайно важное, так как раскрывает те итоги, к которым пришел автор в своих трудных раздумьях о призвании, о своих силах, предстоящем пути и его цели. По письму ясно, что он уже почти механически отбывает навязанную ему специальную учебу, полон мысли об ее окончании как об освобождении и начале иной, своей жизни. Он верит в свои силы, в будущее, в достижение поставленной цели.

> «...Теперь гораздо чаще смотрю на меня окружающее с совершенным бесчувствием. Зато сильно бывает со мною и пробуждение. Одна моя цель — быть на свободе. Для нее я всем жертвую. Но часто, часто, думаю я, что доставит мне свобода... Что буду я один в толпе незнакомой? Я сумею развязать со всем этим; но, признаюсь, надо сильную веру в будущее, крепкое сознание в себе, чтобы жить моими настоящими надеждами; но — что же? — все равно, сбудутся ли они или не сбудутся, — я свое сделаю. Благословляю минуты, в которые я мирюсь с настоящим (а эти минуты чаще стали посещать меня теперь). В эти минуты яснее сознаю положение и уверен, святые надежды сбудутся».

Замечательными, можно сказать пророческими для всей будущей творческой деятельности, словами Достоевский закончил это письмо. В их свете приведенные выше рассуждения Достоевского о Гомере, Корнеле, Расине приобретают особое значение. Они говорят о решительном повороте от «кудрявых грез» романтизма к изучению человеческой жизни, тайны человеческого характера:

> «Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну: учиться, «что значит человек и жизнь», — в этом довольно успеваю, а учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно; более ничего не скажу о себе. Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время, я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» [27].

В ближайшие годы Достоевский приложил все усилия, чтобы «быть на свободе», «развязаться» с ненавистной учебой. Весной 1839 г. он перешел во второй кондукторский класс, в 1840 г. — в высший кондукторский; 5 августа 1841 г. был произведен по экзамену в прапорщики с оставлением в Инженерном училище для продолжения полного курса наук в нижнем офицерском классе, а 11 августа 1842 г. по экзамену сделан подпоручиком с переводом в верхний офицерский класс.

Но, уже получив первый офицерский чин в 1841 г., Достоевский имел возможность поселиться на своей квартире, лишь посещая училище для занятий. Он мог отдаться свойственным ему

интересам, испытывать свои творческие силы, в которых видел свое призвание, свое будущее.

Прежде чем перейти к характеристике этого нового этапа в жизни Достоевского, мы должны остановиться на событии, которое до какой-то степени стало рубежом, отделившим юность писателя от его «взрослой», самостоятельной жизни. Это смерть отца — Михаила Андреевича Достоевского.

К сожалению, я не могу, как предполагала, отослать читателя к своей книге «В семье и усадьбе Достоевских», где я разбираю историю этого события. В настоящее время появилось в печати иное его освещение и толкование. Не соглашаясь с ним, я принуждена вернуться к этой теме и изложить здесь свое отношение и оценку новой ее трактовки.

Отвезя сыновей в Петербург, М. А. Достоевский начал оформлять свое прошение об отставке и уход на пенсию. Еще в марте 1837 г. он отказался от предложенного ему повышения по службе, ссылаясь на «крайнюю слабость зрения и на застарелые ревматические припадки, от коих воспоследовало трясение правой руки», и выражал намерение «по тем же причинам... со временем просить начальство об увольнении вовсе от службы». В дошедшем до нас черновике его прошения он сообщал: «Изложенные припадки, особенно зрение мое, от постигшего меня удара смертию жены моей, становится со дня на день худшим до того, что и с помощью стекол затрудняюсь в чтении и письме, а следовательно нахожусь в невозможности продолжать впредь с должным рачением службу..»[28]. Он просил предоставить ему отставку «с пенсионом за 24-летнюю беспорочную, ревностную службу с мундиром».

Вернувшись из Петербурга в Москву, он, по словам А. М. Достоевского, «не покинул своего намерения оставить службу и переселиться окончательно в деревню для ведения хозяйства. Но покамест вышла отставка и пенсион, покамест он устраивал все дела — наступил и август месяц. Для перевозки всего нашего скромного имущества приехали из деревни подводы. Сестра Варенька должна была ехать вместе с папенькой в деревню... Две же младшие сестры, Верочка и Сашенька, равно как и брат Коля, тоже должны были переселиться вместе с отцом и неизменной нянею Аленой Фроловной в деревню». Андрей же был отдан «на полный пансион» Чермаку в начальный класс и безвыездно оставался в Москве.

Ранее уже сообщались сведения о чрезвычайно скромном, бедном хозяйстве Достоевских в Даровом и Чермошне, хотя 1833—1835 гг. были для них лучшими, так как М. А. Достоевский получал служебное жалованье, имел частную практику, погода для урожая была сравнительно благоприятная, дети малы и не требовали больших расходов. Мария Федоровна почти полгода жила и вела хозяйство в деревне, умея поддержать свой авторитет и среди соседей, и среди крестьян. Возможно, что в 1837 г. Михаил

Андреевич, выходя в отставку и переехав в деревню «для ведения хозяйства», имел намерение серьезно взяться за это дело[29].

Даже в лучшие годы управления М. Ф. Достоевской имением в ее письмах все время проскальзывали сообщения, свидетельствовавшие о гнетуще убогом состоянии поместья. В начале 1835 г. Мария Федоровна принуждена была сделать перерыв в разгар полевых работ, чтобы «дать лошадям вздохнуть, ибо подножный корм еще плох, а в доме у них нет ни сенца, ни соломки». Это говорится о лошадях *крестьянских*, а вот как в августе Михаил Андреевич пишет жене о своих лошадях, *помещичьих*: «Друг мой, лошади наши чрезвычайно худы... прикажи их кормить, ибо, может быть, они и тебя довезут до Коломны, и ежели станешь хорошо кормить, то дотащут тебя и до Москвы». Так же печально обстояло дело и с другими домашними животными. «Жаль и того, что дойных коров у нас немного...»; «Жаль очень, что мы нынешний год будем без птицы...»; «Наседочка одна только и сидит и то отняли у Дарьи...»; «Жаль также, что корму не стало», — читаем мы в письмах Достоевских.

Не лучше было положение с хозяйственными строениями и инвентарем: «Новый мой сарай почти окончен, только остается покрыть соломой, которой у нас нет, а купить очень дорого», — пишет Мария Федоровна. А Михаил Андреевич в одном из писем огорчается невозможностью прислать из деревни в Москву обоз: «Нащет обозу пишешь ты, что у крестьян нет телег; что делать... Нельзя ли привезти хотя бы на двенадцати возах муки...».

Наблюдения агрономов над сельским хозяйством Тульской губернии в дореволюционое время позволяли сделать вывод, что годы с урожаями ниже среднего повторялись в этой губернии через каждые 5—6 лет и, как правило, недород бывал два года подряд, чем особенно сильно подрывалось крестьянское хозяйство. Такими страшными голодными годами оказались 1838—1839 гг., те самые, когда М. А. Достоевский, переселившись с семьей в деревню, начал в ней хозяйничать. Уже в 1838 г. был отмечен плохой урожай — результат холодной и малоснежной зимы 1837—1838 гг., засухи в первой половине лета и обилие дождей и града во время уборки хлеба. Летом 1839 г., по словам журналиста, в центральной России оказался «климат стран тропических», следствием чего были грозы, пожары, градобитие, падеж скота и другие крестьянские несчастья[30]. Свидетелем такого тяжелого состояния и, вероятно, ответственным за него, если не перед крестьянами, то перед своей семьей, оказался М. А. Достоевский. В ответ на присланные ему два письма Федора Михайловича от 5 и 10 мая 1839 г. (с просьбами о присылке денег для лагерных расходов) он нарисовал ему 27 мая 1839 г. жуткую картину своего хозяйства:

«Вспомни, что я писал третьего года к вам обоим, что урожай хлеба дурной, прошлого года писал то же, что озимого хлеба совсем ничего не уродилось; теперь пишу тебе, что за нынешним

летом последует решительное и конечное расстройство нашего состояния. Представь себе зиму, продолжавшуюся почти 8 месяцев, представь, что по дурным нашим полям мы и в хорошие годы всегда покупали не только сено, но и солому, то кольми паче теперь для спасения скота я должен был на сено и солому употребить от 500 до 600 руб. Снег лежал до мая месяца, следовательно, кормить скот чем-нибудь надобно было. Крыши все обнажены для корму. С начала весны и до сих пор ни одной капли дождя, ни одной росы! Жара, ветры ужасные все погубили. Озимые поля черны, как будто и не были сеяны; много нив перепахано и засеяно овсом, но это, по-видимому, не поможет, ибо от сильной засухи, хотя уже конец мая, но всходов еще и не видно. Это угрожает не только разорением, но и совершенным голодом!»

Михаилу Андреевичу не пришлось дожить до обычного предела, к которому шло разорение, — до продажи имения с торгов за долги, которых немало скопилось. В начале июня 1839 г., когда крыши со всех домов были давно съедены, а земля, будучи дважды засеяна, чернела, отказываясь давать всходы, Михаил Андреевич был убит своими крепостными.

Было бы неправильно видеть в этом факте лишь случайную расправу крестьян с ненавистным помещиком. Убийство М. А. Достоевского должно быть поставлено в один ряд с теми многочисленными крестьянскими волнениями, которые, ежегодно возрастая, красноречиво свидетельствовали, «что крепостное состояние есть пороховой погреб под государством» и что «омерзение к крепостному состоянию» охватывало все шире и шире крестьянскую массу.

Каждый год донесения жандармских чиновников отмечали среди разного рода случаев неповиновения крестьян несколько случаев убийства помещиков и их управителей, причем эти данные были далеко не полны и не все доходили до сведения министерства. 1839 год был отмечен особенно многочисленными крестьянскими волнениями, охватившими многие губернии центральной России. Причиной была засуха, вызвавшая пожары, и «безнадежность урожая», как выразился автор жандармского «Нравственно-политического отчета» за 1839 г. Современный исследователь крестьянских движений свидетельствует, что «летом 1839 года в связи с многочисленными пожарами, вызванными повсеместной засухой, возникло широкое движение среди помещичьих, казенных и удельных крестьян 12 губерний, принявшее в многих местах очень бурные формы». Значительные волнения были зарегистрированы и в Тульской и в Рязанской губерниях, т. е. в местах окружавших имение Достоевских [31].

Засуха, перспектива голодного года, заострила и вызвала к действию десятками лет накоплявшуюся в крестьянах ненависть к помещикам-угнетателям и разорителям. Нищета, до которой было доведено положение черемошинских крестьян, содействовала нарастанию событий в имении Достоевских, закончив-

шихся убийством помещика. Но повод к ним надо искать, очевидно, в личности помещика и в его взаимоотношениях с крестьянами. У нас нет проверенных данных, которые свидетельствовали бы о жестокости М. А. Достоевского с крестьянами или об особенно злостной их эксплуатации. В письмах к жене в деревню он дважды указывал ей на необходимость более строгого отношения к крестьянам, когда их поведение грозит ущербом помещичьему хозяйству. «Я отчасти покоен нащет чермошинского скотника, а Харлашка, слышу, бездельник и ленив. Надобно за ним смотреть строже, а ежели нужно будет, то и посечь», — писал он в августе 1834 г., а весной 1835 г. отвечал жене: «Пишешь между прочим, что в Чермошне корова отелилась неблагополучно, а не упоминаешь, отчего это, ежели виновата скотница, то ты очень худо поступила, что только слегка побранила и не наказала для примера протчим». Эти советы жене свидетельствуют о рядовом поведении «рачительного» хозяина-крепостника этой эпохи и не позволяют делать выводы о его жестокости.

Чтобы понять происшедший факт, необходимо обратиться к рассмотрению психического состояния, в котором М. А. Достоевский находился в последние два года своей жизни. После двадцатипятилетней энергичной работы в больнице в окружении многочисленных коллег, ежедневных выездов на практику к своим частным пациентам, после налаженной жизни в семье рядом с любимой женой и детьми, из которых старшие сыновья уже позволяли ему гордиться их успехами, после сравнительного материального достатка, после смерти жены, отъезда Михаила и Федора, выход в отставку и переезд с оставшейся семьей осенью 1837 г. в далекую деревушку на зимовку в столь непривычных условиях тяжело подействовали на Михаила Андреевича. А. М. Достоевский, как нам кажется, правильно набросал картину жизни отца в эту первую деревенскую зиму, хотя он не коснулся тех переживаний, которые вызвало в Михаиле Андреевиче постоянное наблюдение, как разорялось, нищало хозяйство и помещичье и крестьянское.

«Время с кончины матери до возвращения отца из Петербурга было временем большой его деятельности, так что он за работою забывал свое несчастие или по крайней мере переносил его нормально, если так можно выразиться. Затем сборы и переселение в деревню тоже много его занимали. Но, наконец, вот он в деревне в осенние и зимние месяцы, когда даже и полевые работы прекращены. — После очень трудной двадцатипятилетней деятельности отец увидел себя закупоренным в две-три комнаты деревенского помещения, без всякого общества. Овдовел он в сравнительно не старых летах, ему было 46—47 лет. По рассказам няни, Алены Фроловны, он в первое время даже доходил до того, что вслух разговаривал, предполагая, что говорит с покойной женой, и отвечал себе ее обычными словами... От такого состояния, особенно в уединении, недалеко и до сумасшествия. Незави-

симо от всего этого он понемногу начал злоупотреблять спиртными напитками. В это время он приблизил к себе бывшую у нас в услужении еще в Москве девушку Катерину...»

Весной 1838 г. дочери Вера и Варя уехали в Москву к Куманиным. На лето приехал в Даровое Андрей, который признавал, что «ничего ненормального в жизни отца не заметил, несмотря на свою наблюдательность, да, может быть, и отец несколько стеснялся меня».

«Но вот он опять остался один на глубокую осень и долгую зиму. Пристрастие его к спиртным напиткам, видимо, увеличилось, и он почти постоянно бывал в ненормальном положении. Настала весна, малообещавшая хорошего...»

Не скупость, не жесткая экономия, а подлинная бедность, с которой, по словам М. А. Достоевского, он свыкся «как с воздухом», вызывала его постоянные мольбы к сыновьям беречь каждую копейку, его вопль в письме к дочери:

«...Неустройство состояния нашего, долги, нужда, недостатки, лишения... истощают по каплям мое здоровье...» — все это было признанием доведенного до полного разорения человека. Мы писали, как свойственны были всегда Михаилу Андреевичу мнительность и подозрительность по отношению ко всем окружающим, как легко он вспыхивал гневом и создавал атмосферу страха и угроз. Алкоголизм, вероятно, усиливал эти свойства, и реакцию черемошинских крестьян, которые в один из таких приступов гнева барина прикончили его, легко объяснить.

Не считая необходимым излагать здесь дошедшие до нас сведения об этом событии, мы предполагали направить читателя к существующим печатным сведениям о нем[32]. Но появившаяся в «Литературной газете» (1975, № 25) статья Г. А. Федорова, посвященная смерти М. А. Достоевского, ставит нас перед необходимостью высказать свое мнение по поводу выводов, к которым пришел автор статьи. Статья называется «Домыслы и логика фактов». Что же назвал он «домыслами» и что противопоставил им в качестве «фактов»? Г. А. Федоров обратился к архивным материалам, судебному следствию по делу о смерти М. А. Достоевского, последовавшей 6 июня 1839 г. в Каширском уезде, в поле, вблизи деревни Черемошни, коротко изложил его.

Два факта особенно существенны в изложенном следствии. Один из них был известен, а именно, что, следуя официальному медицинскому заключению и обследованию трупа, причиной скоропостижной смерти был признан апоплексический удар, что и позволило быстро закончить дело. Но второй факт, впервые оглашенный в печати, скоро осложнил решение суда: через месяц после погребения М. А. Достоевского в Каширский суд поступил донос местного помещика ротмистра А. М. Лейбрехта о том, что, по сведениям, полученным им от В. Ф. Хотяинцева, М. А. Достоевский был убит своими крепостными. При допросе В. Ф. Хо-

тяинцев отверг показания Лейбрехта, якобы «по злобе» на него возведенные, однако Лейбрехт на очной ставке продолжал утверждать, что «все сии слухи» услышал в доме Хотяинцева и что П. П. Хотяинцев (богатый помещик, владелец с. Моногарова, сосед Достоевских) якобы готов «открыть все дело» исправнику. Хотя доносу был дан ход, опрашивались крестьяне, дворня, родственники убитого, но П. П. Хотяинцев не был привлечен к допросу и расследованию. Виновных не обнаружилось, и дело, тянувшееся полтора года и прошедшее ряд инстанций, было сдано в архив суда в конце октября 1840 г.

Донос Лейбрехта, указание на «слухи» об убийстве, полученные им в доме Хотяинцевых, даже сообщение, что последний высказывал желание раскрыть властям дело, легко объяснимы. Убийство получило огласку в округе. Богатого помещика, знавшего и Достоевских и черемошинских крестьян, не могло не взволновать это событие. Могло и вызвать первоначальную реакцию — «открыть дело». от которой он, взвесив все обстоятельства, скоро отказался. По «Воспоминаниям» А. М. Достоевского, младшего сына убитого (ему было в то время четырнадцать лет), мы знаем, что, когда через неделю после похорон в Даровое приехала за сиротами бабушка (конечно, с полномочиями от родственников Достоевских, богатых купцов Куманиных, у которых жила), она посетила Хотяинцевых: «Оба Хотяинцева, т. е. муж и жена, не скрыли от бабушки истинной причины смерти папеньки, но не советовали возбуждать об этом „дела“, ввиду безнадежности „изловить“ виновное следствие, а если бы и удалось раскрыть подлинную причину смерти, то это привело бы к ссылке черемошинских мужиков на каторгу и окончательно разорило сирот-наследников».

Мы можем только предполагать, что богатые и влиятельные родственники Достоевских Куманины, на которых ложилась забота о сиротах, способствовали закрытию дела, о чем А. М. Достоевский не мог писать в «Воспоминаниях». Но обращает на себя внимание тот факт, что каширский исправник Н. П. Елагин был, с их согласия, сделан опекуном сирот, т. е. хозяином имения Достоевских, и, как свидетельствуют письма М. М. Достоевского этого времени, значительно попользовался своим положением. Не было ли это частичной компенсацией за сокрытие тайны? Что же касается каширского и зарайского врачей, освидетельствовавших труп М. А. Достоевского, то они, конечно, хорошо лично знали своего коллегу (известно, что он, заболевая и страдая «припадками», обращался за помощью в Зарайск). Да и по свидетельству крестьян способ убийства был таков, что не оставил на трупе следов. Возможно, что насилие вызвало у склонного к апоплексическим ударам последний удар, который и был зарегистрирован врачами. Таким образом, история с доносом Лейбрехта и опубликованные данные о следствии вполне укладываются в картину, нарисованную в «Воспоминаниях» А. М. Достоевского об убий-

стве отца, и лишь дополняют некоторыми подробностями этот трагический эпизод из биографии писателя.

Какие же выводы из публикуемых сведений сделал Г. А. Федоров?

«Не обнаружив» при изучении документов и донесений «никаких противоречий, неизбежных, если дело фальсифицируется», Г. Федоров признал соответствующим действительности заключение следствия, что смерть последовала «от апоплексического удара». Кроме того, он подкрепил свое доверие заключению тем соображением, что в эпоху народных волнений, каким был 1839 г., дело об убийстве крепостными помещика «*невозможно замять*». Нам кажется несколько наивной уверенность Г. А. Федорова в возможности обнаружить в архиве николаевского суда 30-х годов, среди хранимых документов, следы «фальсификации» приговора. Что же касается до невозможности «замять дело», то мы имеем обратное мнение советского историка: именно за 1830—1840 гг. официальные данные о таких событиях «очень неполны, так как далеко не все сведения доходили до министерства», куда обязаны были направлять сообщения с мест [33].

Признавая соответствующей истине причину смерти М. А. Достоевского — «апоплексический удар», Г. А. Федоров из доноса Лейбрехта сделал вывод, что версию об убийстве крестьянами изобрел П. П. Хотяинцев, горевший ненавистью к убитому и желавший если не на нем, то хотя бы на его детях сорвать свою злобу, опозорив их отца и лишив их хозяйство необходимой рабочей силы. Так как в доносе говорилось только о переданных Хотяинцевым «слухах» об убийстве, то утверждение автора статьи, что Хотяинцев был сам изобретателем этим слухов, невольно вызывает вопросы: на чем же основывает автор обвинение Хотяинцева, как мог последний решиться на распространение фальшивых сведений об убийстве, грозивших каторгой крестьянам, и особенно как сумел этот мелодраматически злобный, мстительный изверг заставить поверить и прочно закрепить в сознании лично близких умершему людей и в памяти черемошинских крестьян измышленную им клевету?

Истоки злобы Хотяинцева на М. А. Достоевского Г. Федоров видит в том, что в 1832 г. М. Ф. Достоевская, владелица Дарового, подняла дело в Каширском суде о выселении крестьянских «дворов» Хотяинцева, находившихся на территории купленного на ее имя имения, и о размежевании спорных земель. Г. Федоров приводит цитату из «Воспоминаний» А. М. Достоевского о том, что это «взбесило» П. П. Хотяинцева и он угрожал, что купит соседнее имение своего двоюродного брата, Черемошню, и «тогда будет держать в тисках Достоевских».

На этом Г. Федоров обрывает цитату, а А. М. Достоевский, сообщив, что его родители поспешили сами купить Черемошню, продолжал: «Таким образом угрозы П. П. Хотяинцева потеряли свою силу, а *он сделался хорошим соседом нашим*, не уводя, впро-

чём, принадлежавших ему крестьянских дворов из нашего имения вплоть до пожара, случившегося в 1833 году» (курсив наш. — *В. Н.*).

Хотя дело о размежевании, обычно очень длительное, продолжалось еще много лет, ни о каких-либо враждебных выступлениях и отношениях с Хотяинцевым у нас сведений нет. Не привел их и Г. А. Федоров. Следовательно, кроме цитаты о раздражении Хотяинцева в 1832 г., взятой из «Воспоминаний» А. М. Достоевского (с. 53—54), смысл которой им же через несколько строк опровергнут, данных о злодейской злобе и мести Хотяинцева нет.

Наоборот, и А. М. Достоевский вспоминает, и в переписке М. Ф. и М. А. Достоевских за 1835 г. мы читаем о постоянном дружеском общении соседей, о внимании к М. Ф. Достоевской и ее детям Хотяинцевых. Когда же М. А. Достоевский, овдовев, живя в Даровом и не получая долго писем из Петербурга от сына Федора, очень волновался, один из Хотяинцевых написал об этом Ф. М. Достоевскому в Инженерное училище. Последний поспешил так его благодарить: «Долгом считаю изъявить Вам сердечную признательность в том, что Вы принимаете участие в делах моего батюшки! — Живо представляю беспокойство его...». Это было за три месяца до убийства М. А. Достоевского, а после его смерти, как мы писали выше, бабушка Достоевских посетила Хотяинцевых, которые, сочувствуя сиротам, давали ей житейски полезные советы. На основании каких же данных автор нарисовал образ злобного мстительного злодея, решившегося преследовать сирот умершего и для этого сослать на каторгу невинных крестьян?

Но если Г. Федоров готов объяснить это «лицемерием» злодея, то как психологически объяснить то обстоятельство, что клевете одного человека *тотчас* поверило и сохранило эту веру долгие годы множество людей, как родственников и потомков М. А. Достоевского, так и современников и потомков черемошинских крестьян? А. М. Достоевский, которому было 14 лет в 1839 г., писал в «Воспоминаниях», что сперва ему сообщили, что отец умер от удара, но скоро он сам понял из разговоров взрослых, что от него «скрывают действительную причину смерти отца». Он узнал, «что отец был убит своими крестьянами». «Впоследствии я много слышал подробностей этого убийства из уст сестры, Веры Михайловны, а главное от девушки Ариши и от няни Алены Фроловны...» Ариша, крепостная Достоевских, жила в это время у Куманиных: «К ней приходили родные из деревни, и от них-то она слышала все подробности, переданные мне впоследствии... Няня, Алена Фроловна, жила вместе с папенькой в деревне и была почти свидетельницей и очевидицей катастрофы, т. е. видела труп отца», — рассказывает А. М. Достоевский.

Оставим в стороне «мемуары» Л. Ф. Достоевской, дочери писателя, незадачливой беллетристки-эмигрантки, которая хотя,

конечно, имела сведения об убийстве деда от матери, Анны Григорьевны, и от теток Варвары и Веры, но произвольно сгустила мрачные краски, рисуя его образ, стремясь сблизить его с персонажами романов Ф. М. Достоевского. Совершенно иная тенденция в «Воспоминаниях» А. М. Достоевского. Он всячески защищал и облагораживал память отца, рисовал чуть ли не идиллически условия своего детства и все же ни одним словом не допустил сомнения в причине его смерти, признание в которой несомненно было для него мучительно.

То же могу сказать о его сыне, Андрее Андреевиче Достоевском, издателе «Воспоминаний», с которым я лично много беседовала на эту тему. Очень огорченный домыслами Л. Ф. Достоевской о деде, он тем не менее не сомневался в факте убийства его крестьянами. То же впечатление я вынесла из разговоров с дочерями В. М. Ивановой-Достоевской — Марией и Ольгой, которые выросли в Даровом и до старости жили в нем.

Г. А. Федоров лишь мимоходом касается записанных рассказов крестьян Черемошни, пренебрежительно характеризуя их как «сбивчивые и противоречивые». Это несправедливо. 8 июля 1925 г. М. В. Волоцкой, автор труда «Хроника рода Достоевского» (1933), и я, автор этой книги, ездили в Даровое со специальной целью побеседовать с крестьянами на эту тему. Обстоятельные, спокойные рассказы стариков были чужды всякого стремления к эффекту, не было в них противоречий, путаницы. Правильно назывались имена давно умерших крестьян, которые я потом проверила по церковным ведомостям села Моногарова. Они так оправдывали оглашение долго скрывавшегося преступления: «Теперь все равно никого нет на свете, давно сгнили — можно сказать». См. мою публикацию — «Новый мир» (1926, кн. 3) и мою книгу «В семье и усадьбе Достоевских» (Соцэкгиз, 1939), и названную выше книгу Волоцкого. Неужели можно допустить, что восьмидесятилетние старики-крестьяне взваливали на своих отцов и дедов обвинение в несовершенном ими убийстве лишь по злобному замыслу и наущению помещика Хотяинцева?

Я совершенно согласна с В. Я. Кирпотиным, выступившим против фрейдистских попыток искать в творчестве Достоевского отражение этого мрачного факта его биографии в статье «Опровергнутая версия», помещенной в «Литературной газете» после статьи Г. А. Федорова. Но что, собственно, «*рушится*» в трактовке фрейдистами творчества Достоевского, если и они признают «ложным» факт, на котором держится эта трактовка, т. е. что отец писателя не был убит крестьянами, а умер от удара? Ведь остаются непреложными сведения, что семья писателя не сомневалась в убийстве, а с нею и Ф. М. Достоевский, так же как его брат и сестры, до конца жизни помнивший именно эту «версию». Зная это, фрейдисты имеют основания по-прежнему в своих целях использовать историю смерти М. А. Достоевского.

Дело Г. А. Федорова и В. Я. Кирпотина свято верить сохранившимся судебным документам 30-х годов и не находить в них «фальсификации». Если Г. А. Федоров позволил себе вспомнить в статье «троекуровское самодурство», то я позволю себе напомнить гоголевского Ляпкина-Тяпкина, который открыто признавал, что берет взятки: «но чем взятки? — борзыми щенками». Искать письменные свидетельства о взятках всякого рода в судебных архивах — повторяю — наивно.

Мы остаемся при своем убеждении, что, если биографические сведения порочно толкуются известного рода критиками, это не позволяет исследователям их игнорировать, тем более если за достоверность этих сведений дружно выступают многие современники и близко стоящие к ним лица. Мы продолжаем оставаться уверенными, что убийство, или покушение на убийство, сопровожденное апоплексическим ударом, имело место. Донос Лейбрехта только подтверждает этот факт, а сообщенные в статье Г. А. Федорова краткие выдержки из этого доноса вносят новые детали в историю этого события и отношения крестьян к М. А. Достоевскому. В таком плане публикация Г. А. Федорова представляет некоторый исторический интерес. Что же касается того, что П. П. Хотяинцев якобы явился инициатором и распространителем ложных слухов об убийстве с злостной целью мести покойному и его детям, то иначе как «романтическим» домыслом Г. А. Федорова эту гипотезу назвать нельзя [34].

IV

Начало творческого пути. Перевод романа Бальзака

В 1840 г. Достоевский был лишен общения с друзьями, которые разделяли его духовные интересы: не было рядом с ним ни Шидловского, ни Бережецкого. Он был в последнем кондукторском классе, накануне его окончания, обязательные занятия занимали все время, особенно тяжела была лагерная жизнь. Он был одинок, ему не с кем было поделиться одолевавшими его думами и, может быть, пожаловаться на тяжелую жизнь.

До нас дошло его письмо брату из лагеря в Петергофе от 19 июля 1840 г. в Ревель, которое свидетельствует о каком-то расхождении с Михаилом Михайловичем в недавнем прошлом и которое является страстным призывом к брату вернуть ему дружбу, забыть причины, их разъединившие, вновь делиться происходившими в них переменами. Он звал брата, чтобы он спас его «от одичания», от тяжести одиночества, вернул ему покой, которого он лишен. Достоевский надеялся на приезд брата в Петербург для сдачи экзамена на офицерское звание и восклицал:

«Но приезжай скорее, милый друг мой, ради бога, приезжай! — Если бы знал ты, как необходимо для нас быть вместе, милый друг! Целые годы протекли со времени нашей разлуки. Клочок бумаги, пересылаемый мною из месяца в месяц, — вот была вся связь наша; между тем время текло, время наводило тучи и вёдро на нас и все это протекало для нас в тяжелом, грустном одиночестве; ах! если б ты знал, как я одичал здесь, милый, добрый друг мой; любить тебя — это для меня вполне потребность. . .

Сколько перемен в нашем возрасте, мечтах, надеждах, думах ускользнуло друг от друга между нами незамеченными и которые мы сохранили у себя на сердце. О! когда я увижу тебя, чувствую, что мое существование обновится; — я чувствую себя как-то неспокойным теперь; течение моего времени так неправильно. Я сам не знаю, что со мною. Приезжай, ради бога, приезжай, друг мой, милый брат мой!»

Кроме этого призыва, письмо полно заботами о Михаиле Михайловиче, о предстоящих ему экзаменах, значение исхода которых много значило не только для служебной карьеры, но и для личного счастья М. М. Достоевского, так как открывало ему воз-

можность сделать предложение и получить согласие на брак семьи любимой им девушки. Федор Михайлович озабочен переживаниями брата, которыми тот перестал с ним делиться, а мысли о судьбе брата выливаются в его рассуждения о собственной душевной жизни, полные сомнений в ее направленности. Естественному стремлению к «чистой», светлой, полной, правильной душевной жизни противопоставляется «неправильная, бесцельная, тщетная деятельность, заблуждение, вынужденное у сердца одинокого, часто не понимающего себя, часто еще бессмысленного, как младенец, но так же чистого и пламенного, невольно ищущего для себя, вокруг себя и истомляющего себя в неестественном стремлении неблагородного мечтания».

Эти строки еще смутно, но предвещают будущие художественные образы «мечтателей», которые Ф. М. Достоевский скоро воплотит в своих повестях. Ощущение огромных сил, в нем заложенных, и их несоответствия тому, чему он обязан отдавать время, вызывает тяжелое итоговое признание: «В самом деле, как грустна бывает жизнь твоя и как тягостны остальные ее мгновенья, когда человек, чувствуя свои заблуждения, сознавая в себе силы необъятные, видит, что они истрачены в деятельности ложной, в неестественности, в деятельности недостойной для природы твоей; когда чувствуешь, что пламень душевный задавлен, потушен бог знает чем, когда сердце разорвано по клочкам, а отчего? От жизни, достойной пигмея, а не великана, ребенка, а не человека» [1].

В переписке Достоевского конца 30-х годов находятся неоднократные упоминания о литературных опытах брата и Шидловского. Он охотно передавал им свои впечатления, прочтя их произведения в рукописях. Еще 1 января 1840 г. он писал брату: «Сюжет твоей драмы прелестен, видна верная мысль, а особенно то нравится мне, что твой герой, как Фауст, лица беспредельного, необъятного, делается сумасшедшим тогда, когда он нашел это беспредельное и необъятное — когда он любим. — Это прекрасно! Я рад, что тебя чему-нибудь научил Шекспир».

Но мы не имеем ни одного упоминания этого времени о *письменных* литературных опытах самого Федора Михайловича. Много позднее он вспоминал, что по дороге в Петербург из Москвы он сочинял (конечно, мысленно) роман из венецианской жизни. А. Е. Ризенкампф, познакомившись с ним в 1838 г., вспоминал, что Достоевский ему тогда же рассказывал «о своих собственных литературных опытах» [2]. Но только к концу пребывания в кондукторских классах относятся свидетельства Савельева о ночных писаниях Достоевского, в которых можно предположить именно его попытки творческого труда. Лишенный дружеской близости с кем-либо, переполненный раздумьями и впечатлениями от прочитанного, он, несмотря на трудности предэкзаменационного периода, по свидетельству Савельева, неутомимо ночами что-то писал: «В 1841 году Федор Михайлович был уже на вы-

пуске в старшем классе. Как прежде, задумчивый, скорее угрюмый, можно сказать замкнутый, он редко сходился с кем-либо из своих товарищей, хотя и не удалялся, даже часто делился с ними своими учебными записками, которые он составлял за лекциями преподавателей; нередко писал товарищам сочинения на заданные темы по русской литературе, но никогда нельзя было его видеть праздным и веселым. Любимым местом его занятий была амбразура окна в угловой спальне роты... В этом, изолированном от других столиков месте сидел и занимался Ф. М. Достоевский».

Он убирал книги, когда воспитанники были обязаны ложиться спать, но Савельев свидетельствовал, что в «глубокую ночь» его вновь можно было заметить сидящим у столика за работой, с наброшенным сверх белья одеялом. На замечания дежурного «он складывал свои тетради и, по-видимому, ложился спать; но проходило немного времени, его можно было видеть опять в том же наряде, у того же столика, сидящим за работою...». Савельев замечал: «Зная способности и прилежание его в учебных занятиях, нельзя было предполагать, чтобы Ф. М. Достоевскому не доставало бы времени днем для этих занятий; я тогда же допускал, что постоянная усидчивая его работа, работа письменная ночью, когда никто ему не мешает, была литературная, и, конечно, не для газеты, издававшейся в роте... а для более серьезного предмета. Но какая это была работа, отгадать было трудно: сам же Федор Михайлович никому об ней не говорил» [3].

Что писал ночами в 1840—1841 гг. Ф. М. Достоевский, мы узнаем из воспоминаний А. Е. Ризенкампфа. В Ревеле летом 1838 г. Михаил Михайлович встретил этого юношу, годом моложе себя, способности и интересы которого к поэзии, музыке, рисованию были ему очень близки. В сентябре этого года Ризенкампф уехал в Петербург для поступления в Медико-хирургическую академию и, по просьбе Михаила Михайловича, отвез его письмо брату и передал ему в Инженерном училище. Познакомившись с Федором Михайловичем, учась в Академии, он, хотя и не часто, стал посещать его. В конце 1840 г. в Петербург приехал М. М. Достоевский для сдачи экзамена на чин прапорщика полевых инженеров, а, сдав его, оставался в Петербурге до 17 февраля. Это были месяцы нового сближения братьев, о котором просил Федор Михайлович после двухлетней разлуки.

Если поэтическое творчество Михаила Михайловича было хорошо известно младшему брату (у Ризенкампфа был текст ряда его стихотворений), то творческие опыты Федора Михайловича получили огласку в кругу друзей именно в это время, Ризенкампф так описал это событие: «16 февраля 1841 г. Михаил Михайлович, покончив с прощальными визитами, собрал немногочисленных своих знакомых и друзей на прощальный вечер. Здесь был и Федор Михайлович, который в первый раз нам читал отрывки из двух драматических своих опытов: «Мария Стюарт» и «Бориса Годунова». Михаил Михайлович читал нам довольно пространное

стихотворение «Беседа двух ангелов» и некоторые другие. После дружеского ужина мы расстались. Рано утром 17-го числа Михаил Михайлович уехал в Ревель».

Работа над драматическими опытами, по свидетельству Ризенкампфа, продолжалась Федором Михайловичем и в следующие годы. О первом мемуарист пишет: «На немецком театре тогда выдавались двое: г. Кунст и г-жа Лилла Леве. Впечатление, произведенное последнею актрисою на Федора Михайловича в роли Марии Стюарт, было до той степени сильно, что он решился разработать этот сюжет для русской сцены, но не в виде перевода или подражания Шиллеру, но самостоятельно и согласно истории. В 1841 и 1842 годах это была одна из главных его задач, и то и дело он нам читал отрывки из своей трагедии „Мария Стюарт"»[4]. Увлечение это длилось недолго, и, как сообщает Ризенкампф, уже в 1842 г. Достоевский, отказавшийся от продолжения своей «Марии Стюарт», усердно принялся за «Бориса Годунова», тоже оставшегося неоконченным.

Ни рукописей, ни других сведений об указанных произведениях Достоевского мы не имеем, как и о третьем драматическом произведении, о котором он упомянул в письме к брату во второй половине января 1844 г., прося прислать денег: «Клянусь Олимпом и моим жидом Янкелем (оконченной драмой)...». Возможно, что ее имел в виду Михаил Михайлович, советуя брату в сентябре 1844 г. особенно заняться драматическими произведениями, видя в них его призвание и «спасение», а опекуну Карепину, хваля литературный талант брата, писал 25 сентября 1844 г.: «Я читал, с восхищением читал его драмы. Нынешней зимою они явятся на петербургской сцене». 3 октября того же года он вновь писал Карепину о литературных успехах брата, сообщая: «Он кончил прекрасный роман и две драмы, которые, уверяю вас, удивительны»[5].

Исследователи отдали немало внимания неизвестным ранним драматическим произведениям Достоевского. Еще в 1921 г. была напечатана статья М. П. Алексеева «О драматических опытах Достоевского», в которой отмечается значение этих опытов для последующего творчества писателя. М. П. Алексеев видит в выборе жанра драмы отклик молодого писателя на романтическое направление, так как «лирика и драма — преобладающие формы романтизма», а в его интересе не к сложности действия, а к «характеру» героев — «чисто идейное увлечение в работе над собственной личностью, собственным миросозерцанием». «Самая идея обработать по-своему два значительных трагических замысла кажется характерной для романтизма Достоевского. Необъятность замысла, несоразмерность с еще слабыми авторскими силами типичны для юных романтиков», — пишет М. П. Алексеев. Он обращает внимание, что два замысла сближает «некоторое единство драматической коллизии, здесь и там — проблема власти, разрешенная на широком историческом фоне», что характерная для

романтизма проблема личности и проблема призвания создает особый интерес к проблеме самозванства. Далее М. П. Алексеев намечает связи ранних опытов с зрелой творческой работой писателя, видя в них «первую творческую задачу, разрешение которой во многом обусловило и последующую его литературную деятельность» [6].

Свое понимание и объяснение тем, избранных Достоевским, дал Л. П. Гроссман, также связывая их с его поздними романами: «Первая формация творчества Достоевского — это романтические драмы, в которых политические и моральные идеи воплощены в знаменитых образах, поставленных эпохой в условиях необычайного конфликта. Таковы „Мария Стюарт“ и „Борис Годунов“, исторические трагедии, до нас не дошедшие. Молодого драматурга, видимо, привлекала проблема преступного владычества и самозванства, воплощенная в крупных характерах прошлого...». В «Борисе Годунове» Л. П. Гроссман видел тему будущего Достоевского — «право сильной личности переступить через кровь во имя всеобщего блага, возможность строить счастье масс на страдании замученного ребенка, цена власти, захваченной самозванцем». В «Марии Стюарт» Л. П. Гроссман отмечает беспощадную борьбу двух женщин, их соперничество и взаимную ненависть, которые станут «одной из излюбленных тем Достоевского-романиста, решаемой им «в духе нравов своей эпохи...» [7].

В. Я. Кирпотин, тщательно прослеживая отношение молодого Достоевского к русским и иностранным писателям, к Пушкину и Шиллеру и их творчеству, лишь мимоходом упомянул о первых литературных опытах Достоевского и, не зная позднее опубликованного свидетельства Ризенкампфа, писал: «Молодой Достоевский пытается написать в подражание Шиллеру трагедию „Марию Стюарт“ и в подражание Пушкину — трагедию „Борис Годунов“» [8]. Ризенкампф как раз подчеркивал, очевидно со слов Достоевского, что задачей последнего было разработать сюжет «не в виде перевода или подражания Шиллеру, но самостоятельно и согласно истории».

Мы думаем, что эти начальные опыты Достоевского были связаны с его стремлением решить «величайшую задачу», которую он в это время ставил перед собой и так сформулировал: «учиться, что значит человек и жизнь... учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно... Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели ее будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» [9]. Пройдет еще два года, и Достоевский обратится к такому создателю характеров, разгадка которых станет для него высшей школой познания и не только литературного мастерства, но тайн человеческой психологии и поведения. Чтобы перейти к этому важному этапу начала литературной деятельности Достоевского, очень коротко охарактеризуем его жизнь в 1841—1843 гг.

Письмо брату 27 февраля 1841 г., вскоре после отъезда последнего из Петербурга, показывает, что их дружеские отношения вполне восстановились. Летом 1841 г. Ф. М. Достоевский готовился к экзамену на офицерский чин, изнывал от «зубрежки», от необходимости углубляться в столь чуждые ему военные дисциплины и, полный заветных идей и надежд, восклицал в письме к брату: «О брат! милый брат! Скорее к пристани, скорее на свободу! Свобода и призванье — дело великое. Мне снится и грезится оно опять, как не помню когда-то. Как-то расширяется душа, чтобы понять великость жизни. . .».

Достоевский благополучно прошел экзамен и 5 августа 1841 г. был произведен «в полевые инженер-прапорщики с оставлением в Инженерном училище, для продолжения полного курса наук в нижнем офицерском классе» [10]. Очевидно, после этого производства он сумел вырваться на относительную свободу, т. е., продолжая занятия в училище, поселился на частной квартире вместе с товарищем по училищу А. И. Тотлебеном.

Михаил Михайлович, получив офицерский чин и вернувшись в Ревель, сделался женихом Э. Ф. Дитмар и поехал осенью 1841 г. в Москву, где надеялся получить деньги, необходимые для организации нового семейного быта. Поездка эта имела большое значение и для Федора Михайловича. В Москве М. М. Достоевский познакомился с опекуном П. А. Карепиным, недавно ставшим мужем старшей сестры Достоевских Варвары. Как достигший совершеннолетия и офицерского звания, М. М. Достоевский был назначен соопекуном над наследием братьев и сестер, ездил в Даровое, где, конечно, в деталях узнал о последних годах жизни и смерти отца. Он вывез семейные вещи, которые помогли ему устроить его денежные дела, и убедил Куманиных отправить с ним в Петербург младшего брата Андрея к Федору Михайловичу для подготовки к поступлению в высшее училище. В октябре братья приехали к Ф. М. Достоевскому в Петербург, где, по свидетельству Андрея Михайловича, старшие «уединялись» от младшего все время пребывания М. М. Достоевского в столице. Думаем, что здесь роль играло не «высокомерие» братьев, как объяснял Андрей Михайлович, а те семейные сведения, которые Михаил мог сообщить Федору, — о трагедии в Даровом, об отношении Куманиных, об облике нового родственника Карепина, с которым, как опекуном, обоим братьям пришлось иметь немало неприятных дел. Было и еще одно, которое сильно огорчило Михаила Михайловича. Его сообщение о женитьбе не только не было поддержано денежной помощью, но высмеяно московской родней. В письме из Ревеля 5 декабря 1841 г. он писал Федору Михайловичу: «Поездка в Москву сделала мне много вреда: насмешка уничтожила религию во Франции, во мне же она оставила какое-то горькое сомнение в моих силах. Мне кажется, что я делаю глупость, что женюсь; но, когда я посмотрю на Эмилию, когда вижу в глазах этого ангела детскую радость, мне становится ве-

село. Трудно мне будет, брат, особенно первый год, но что делать, как-нибудь перебьемся».

Для Федора Михайловича 1842 г. и первая половина 1843 г., несмотря на жизнь вне училища, нисколько не были благоприятны для творческой работы. В декабре 1841 г. он писал брату: «Веришь ли, я к тебе пишу в 3 часа утра, а прошлую ночь и совсем не ложился спать. Экзамены и занятия страшные. — Все спрашивают — и репутации потерять не хочется, — вот и зубришь, „с отвращением“, а зубришь»[11]. В августе 1842 г. Достоевский был по экзамену произведен в подпоручики и переведен в верхний офицерский класс, а 12 августа 1843 г., по окончании полного курса наук верхнего офицерского класса, был выпущен на действительную службу «в инженерный корпус и зачислен при С.-Петербургской инженерной команде с употреблением при Чертежной Инженерного департамента».

А. Е. Ризенкампф, который уже при первой встрече с Федором Михайловичем в 1835 г. был поражен его разговорами о литературе и своих литературных опытах, выражал удивление, что до 1844 г. Достоевский не выступил в печати, в то время как окружавшая его молодежь так или иначе заявила о себе в литературе: «Друзья Ф. М. Достоевского, как-то: Григорович в 1844 году поставил уже на сцену две комедии, разыгранные с успехом, Патон оканчивал перевод „Истории польского восстания Смиттена“, Михаил Михайлович оканчивал перевод „Дон-Карлоса“ Шиллера, я сам помещал разные статейки на немецком языке в „Магазине для немецких читателей в России“ Л. Т. Эльснера, а Федор Михайлович, глубоко веривший в свое литературное призвание, изготовил сотни мелких рассказов, но не успел еще составить ни одного вполне оконченного литературного труда»[12].

Между тем именно к концу 1843 г., когда закончились экзаменационные испытания и Достоевский освободился от чуждых ему обязанностей, пять лет висевших на нем, он углубился в работу и завершил ее, сообщив о ней брату лишь по ее окончании. С нею он вступил в литературу, в ней он запечатлел свою писательскую индивидуальность, свои поиски в разгадывании человеческих характеров, свой стиль изложения — хотя это был только перевод, а не оригинальное произведение. Но исследователь его творчества именно с этого труда начнет изучение образов и стиля его будущих великих творений.

Для 1830—1840 гг. — времени создания в России «толстых» журналов, ставящих себе одной из целей знакомство русского читателя с историей и культурой Западной Европы, — было характерно обилие в их книгах переводного материала. Романы и повести, рассказы и очерки, статьи исторические, литературно-критические, а также популярно-научного содержания в переводах, по большей части безымянных, составляли значительную часть журнальных книжек «Телескопа» и «Библиотеки для чте-

ния», «Отечественных записок», «Современника». Живой интерес читателя к этой продукции вызывал рост переводческих кадров. В их число вливались представители увлеченной литературой молодежи, которой было трудно рассчитывать на публикацию своих оригинальных произведений, но которая при сносном знании иностранного языка могла выступить в печати с переводами, спрос на которые как в редакциях журналов, так и в отдельных изданиях был велик. Переводы давали возможность этой молодежи не только какого-то творческого удовлетворения, но и небольшого заработка.

Так, за десять лет до опыта Достоевского начал свою журнально-литературную деятельность Белинский, издавший в 1833 г. перевод романа Поль де Кока «Магдалина», а потом поместивший в «Телескопе» и «Молве» ряд переводов статей, выбранных им из разных французских изданий. Собственный опыт Белинского способствовал его постоянному вниманию к работе русских переводчиков художественных произведений Западной Европы. Оно продолжалось все годы его деятельности и в результате сложилось в определенную теорию, которую он развивал и горячо защищал во многих статьях, особенно 40-х годов. Но, только начиная свой путь критика, он серьезно размышлял над проблемами перевода. В рецензии (1835 г.) на перевод романа Богемуса «Изгнанник» Белинский писал: «В самом деле у нас вообще слишком мало дорожат славою переводчика. А мне кажется, что теперь-то именно и должна бы в нашей литературе быть эпоха переводов... У нас только богатые люди и притом живущие в столицах могут пользоваться неисчерпаемыми сокровищами европейского гения; но сколько есть людей, даже в самых столицах, а тем более в провинциях, которые жаждут живой воды просвещения, но по недостатку в средствах или по незнанию языков не в состоянии утолить своей благородной жажды. Итак, нам надо больше переводов, как собственно ученых, так и художественных произведений».

Призывая к расширению переводческой деятельности, Белинский здесь же указывал на две основные стоящие перед ней задачи: «Мало того, чтобы только *переводить*, надо знать, *что* и *как* переводить». Уже в это время он подчеркивал важность отбора лучших произведений иностранной литературы для перевода и значение таких переводов для оценки русской литературы: «Кто прочтет и поймет хотя один роман Вальтера Скотта или Купера, тот будет в состоянии вполне оценить какого-нибудь „Димитрия Самозванца“ или какую-нибудь „Черную женщину...“». В ряде рецензий и статей следующих годов Белинский развивал мысли о том, *что* и *как* надо переводить из зарубежной художественной литературы [13].

К середине 1840-х годов переводческая деятельность широко распространилась и получила признание. В апреле 1844 г. Ф. М. Достоевский писал Михаилу Михайловичу, поощряя его переводить Шиллера: «Стихом ты владеешь прекрасно. И с фран-

цузского переводчик может быть с хлебом в Петербурге... да еще с каким... Отчего Струговщиков уже славен в нашей литературе? Переводами. А ты хуже его что ли переводишь? Тот нажил состояние. Ты бы давно мог, а прежде мы приняться не умели только». Летом того же года он в письме к брату вспоминал о несостоявшемся опыте Михаила Михайловича: «Помнишь — „Семелу" и „Германа и Доротею"? „Семелу" отказали в одном месте, и ты оставил перевод; а недавно „Семела" появилась в „Отечественных записках» в гадчайшем переводе, „Герман и Доротея" также, и оба имели успех. А отчего? Оттого что ты повесил свой нос не вовремя» [14].

Нам неизвестно, были ли у Ф. М. Достоевского более ранние опыты, но в конце 1843 г., ничего не сообщая в письмах брату о своей работе, он заканчивал перевод романа Бальзака «Eugénie Grandet», испытывая глубокое творческое удовлетворение и вместе с тем надеясь гонораром поправить свои материальные дела.

Если М. М. Достоевский, проживший пять лет в Ревеле, породнившийся с немецкой семьей, увлекавшийся поэзией Гете и Шиллера, естественно стал переводчиком с немецкого языка, то лингвистические знания и литературные интересы Ф. М. Достоевского лежали в области литературы Франции. Начав изучать французский язык сперва в семье, дома, а потом в пансионе у француза Сушара, продолжая его изучение в пансионе Чермака у Пере и Дельсаля, Достоевский, вероятно, овладел не только грамматикой, но и литературной, и бытовой речью. Интересно свидетельство А. М. Достоевского о надзирателе и гувернере пансиона Чермака Манго: «Это был мужчина лет 45-ти, очень добродушный, а главное, ровный господин, никогда он, бывало, не вспылит, а всегда хладнокровный и отходчивый. Обязанность его, кроме надзирательства, была читать с нами по-французски; действительно читал он мастерски, так что и в высших классах часто занимался этим, но по части грамматики был плоховат и не брался за нее. Он был барабанщик великой армии в 1812 году, был взят в плен и с тех пор оставался в Москве. Так как он очень правильно говорил по-французски и отлично читал, то ему было дозволено быть надзирателем или гувернером. У Чермака он был уже очень давно и считался исправным надзирателем».

Возможно, что французская речь звучала и между воспитанниками. Кроме упоминавшегося выше Ламберта, среди них был Александр Пере и три брата Дюлу (Филипп, Юлий и Иосиф). Была возможность в пансионе получать для чтения литературу на французском языке [15].

В первых кондукторских классах в Инженерном училище занятия по французскому языку продолжались. Здесь, надо думать, какую-то роль в совершенствовании французской речи сыграл для Достоевского новый товарищ его Д. В. Григорович. Француз по матери, он до поступления в училище плохо владел русской

речью и признавался в своем «неуменьи выражать на русском языке то, что хотелось». Он вспоминал: «Первые литературные сочинения, читанные мной на русском языке, были мне сообщены Достоевским». Но французскую литературу он знал и разделял с Достоевским его увлечение как классиками, так и современными писателями Франции. В своих воспоминаниях он писал: «Бальзак был любимым нашим писателем, говорю нашим и потому, что оба мы одинаково им зачитывались, считая его неизмеримо выше всех французских писателей». Продолжая после окончания Инженерного училища и выхода в отставку дружески общаться с Григоровичем, Достоевский имел возможность и в период работы над переводом «Евгении Гранде» консультировать товарища в затруднительных случаях. Как показал Л. П. Гроссман в своей работе 1935 г. о переводе Достоевского, возможности переводчиков в первой половине XIX в. пользоваться словарями и справочниками были весьма ограничены, а перед Достоевским избранный им французский текст ставил сложные задачи чуть ли не на каждой странице [16].

Как объясняется выбор Достоевским в 1843 г. для перевода романа, не только не являвшегося нашумевшей новинкой, но уже не раз переизданного во Франции за десять лет его существования? Еще в 1835 г. в «Библиотеке для чтения», журнале, который, возможно с 1836 г., выписывала семья Достоевских и книги которого, по воспоминаниям Андрея Михайловича, «были исключительно достоянием братьев», Достоевский мог прочитать перевод только что появившегося «Отца Горио», а также хвалебный отзыв о вышедшей годом раньше «Евгении Гранде». И позднее в довольно обильных статьях о Бальзаке, которые появлялись в русской журналистике 1830-х—начала 1840-х годов, этот роман постоянно назывался как одно из лучших произведений писателя, а между тем в русском переводе он не был издан.

Достоевский внимательно следил за публикациями сочинений Бальзака, и, конечно, не только переведенных, но и оригинальных, когда 9 августа 1838 г. писал брату из Инженерного училища, что «прочел почти всего Бальзака», и дал следующее восторженное определение своего понимания и оценки значения французского писателя: «Бальзак велик! Его характеры — произведения ума вселенной! Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили борением своим такую развязку в душе человека». Эта оценка и ее роль в сознании Достоевского особенно важны в сопоставлении с его же приводимым признанием брату, написанным через год: «Учиться, „что значит — человек и жизнь“, — в этом довольно успеваю я; учить характеры могу из писателей, с которыми лучшая часть жизни моей протекает свободно и радостно» (16 августа 1839 г.)

Итак, творчество Бальзака нужно Достоевскому для изучения «человека и жизни», через изучение характеров и их становления «в душе человека». Именно для выполнения этой задачи он нахо-

дил в «Евгении Гранде» ценнейший материал. Но вряд ли этот роман соответствовал той романтической формуле, которой в 1838 г. Достоевский определил значение образов Бальзака. Конечно, яркое изображение таких черт характера, как страсть накопления, скупость, порабощение слабых натур сильными, можно рассматривать в мировом и вневременном аспекте («произведения ума вселенной», «целые тысячелетия»), но в романе Бальзака они показаны именно в самой непосредственной зависимости от «духа времени», который и «приготовил такую развязку в душе человека». И надо думать, что в 1843 г. Достоевский, знавший к этому времени наизусть Гоголя, читавший Белинского, оценил в характерах выбранного романа не столько их тысячелетние» корни, сколько ту историко-социальную основу, которую так последовательно вскрывал Бальзак. Выбор Достоевского свидетельствовал о направленности его литературного вкуса, об отходе от романтики, характерной для 1830-х годов, о требованиях, которые он теперь предъявлял художественному творчеству. «Евгения Гранде» — роман несомненно психологический, анализирующий духовную жизнь героев, но это и роман социальный, включенный автором в определенную рубрику «Человеческой комедии», посвященную изображению общественной жизни Франции.

Высокие художественные достоинства, оцененные Достоевским, психологическое и социальное содержание романа определили его выбор материала для перевода. Но проявленное переводчиком творческое отношение к тексту, его глубокое авторское удовлетворение при окончании этой работы наводят на некоторые предположения, что на выбор романа воздействовали еще какие-то личные переживания. Брату он ничего не писал о работе и, только окончив ее, сообщил в начале 1844 г.: «Нужно тебе знать, что на праздниках я перевел Евгению Grandet Бальзака (чудо! чудо!). Перевод бесподобный» [17].

Не сыграли ли какую-то роль уже в этом первом творческом труде Достоевского те условия, которые он много позднее определил как обязательные для создания романа, а именно: пишущему «необходимо запастись прежде всего *одним* или *несколькими* сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно»? Если в 1847 г., читая повесть Нестроева «Сбоев» «о московском семействе среднего, темного круга», о «паническом страхе», в котором жило это семейство под неустанным надзором «доброго» Ивана Кирилловича, своим характером доводящего до злой чахотки «бедную» Анну Ивановну, а после жалующегося на ее смерть, Достоевский точно сам переживал описанное и восклицал: «Да, много припомнилось», — то не возникали ли у него подобные аналогии с личным опытом, когда он читал роман Бальзака? Конечно, разбогатевший бочар, миллионер Гранде и его финансовые операции не могут быть сопоставлены с образом скромного штаб-лекаря М. А. Достоевского и его жизнью. Но тщательно выписанный Бальзаком характер Гранде, мелочного ско-

пидома, следящего за бытом, расходами семьи, его боязнь малейшего урона, его скаредность, его давление на зависящих от его зоркого взгляда женщин, его грубые шутки и упреки рядом с сентиментальными излияниями были хорошо знакомы Достоевскому по обстановке детских и юношеских лет. Он наблюдал нелегкую жизнь матери, ее гибель, вызвавшую бурную реакцию отца. Тенденция Бальзака, в которой он признавался в заключении романа, не попавшем в перевод, — не жалеть золота на ореол вокруг голов своих страдалиц и чрезмерно сгустить тени вокруг «вполне материального» образа старика — по существу была близка Достоевскому, как это обнаруживает анализ перевода. В предположениях о глубокой личной тяге к образам бальзаковского романа укрепляет и тот факт, что, окончив его перевод и отдавшись писанию своего первого романа, при изображении старика и молодой девушки он в какой-то степени использует опыт бальзаковского романа, соединяя его с памятью о годах, проведенных в родной семье [18].

Думаем, что не столько массовое увлечение русских читателей в конце 30-х годов Бальзаком, сменившееся в начале 1840 г. значительно более критической его оценкой, не пребывание Бальзака в Петербурге в 1843 г., вызвавшее вспышку повышенного интереса и оваций по адресу европейской знаменитости, сколько высокохудожественное достоинство романа, близкое Достоевскому социально-психологическое содержание его характеров были причиной выбора им для перевода этого романа Бальзака. Роман свидетельствовал о переходе его автора от романтического отображения действительности к реализму, о чем еще в 1835 г. писал французский критик Ф. Давен в предисловии к отдельному изданию «Этюдов о нравах»: «„Евгения Гранде“ знаменует собою революцию, которую совершил г-н Бальзак в жанре романа. Здесь нашла свое завершение победа правды в искусстве. Здесь изображена драма, происходящая в обыденной, повседневной жизни... Словом, здесь описана жизнь, как она есть, и книга эта такова, каким должен быть настоящий роман» [19].

Первой задачей исследователя перевода Достоевского является установление того текста романа Бальзака, над которым работал переводчик. Для этого надо кратко коснуться истории издания романа в оригинале. 17 сентября 1833 г. в Париже в журнале «L'Europe littéraire» было напечатано начало романа, но продолжения не последовало. В 1834 г. роман был опубликован полностью со следующим обозначением на титуле: «Scènes de la vie de Province» par M. de Balzac. Premier volume. «Eugénie Grandet». Этим романом Бальзак начинал новый цикл, «Etudes de Moeurs au XIX siècle» [20].

Книга начиналась небольшим введением (2 страницы) к новому циклу «Этюдов о нравах», посвященному жизни в провинции, а далее следовал роман с кратким предисловием и послесловием, датированными 1833 г. Роман делился на семь глав с на-

именованиями, отражающими их содержание. Переизданный в 1835 г. в составе цикла «Этюдов о нравах» и отдельным изданием в 1839 г., роман печатался уже без предисловия и послесловия, но в издании 1839 г. было внесено его посвящение «A Maria» и отдельные исправления в тексте. В 1843 г. Бальзак включил «Евгению Гранде» в пятый том первого издания «Человеческой комедии» (первый том «Сцен провинциальной жизни»), снял деление романа на главы и внес вновь редакционные изменения. Одним из изменений было уменьшение размера состояния Гранде и приданого Евгении.

По сведениям исследователя истории творчества Бальзака Шарля де Лованжуля, автора «Евгении Гранде» друзья упрекали в несоразмерной величине богатств Гранде, но, хотя Бальзак защищался, указывая на подлинные факты, он все же обещал в письме к Zulma Carraud в следующих изданиях понизить цифры доходов и оценки состояния сомюрского богача. Констатируя, что в переводе Достоевского приведены более высокие цифры, чем в издании 1839 г., что у Достоевского сохранено название глав, бывшее в первом издании, и заключительная фраза из послесловия Бальзака, которое только и было в издании 1834 г., мы можем с уверенностью утверждать, что Достоевский делал свой перевод с этого первого издания романа [21].

Отсутствие внимания к тексту оригинала, которым пользовался Достоевский, привело первого исследователя перевода Л. П. Гроссмана к ошибочным заключениям о работе Достоевского. Приведя заключительные строки перевода, в которых Евгения сравнивается с античной статуей, упавшей в море и навсегда исчезнувшей, Л. П. Гроссман писал: «Прибавлены отсутствующие в оригинале строки». Тогда как эти строки были у Бальзака в издании 1834 г. и позднее им сняты.

Г. Н. Поспелов, сопоставляя перевод Достоевского с изданием «Eugénie Grandet» 1927 г. (Paris Calman Levy edit.), где, конечно, печатался ставший каноническим позднейший текст романа из «Человеческой комедии», и находя в переводе разницу с «оригиналом» (вместо «100, 200 франков» — «500, 1000, даже 2000 франков»), замечает: «Переводчик... удесятеряет сумму, которую Гранде готов истратить на жену», — тогда как это уменьшение сумм, как было выше сказано, последовательно проведено самим Бальзаком в позднейших изданиях по всему роману [22].

Говоря о сопоставлении перевода Достоевского с оригиналом романа Бальзака, мы должны указать еще на одну «опасность», которая может сделать ненаучными выводы исследователя. Перевод был опубликован в «Репертуаре и Пантеоне» 1844 г. в книгах 6 и 7, и, конечно, именно этот текст надлежит сравнивать. Но, к сожалению, названные выше исследователи перевода доверились его позднейшим перепечаткам и пользовались ими. Тотчас после смерти Достоевского, в первом томе за 1883 г. в журнале «Изящная литература» был перепечатан перевод Достоевского

со следующим заявлением: «От редакции. Помещенный в этой книжке роман Бальзака в переводе Ф. М. Достоевского переведен нашим знаменитым романистом в 1842 г., в самом начале его литературной деятельности, и был напечатан в „Пантеоне“ без имени переводчика. Перепечатывая этот труд — в настоящее время библиографическую редкость, почти никому не доступную и, следовательно, имеющую весь интерес новизны, — мы сохранили все особенности перевода, уже в то время обличавшего руку мастера».

Можно предположить, что инициатором этой перепечатки, так же как некоторой редакционой правки, был давний друг Достоевского, помнивший его юные годы, — А. Н. Плещеев. Он был энергичным участником «Изящной литературы», поместившим в ее первых нумерах 1883 г. переводы романа Доде «Элина Эбсен», рассказа Конне «Два паяца» и стихотворения «Исцеление» (из Эрнста Цательмана).

Перевод Достоевского передан бережно, но несомненно, что редакция до известной степени сверяла его текст с позднейшим, ставшим каноническим текстом, каким с 1843 г. он вошел в издание «Человеческой комедии». При перепечатке перевода Достоевского не воспроизведено деление на главы и их наименование, текст подвергнут небольшой стилистической правке. Вот, например, отрывок из «Заключения»:

«Репертуар и Пантеон»	*«Изящная литература»*
Она еще была хороша, как женщина около сорока лет.	Она еще была хороша, но хороша, как женщина в этом возрасте.
У него было 140 арпанов земли.	У него было 140 десятин земли.
Сунув оборванному санкюлоту	Сунув суровому санкюлоту [23].

Хотя мы не проводили полного сличения перепечатки, но должны отметить встретившиеся нам в ней вставки текста, не бывшего в «Репертуаре и Пантеоне», а также и изъятия.

В том же 1883 г. этот же перевод «Евгении Гранде» был выпущен журналом «Изящная литература» отдельным изданием. В 1897 г. перевод Достоевского был включен в серию «Собрания сочинений иностранных писателей, издание братьев Пантелеевых». Это было дешевое издание (48 книг в год — 12 руб.), тесно, почти без полей напечатанное, на серой бумаге. «Евгения Гранде» вошла в том девятый Собрания сочинений Бальзака, вместе с его «Деревенским священником» в переводе М. А. Бекетовой. К заглавию «Евгении Гранде» сделана сноска, содержание которой было явно взято из редакционного примечания «Изящной литературы» с повторением той же ошибки в дате: «Этот роман Бальзака переведен Ф. М. Достоевским в 1842 г., в самом начале его литературной деятельности, и был напечатан в „Пантеоне“ без имени переводчика. Ред.».

Можно утверждать, что издание Пантелеева было сделано по изданию «Изящной литературы», так как повторяло его отличия

от текста «Репертуара и Пантеона». Не сверяя всего текста, мы все же должны отметить, что редактор издания Пантелеева С. С. Трубачев внес еще добавочную стилистическую правку в перевод Достоевского, например:

«Репертуар и Пантеон» и «Изящная литература»	*издание Пантелеева*
совокупив свой капитал	соединив свой капитал
в революцию, взволновавшую край в 1789 году	в революцию 1789 года
своей... мостовой... своею теснотой и т. п.	мостовой... теснотою...

Именно тексту перевода Достоевского в издании Пантелеева, подвергнувшегося двойной правке, «повезло» в работах исследователей. Им пользовался при сличении с французским оригиналом Г. Н. Поспелов (указано в его статье), его перепечатал в издании 1918 г. (*Достоевский Ф. М.* Собр. соч. М.: Просвещение, т. XXIV) Л. П. Гроссман, и к нему же он вернулся в 1935 г. в издании «Academia». Казалось бы, что последнее издание с его особым вниманием к истории перевода Достоевского и переводчику должно бы дать тщательно выверенный текст по «Репертуару и Пантеону». Но, к сожалению, это далеко не так.

Л. П. Гроссман, ставя себе задачей дать читателям высоко оцененный им труд Достоевского, которому он тут же посвятил специальную статью, считал себя в то же время обязанным сообщить читателю и тот окончательный текст романа, каким Бальзак печатал его в «Человеческой комедии». Л. П. Гроссман так изложил свои принципы издания текста романа: «При пересмотре перевода Достоевского для настоящего издания мы поставили себе целью прежде всего восполнить все пропуски, как вызванные обращением Достоевского к ранней редакции повести, так и цензурно-редакционными сокращениями и, наконец, собственными соображениями переводчика. Мы старались в остальном не относиться придирчиво к тексту Достоевского, уважая его систему свободного перевода, часто дающую положительные результаты, и допускали свое вмешательство лишь в тех случаях, когда свободный перевод переходил в пересказ и заметно отступал от оригинала. Мы считали необходимым также исправлять вкравшиеся в текст Достоевского ошибки... При передаче имен и всех цифровых данных романа мы придерживались окончательного текста «Человеческой комедии», считая правильнее в этом вопросе следовать „последней воле“ Бальзака, пересмотревшего свою повесть через десять лет после ее написания в полном расцвете своего мастерства. Такое решение показалось нам тем убедительнее, что все эти изменения остаются без влияния на основной стиль перевода Достоевского. В остальном окончательная редакция «Eugénie Grandet» служила нам главной основой, за исключением двух-трех мест, где замена ранней версии в пере-

воде Достоевского позднейшим вариантом могла бы привести к ухудшению русского текста... Все эти места отмечены и описаны в предлагаемых текстологических примечаниях» (с. 276).

В приложении к тексту романа редактор поместил свыше четырехсот «вариантов», т. е. указания на страницы и строчки, где или «вписано» в текст Достоевского то, чего в нем не было, или произведена замена «вместо» текста Достоевского, который из основного перенесен в варианты, но перенесен не всегда и не полностью. А главное, что окончательно обесценивает эту публикацию, это то, что «варианты» даются не к тексту «Репертуара и Пантеона», а все к тому же тексту издания Пантелеева, который и здесь воспроизведен Л. П. Гроссманом со всеми его дефектами. Таким образом, контаминированный текст в издании «Academia» не передал ни творческий труд Достоевского над переводом, ни окончательный авторский, ставший каноническим текст романа Бальзака.

После отступления, касающегося вопроса, какие тексты следует сопоставлять, изучая перевод Достоевского, перейдем к анализу наших наблюдений при сравнении текста «Репертуара и Пантеона» с текстом издания бальзаковского романа 1834 г. По воспоминаниям Григоровича известно, что перевод подвергся в журнале «сокращению едва ли не на треть» по сравнению с подлинником, чем был очень огорчен переводчик. Однако наше сличение текстов хотя и обнаружило некоторые сокращения в русском тексте, но оно не соответствует заявлению Григоровича. Это не более 10—15 страниц при 150 страницах полного текста. На этих сокращениях надо остановиться, они разного происхождения. Выброшено предисловие и послесловие (кроме последних слов о статуе, упавшей в море), сжата последняя часть, начиная со вдовства Евгении. Это наиболее значительные сокращения, а остальные размером в несколько строк. Некоторые из них связаны с «духовной» цензурой. Например, из романа выброшены все непочтительные замечания старика Гранде и Шарля о религии, сравнение Евгении с девой Марией, которое Бальзак делает от своего лица, ирония по поводу набожности г-жи Гранде и т. п. Следующий разговор Шарля с Нанетой о золотом халате отсутствует в переводе, а на его месте стоит многоточие:

«— Sainte Vièrge! quel beau devant-d'autel ça ferait pour la paroise! Mais mon cher mignon monsieur, donnez donc ça à l'église, vous sauverez votre âme, tandis que ça vous la fera perdre!

— Si ma robe vous plait tant, vous sauverez votre âme. Je suis trop chrétien pour vous la refuser en m'en allant et vous pourrez en faire ce que vous voudraiz» *.

(Изд. 1834 г., с. 96; «Репертуар и Пантеон», т. VI, с. 426).

---

* — Матерь божья! Что за прекрасный вышел бы из этого покров на престол. Непременно, барин мой миленький, отдайте его в церковь. Вы душу спасете, а этак ее и погубите...

Из перевода Достоевского был удален значительный для характеристики Евгении мотив, вероятно, по условно-нравственным соображениям, для соблюдения «приличия». Это условие, которое она поставила жениху, выходя замуж за президента, и которое муж соблюдал в семейной жизни (текст в изд. 1834 г., с. 317 и в позднейших):

«...faites-mois l'avantage de venir avec moi, madame Cornoiller.

— Monsieur le curé, dit Eugénie avec un noble sang-froid que lui donne la pensée, qu'elle allait exprimer, serait ce pècher que de demeurer en état de virginité dans le mariage?

— Ceci est un cas de conscience, dont je ne connait pas la solution. Si vous voulez savoir ce qu'en pense en sa somme de Matrimonio le célèbre Sanchez, je pourrai vous le dire demain.

Et le curé se retira» *.

В переводе Достоевского в «Репертуаре и Пантеоне» (т. VII, с. 120) это место читается так: «Да, госпожа Корнулье, угодно вам будет зайти за ними?

Священник удалился».

Далее в тексте изд. 1834 г., с. 319:

«— Monsieur le président, lui dit Eugénie d'une voix emue quand ils furent seuls, je sais ce que vous plait en moi. Jurez de me laisser libre pendant toute ma vie, de ne me rappeler aucun de devoirs de mariage, et ma main est à vous.—

— Oh! reprit-elle en le voyant...» **.

В переводе Достоевского («Репертуар и Пантеон», т. VII, с. 120):

«— Господин президент, — сказала дрожащим голосом Евгения, когда оба остались одни, — я знаю, что вам во мне нравится... Вот вам рука моя. О, — сказала она, видя, что...» [24].

После сообщения о скоропостижной смерти мужа Евгении Бальзак поместил две страницы, в которых, глубоко осуждая алчность президента, особенно винил его за «низкое безразличие» к судьбе жены и его корыстное использование данного ей обе-

---

— А уж если мой халат вам так нравится, можете спасти свою душу. Я хороший христианин и подарю его вам, когда буду уезжать; делайте из него все, что вам заблагорассудится (*Бальзак О.* Собр. соч., т. VI. М., 1960).

* ...Будьте любезны пойти со мной, госпожа Корнуайе.

— Господин кюре, — сказала Евгения с благородным самообладанием, внушенным ей мыслью, которую она собиралась выразить, — было бы это грехом оставаться в состоянии девства, будучи замужем?

— Это вопрос совести, решение которого мне неизвестно. Если вы желаете знать, что думает об этом в своем компендиуме «De matrimonio» («О браке») знаменитый Санчес, я мог бы сказать вам это завтра.

Кюре ушел.

** Я знаю, что нравится вам во мне. Поклянитесь мне оставить меня свободной на всю мою жизнь, не напоминать мне ни об одном из прав, какие женитьба дала бы вам на меня, и рука моя — ваша. О, — продолжала она, видя...

щания. Бальзак описал злословие женского общества по этому поводу и благородное поведение Евгении, хорошо понимавшей причины поведения мужа, не желавшего иметь наследников. Не приводя эти страницы здесь[25], укажем, что Достоевским они были коротко изложены с глубоким уважением к героине романа и без той иронии, с которой в них Бальзак говорит о вмешательстве бога и провидения в семейные дела Гранде. Этот *текст Достоевского*, помещенный в «Репертуаре и Пантеоне» (т. VII, с. 123—124) и *нигде не перепечатывавшийся*, приводим далее полностью. Хотя местами он буквально воспроизводит слова Бальзака, но в целом оставляет для читателя неясным основной смысл протекавшей драмы, так как уже ранее были выброшены сведения об условиях, поставленных президенту Евгенией. И, может быть, не столько сокращение текста, сколько это явное искажение замысла Бальзака, обеднение образа Евгении огорчало переводчика. Вот текст, напечатанный в «Репертуаре и Пантеоне»:

«...он скоропостижно умер. Без сомнения, бог, всегда справедливый и никогда напрасно не карающий, хотел наказать его за корыстные и низкие расчеты его на золото Евгении. В свадебном контракте его же сочинения находилась статья, по которой каждый из супругов, в случае смерти одного из них, делался прямым, неоспоримым и неограниченным наследником другого, если, разумеется, не будет законных детей.

Евгения, наученная несчастием верному взгляду и тонкому суждению, понимала совершенно своего мужа. Она ясно видела, что тот ждал ее смерти, чтобы поскорее обладать одному страшным богатством Евгении, увеличенным двумя миллионами дяди его аббата, который, наконец, в свою очередь предстал перед богом. — Евгения жалела президента. Провидение отмстило его за низкое поведение президента, слишком свято державшего свое слово, данное бедной девушке, взявшей его в припадке отчаяния. Президенту не хотелось иметь наследника. Ему хотелось почестей и миллионов.

Бог пролил золото и блага земные перед бедным ангелом, которого он послал на землю заслужить свою долю небесную.

Евгения жила мыслями, молитвами, помогала бедным, утешала несчастных...

Госпожа де Бонфон овдовела в 37 лет от роду...»

Некоторые сокращения текста в переводе касаются местных, провинциальных выражений, которыми пользовался Бальзак, приводя тут же пояснение этих выражений. Так, например, Нанета говорит о парижанах: «Ca mangera de la frippe. En Anjou la frippe, mot du lexique populaire, exprime...» *. И далее несколько

---

* Они едят la fripps. В Анжу la fripps, слово народного языка, обозначает... (то, что намазывают на хлеб, масло, варенье и др., и что дети слизывают с хлеба).

строк объяснения. У Достоевского la fripe переведено «пожирнее», а объяснение выброшено. Выброшены также простонародные шутки Нанеты, песенки старика Гранде, теряющие в переводе смысл. Сокращены также без особого ущерба для текста подробные описания некоторых предметов, например калитки дома Гранде, костюмов Шарля, часов господина Грассена и т. п. Так как эти сокращения касаются наружного вида вещей и не встречаются в детальных психологических характеристиках, то, возможно, они принадлежат не редакции, а самому переводчику.

К изменениям текста, в которых не участвовала творческая воля Достоевского, надо отнести те неточности перевода, которые он вносил сам вследствие недостаточной внимательности или понимания языка оригинала. Искажения вследствие небрежности или непонимания довольно многочисленны и касаются иногда смысла отдельного выражения или целой фразы. Например, в начале перевода романа правильно говорится о медальоне с портретом матери Шарля. Но в конце, где Евгения, по Бальзаку, любуется портретом тетки, видя в ее чертах сходство с Шарлем, у Достоевского она с матерью любуется собственным его портретом (франц. текст 1834 г., с. 271): «se donnaient le plaisir de voir le portrait de Charles, en examinant celui de sa mère» *. В «Репертуаре и Пантеоне» (т. VII, с. 99): «рассматривали портрет Шарля, были довольны, счастливы».

То же французский текст (с. 236) и русский (с. 81).

Иногда слова, произнесенные Евгенией или матерью, приписываются отцу и вместо диалога получается его монолог:

У Бальзака (с. 243):

« — Montre-moi ton or, fifille.

— Ah! bah! il fait trop froid, dejeunons.

— Eh bien, après, hein. . .»

У Достоевского:

«А покажи-ка мне, жизненочек, свое золото? а? дружочек дочечка! Бррр, как холодно! Ну начнемте же завтракать» (т. VII, с. 85).

У Бальзака (с. 244):

«— Manges-en donc, ma femme. Ca nourrit au moins pour deux jours.

— Je n'ai pas faim. Je suis toute malingre, tu la sais bien. . .»

У Достоевского:

«Отведай-ка, женушка, отведай. Этим куском можно по крайней мере два дня быть сытым. Я сам, впрочем, не голоден, много не ем, всякий знает!» (т. VII, с. 85).

Вероятно, особенно сложным было для перевода изложение спекуляций Гранде, его деловых расчетов и предприятий. Часто

* наслаждались портретом Шарля, изучая портрет его матери.

такие места обнаруживают неясное понимание смысла и туманное, а иногда и неверное изложение. Приведем краткий пример. На вопрос Евгении, что такое банкротство, отец отвечает: «Faire faillite, Eugénie, est un vol, que la loi prend malheureusement sous sa protection...» * В переводе читаем: «Это кража, которая, к несчастию, вне закона». Непониманием построения, а с ним и смысла фразы надо объяснить такой перевод следующих слов Шарля: «J'irai chercher la fortune sous les climats les plus meurtrièrs. Sous de tels cieux, elle est sûre et prompte, m'a-t-on dit» **.

У Достоевского:

«Я еду туда, где убийственнее климат, где смерть вернее и скорее».

Плохо понятых и неточно переведенных выражений много, например: «Un homme à particule» (человек с дворянской частицей при фамилии) — «человек с надеждами»; «Les rez de chaussée» — «подвальные этажи», «J'ai si mal vecu en route» (питался, кормился) — «я так плохо жил в дороге» и т. п.

Все подобные недосмотры и мелкие искажения ничтожны по сравнению с теми изменениями текста Бальзака, которые вносил в него при переводе Достоевский как будущий глубоко оригинальный творец-художник.

Прежде чем приступить к изложению и анализу наблюдений над особенностями перевода Достоевского, отражающими его творческую индивидуальность, позволю себе сказать несколько слов об истории этого моего исследования.

В 1924—1927 гг., работая над кандидатской диссертацией «Творчество молодого Достоевского» (в первом отряде советской аспирантуры РАНИОН), я поставила себе задачей после изучения жизни и творчества Бальзака провести анализ перевода Достоевского. Эту главу диссертации я прочитала в виде доклада на соединенном заседании русской и западной секций Института языка и литературы 26 мая 1925 г., сопроводив доклад представлением развернутых его тезисов. В том же году этот доклад был мною прочитан в Комиссии по изучению Достоевского в Государственной академии художественных наук (ГАХН), где в прениях участвовал Л. П. Гроссман, в суждения которого о переводе (книга «Библиотека Достоевского») я внесла фактические поправки. В начале 1927 г. в Москву приехал крупнейший французский славист, знаток русской литературы Андрэ Мазон, которому П. Н. Сакулин, мой руководитель по аспирантуре, сообщил

* Банкротство, Евгения, это кража, которой, к несчастию, покровительствует закон.
** Я еду искать счастья туда, где климат самый убийственный. Под теми небесами, как мне говорят, оно <достижимо> вернее и скорее.

о моем анализе перевода Достоевским текста романа Бальзака. По просьбе А. Мазона я вручила ему копию доклада и вскоре получила из Парижа следующее его письмо на бумаге с грифом: «Comité français des relations scientifiques aveç la Russie, Paris, le 2 mai 1927».

В любезном письме А. Мазон писал:

«En principe l'article m'intéresse, et je le retiens pour la *Revue des Etudes slaves*... J'espère bien qu'après cette première contribution, donc l'intéret n'est pas moindre pour l'histoire de la littérature française que pour celle de la littérature russe, vous continuerez à être de notre» *.

К сожалению, ни в документах моего архива, ни в своей памяти я не нахожу сведений о дальнейшей судьбе этого предложения. В советской печати я не публиковала эту работу, так как надеялась в будущем опубликовать всю диссертацию в целом.

В конце 1928 г. в «Ученых записках Института языка и литературы РАНИОН» (т. II) появилась статья Г. Н. Поспелова, бывшего одновременно со мной аспирантом института, на ту же тему: «„Eugénie Grandet“ Бальзака в переводе Ф. М. Достоевского». Она содержит ряд интересных, иных, чем у меня, сопоставлений русского и французского текстов, но должна напомнить, что они требуют критической проверки, так как Г. Н. Поспелов, по его собственным указаниям в статье, пользовался не теми источниками текстов (французского и русского), которые, по нашему мнению, необходимы (см. с. 106—110). О некоторых несогласиях моих с выводами Г. Н. Поспелова я скажу далее.

Хотя отличия перевода Достоевского от оригинала многочисленны и велики, перевод нельзя характеризовать как вольный, «свободный». Точная передача текста всегда преследовалась переводчиком и иногда, но редко, приводила его к буквализмам, несвойственным русскому языку. Почти каждую фразу Достоевский начинает по Бальзаку, но в его переложении она усложняется, обрастает новыми образами, новыми признаками образов, и бальзаковский текст тонет в плоти, которой одевает его Достоевский. Приводим несколько наглядных примеров того, как путем мелких добавлений, расширений текста перевод создает новое впечатление, отличное от того, которое вызывает французский оригинал.

«— Vous-avez donç lu Faublas? — спрашивает аббат у Бальзака,

---

* В принципе статья меня интересует, и я ее удерживаю для *«Revue des Etudes slaves»*. Надеюсь, что после этого первого вклада, интерес которого не менее значителен как для французской литературы, так и для русской, вы продолжите работу с нами.

«Так вы читали Фоблаза? — сказал аббат сладким голосом», — переводит Достоевский и своим добавлением ярко характеризует говорящее лицо.

«Ces médecins, une fois qu'ils ont mis le pied chez vous, ils viennent de cinq à six fois par jour» * — читаем у Бальзака. У Достоевского то же место передано образнее, живее, народнее:

«Да знаете ли, что впусти раз к себе этих лекаришек, так их и палкой не выгонишь, будут таскаться по пяти, по десяти раз в день...» Это в речи отца Гранде. А вот как мимоходом данное Бальзаком сравнение умирающей жены с осенними листьями разрастается у Достоевского в целую романтическую картину:

«Elle était frêle autant que les feuilles des arbres en automne; et les rayons du ciel la faisaient resplendir comme ces feuilles que le soleil traverse et dore» **.

У Достоевского:

«Ее существование походило на трепетание осеннего, желтого листка, хрупкого, иссохшего, едва державшегося на дереве. И как солнце, пробиваясь лучами сквозь редкие осенние листы, осыпает их златом и пурпуром, так и лучи небесного блаженства и духовного спокойствия озаряли лицо умирающей страдалицы».

Не удовлетворяясь кратким прозаическим сообщением Бальзака о каком-нибудь действии, переводчик вводит свои метафоры, народные поговорки:

«En reveillant de ses meditations...»

Стряхнув с себя нули, цифры и расчеты...

«de voir son neveu s'engager dans cette affaire...»

видя как неосторожно племянник его протягивает шею в петлю...***

— «Peut-être sorti de Saumur le bonhomme n'aurait fait qu'une pauvre figure...»

— Может быть, чудак был рожден дивить только свой муравейник...****

Как видно из этих примеров, Достоевский вносил в перевод ряд мелких образных выражений, характеризовавших лицо, о котором шла речь, и содействовавших определенному представлению о нем. Этому способствовал и особый строй речи персонажей, их разговорный язык.

Наиболее распространенный прием, употребляемый Достоевским при переводе текста Бальзака, это введение новых синонимов или выражений, близких к ним. Два, три однородных члена предложения вместо одного, данного Бальзаком, это почти неиз-

---

* Эти лекари, раз попав к вам, станут приходить пять-шесть раз в день.

** Она была хрупка, как древесные листья осенью; и небесные лучи вызывали в ней сияние, как в этих листьях, когда их пронизывает и золотит солнце.

*** — Очнувшись от своих размышлений...
— видя, как его племянник ввязывается в это дело...

**** — может быть, вне Сомюра чудак представлялся бы жалкой фигурой...

бежно встречается в каждой фразе перевода. Приведем краткие примеры.

les landes les plus ternes...	сухие, бесплодные, обнаженные степи...
Venu pour mesurer...	Пришел обвешивать и обмеривать
...lui paraissait une chose contre nature...	...казалось ему делом неестественным, противным законам природы...
...le notaire épouvanté...	...остолбеневшего от изумления и испуга нотариуса...

Часто второй из однородных членов слабее первого и является лишним, не усиливающим, а ослабляющим впечатление, например: «жаркая, теплая молитва», «жестокое, безжалостное объяснение» (l'atroce explication).

Вводимые синонимы получают у Достоевского свои определения, и предложение из простого иногда обращается в очень сложное:

Les voiles de la politesse...*	Ледяную кору приличий и холодок вежливости...

Особенно это заметно при характеристике романтической настроенности Евгении:

Cet amour... ne lui causait que des douleurs, melées de frêles espérances **.	Эта любовь... томила, тяготила сердце ее одною болью и горечью, а в будущем едва блистала отдаленною шаткою надеждою.

Здесь каждый член бальзаковского предложения получил в спутники по синониму.

Вторым чрезвычайно распространенным приемом является повторение в различных формах и видах, которое усиливает утверждение, его эмоциональное звучание. Иногда это просто двукратное повторение одного слова:

Je ne veux de ces choses-là!	Не хочу! Не хочу этого!
Le vingt pour cent à gagner le tentaient	Очень, очень соблазняли его проценты...

Но чаще — это повторение одного определяемого с различными определениями:

...l'amitié sera le seul sentiment...	...только одну дружбу, одну бескорыстную дружбу...
C'est une bonne affaire...	Это, славное дело, да, это прекрасная сделка, бесподобная сделка...
Mais pour mon fils...	Но для сына, брат, для сына моего...
Grandet, tu es mon ainé...	Гранде, ты брат мой, ты старший брат мой...
Depuis ce matin...	Утром, еще сегодня утром...
...sa supériorité de père de famille...	...свое достоинство, достоинство главы семьи...

* Покровы учтивости.

** Эта любовь... лишь причиняла ей огорчения, смешанные с хрупкими надеждами.

Иногда, напротив, повторяется определение в связи с разными определяемыми:

... nouvelles preuves...	... новых доказательств, новых примеров благородства...
Il était dominé par l'idée de reparaitre...	Одна мысль, одна мечта его преследовала...

Примеры подобного рода можно привести десятками.

Вышеуказанные приемы служат в общей массе для усиления и уточнения впечатления. Средства, данные Бальзаком, как будто кажутся Достоевскому недостаточными, и он ищет более выразительных, более ярких обозначений явления. Но часто, особенно в психологических характеристиках, Достоевский не удовлетворяется привлечением синонимов, новых определений, и тогда он пользуется выражениями, напоминающими о романтической школе, вроде «необъяснимый», «неопределенный», «какой-то странный», «необыкновенный». Подобные слова, которые лишь изредка встречаются в тексте Бальзака, рассеяны по всему переводу Достоевского:

Des charmes tout nouveaux...	Какую-то необъяснимую, новую прелесть, новое наслаждение...
... avec une attention particulière...	... с каким-то странным, невольным вниманием...
... un de ces regards brillants de bonté, de caresses...	... взгляд, блиставший нежным, неизъяснимым чувством...
... examinait son cousin et y prenait plaisir...	... с каким-то тайным торжественным наслаждением...

И многие другие примеры.

Особый колорит придает переводу романа частое употребление уменьшительных и ласкательных имен, которых сравнительно мало в подлиннике. У Достоевского они встречаются в изобилии как в прямой, так и в косвенной речи. Особенно часты они в обращении действующих лиц («племянничек», «дочечка», «милочка» и пр.), причем количество обращений в переводе также значительно больше, чем в подлиннике:

Une fille propre, pimpante de jeunesse, au blanc fichu, aux bras rouges.	Девушка, опрятно одетая, хорошенькая, молоденькая, в белой косыночке, с пухленькими красными ручками.
... les points que les mouches...	... черненьких, точкообразных пятнышек...
Ce sera ton *douzain* de mariage...	Это на твою дюжинку к свадьбе, жизненочек...
Tiens, vois, j'embrasse Eugénie, elle aime son cousin, elle l'épousera, si elle veut...*	Ну же, ну, душечка, посмотри, вот я обнимаю Евгению, мою дочку, мою милую дочечку. Плутовочка любит красавчика Шарля...

* Ну же, посмотри, я обнимаю Евгению, она любит своего кузена, она выйдет за него замуж, если захочет...

Vous avex perdu votre père... Vous êtes sans aucune espèce de fortune! *	Отец твой умер, племянничек... Ты нищий, братец!

Выражения, служащие для увеличения качества, встречаются реже, так как усиление достигается иными средствами, как было указано выше. Но все же приведем примеры:

...les grands sentiments Grandet de Paris, riche marchand de vin en gros...	...благороднейшие чувства Гранде, богатейшего откупщика в Париже...

В словарном составе языка перевода обращает на себя внимание большое количество выражений и оборотов простонародной речи. Этот элемент языка отчасти соответствует местным провинциальным выражениям, имеющимся у Бальзака, хотя иногда русские народные обороты далеки от духа оригинала, а иногда появляются и без всякой зависимости от него. Таковы выражения: «кумушка», «женишок», «тестюшка», «молодчик», «ну-тка спросите», «глух, как тетерев», «ворочусь к полднику», «легок на помине», «спит себе мертвым сном», «подобру-поздорову», «размотаю мошну, да дам тебе этак с...», «как рыба в воде», «где раки зимуют» и многие другие.

Сюда надо прибавить использование частиц *ка* (пойдем-ка), *то* (мы-то), *де* (он-де), употребление которых придает известный колорит речи. Диалоги, насыщенные народными выражениями, свободно отходят от французского оригинала, живы и выразительны. Например, разговор Нанеты и Гранде о воронах:

«— C'est-y vrai, monsieur, que ça mange les morts?

— Tu es bête, Nanon! ils mangent, comme tout le monde, ce qu'ils trouvent. Est-ce que nous ne vivons des morts? Qu'est-ce donc que les successions?» **

У Достоевского:

«— Ах, сударь, ворон гадкая птица — клюет мертвечину да всякую падаль!

— Дура ты! Едят, как и мы, все, что бог пошлет; разве мы сами не щиплем мертвечину? А наследство-то, а наследники-то?»

Кроме выражений, свойственных народному языку, Достоевский широко пользовался в переводе выражениями и оборотами, ведущими свое происхождение от церковно-славянской письменности. Тенденцию к «высокому» стилю он воспринимал иногда из оригинала Бальзака, облекая его краткие сжатые предложения в риторические застывшие формулы церковно-славянского красноречия. Вот примеры его языка этого рода: «возвела взоры к небу», «влекомая избытком ощущений», «разверзтая бездна», «отверзтая могила», «одни стенания», «болезненный одр», «душа воспарила

---

* Ты потерял своего отца... У тебя нет никаких видов на состояние...

** — Правда ли, сударь, что они едят мертвецов?

— Ты глупа, Нанета! Они едят, как и все, то, что находят. А разве мы не живем мертвецами? А что же такое наследство?

к небу», «тлетворное дыхание света», «лучезарный венец мученичества», «уязвленное сердце», «как кроткий агнец», «за недугующих и путешествующих», «земное бытие», «теплые молитвы, усердно воссылавшиеся» и т. д.

Насколько мало эти выражения соответствовали иногда тексту Бальзака, показывает сравнение хотя бы этих кратких отрывков. «Ce fut une mort digne de sa vie, une mort toute chrétienne. N'est-ce pas dire sublime?» *

У Достоевского:

«Такая смерть была достойна увенчать праведную жизнь ее. Это была смерть христианская, кончина славная, торжественная!»

Выражения «увенчать праведную жизнь», «кончина славная, торжественная» принадлежат переводчику.

Нами перечислены существенные особенности стиля, вносимые Достоевским в перевод. Теперь перейдем к вопросу о том, как он ими пользовался, какой цели достигал, применяя тот или другой прием. В «Eugénie Grandet» два главных действующих лица — старик отец и дочь Евгения. Оба образа нарисованы с одинаковым вниманием, прослежена их жизнь, дано описание характеров и история одушевляющих их страстей. Чрезмерная скупость старика и беззаветная любовь Евгении к Шарлю — две линии, по которым развивается повествование романа. При столкновении этих страстей получается драматический узел: в нем заключается высшее напряжение романа. Бальзак не раз использует параллелизм двух основных линий и контраст движущих действие страстей в целях композиционных. Описывая одну и ту же ночь в жизни старика Гранде и Евгении, он заключает сцену следующими словами: «Таким образом отец и дочь, каждый пересчитывал в эту ночь свое золото: он поехал продавать свое, она бросила свое в море любви и сострадания» (у Бальзака — «un océan d'affection»).

Контраст старика и девушки все время занимал Бальзака. Сам он сознавал, что, может быть, слишком увлекся этим противопоставлением и, наложив густые темные краски на образ старого скряги, украсил золотым ореолом голову героини. В послесловии к первому изданию романа, после выброшенном, но известном переводчику, Бальзак писал: «Быть может, автор усилил какую-либо черту, плохо зарисовал своих земных ангелов, сгустил или смягчил краски на своем холсте. Быть может, он положил слишком много золота вокруг чела своей Марии; быть может, распределяя свет, он отступил от законов искусства; возможно, наконец, он излишне усилил и без того мрачный колорит портрета своего старика — образа совершенно реального» [25].

* Это была смерть, достойная ее жизни, смерть вполне христианская. Можно сказать, величественная.

В признании автора есть доля правды, в его романе есть нечто от мелодрамы: борьба злодейства с невинностью, порока и добродетели. Правда, глубокий реализм Бальзака постоянно возвращал его к действительности. Ироническим замечанием, реалистическим штрихом он то и дело разрывал золотой ореол Евгении, а снабжая массой мелких житейских подробностей образ скряги, делал его верной бытовой фигурой, которую, по уверению Бальзака, «можно встретить в любом округе». Но зачатки драмы или даже мелодрамы в романе отчетливо видны. Характерно, что автор девять раз на протяжении романа представляет его действующих лиц как актеров, а повествование — как играющуюся комедию или драму. При каждом напряженном моменте действия он напоминает читателям о разыгрывающейся перед ними сцене, говорит о чрезвычайно благодарном для сцены характере скупца, видит в своих героях то актеров пошлой комедии, то страшной мещанской буржуазной драмы. Обилие диалогов, монологов в форме писем, которых шесть в тексте романа, еще более сближает этот роман с драматическим произведением.

Достоевский чрезвычайно чутко подхватил заложенные Бальзаком в романе элементы драмы. Игра контрастом характеров, света и тени, указания на скрытый драматизм, обилие диалогов — все это он воспринял, по-своему развил и усилил при переводе. В этом направлении шла главным образом его собственная творческая работа над переводом. Он еще чаще и более отчетливо, чем Бальзак, старается выявить читателю драму, заключенную в романе. Те упоминания о сцене, драме, которые у Бальзака могут быть поняты как метафора, у Достоевского получают прямой смысл:

«Les acteurs de cette scène, pleine d'intérêt quoique vulgaire. . .»

Все играли в одной общей комедии, хотя довольно грубой, но весьма замечательной для актеров. . .

«Tout contribuait à rendre cette scène tristement comique. N'est-ce pas d'ailleurs une scène de tous les temps et de tous les lieux, mait ramenée à sa plus simple expression?»

Все это оживляло сцену каким-то грустным пошлым комизмом. Комедия, как мы сказали, грубая, сюжет ее избитый.

«Le drame, commencé depuis neuf ans, se denouait. . .»

Наконец, пятый акт драмы кончился. . .

Достоевский напоминает о драме, как бы заложенной в романе, и тогда, когда Бальзак этого не делает:

«Si Charles fut arrivé du fond des Indes, il eut donc retrouvé les mêmes personnages et les mêmes intérêts. . .» *

Если бы Шарль явился теперь из Индии, то встретил бы прежних актеров старой пошлой прежней комедии. . .

---

* Если бы Шарль прибыл из недр Индии, он нашел бы тех же лиц и те же интересы. . .

Перевод обильных диалогов, имеющихся в романе Бальзака, был для Достоевского, будущего исключительного мастера диалога, великолепной школой. Его тяготение к этой форме отразилось в переводе тем, что он даже места, переданные у Бальзака косвенной речью, обращал иногда в прямую речь.

Основной стержень романа — контраст образа исторически верного и реалистически написанного приобретателя-скряги и овеянного романтической дымкой образа любящей девушки — оказался особенно близок Достоевскому и был значительно усилен в переводе. Переводчик не мог сообщить героям романа новых черт характера и не мог их заставить иначе действовать, но путем изменения языковых средств, строения фразы, внесения новых выражений он мог подчеркнуть одни характерные особенности и ослабить другие. Достоевский воспользовался этой возможностью, чтобы еще более сгустить краски в изображении старика Гранде и чтобы еще заметнее возвысить Евгению и ее мать над грубым миром, их окружающим.

Бальзак, говоря об отце Гранде, часто называет его просто «le maitre», «le vigneron», «le bonhomme», не находя нужным постоянно упоминать о его пороке. Для Достоевского образ Гранде неотделим от представления о скупости. Он всюду называет его «скрягой», «скупым и сварливым», прибавляя эти эпитеты, где их нет у Бальзака. Так у Достоевского мы постоянно встречаем: «скряга любил уединение», «жена и дочь скряги», «скряга отвел Шарлю покой», «восторженная радость скряги» и т. д.

Гранде груб, как все сомюрцы. Он, как и они, не скупится на откровенную брань, особенно в тех случаях, когда страдают его материальные интересы. Достоевский усиливает эту грубость, особенно подчеркивая ее в речах старика:

Mechant mirliflor...	Этот тряпичник, лоскутник, дрянь...
... à ce misérable séducteur de Charles...	... этому низкому обольстителю Шарлю, мошеннику...
Ah! cà, depuis que ce mirliflor...*	Да это безбожно! Да это разбой! С тех пор как эта обезьяна...
Mon neveu est une cruche...**	Колпак ты, олух, племянничек...

Тому же впечатлению грубости способствует обилие в речи Гранде (в переводе) простонародных выражений. Его разговор испещрен ими, часто независимо от текста Бальзака. Выше мы приводили примеры народного языка, взятые преимущественно из речи Гранде. Вот еще несколько: «Пусть их подурачатся...», «да ты с ума сошел...», «ты хнычешь...», «загребать денежки...», «обсахарить эту куклу...» и т. п.

Усилив грубость и жестокость Гранде по отношению к окружающим, Достоевский усилил также проявления его любви к на-

* Ах так, с тех пор как этот щеголь...
** Мой племянник — олух...

копленному богатству, доводящую его до какого-то страстного исступления. Переводчик достигает этого путем введения ласкательных обращений, уменьшительных имен, которыми пользуется Гранде всякий раз, когда дело идет о деньгах или о возможности получить прибыль. У Бальзака эта черта выявлена значительно слабее:

«... des secrets et des mysteres de vie et de mort pour les écus...»

«... штучки, проделки, секреты этих злодеев, червончиков...»

«... tu ne les donnera-pas. Eugénie, ceux là! Hein!»

«... ведь ты уж их-то не отдашь никому, плутовочка? Никому, плутовочка, дочечка?»

Кроме указанных изменений в речи Гранде, надо отметить, что переводчик значительно усиливает ее эмоциональную окраску по сравнению с текстом Бальзака. У Достоевского старый бочар постоянно восклицает, повторяет, подчеркивает свои выражения, точно спешит, волнуется, захлебывается в своей нежности к деньгам и ненависти к своим предполагаемым разорителям. Твердый, как кремень, сомюрский купец превращается под пером Достоевского то в исступленного маньяка, то в расслабленного старичка. Реально-бытовая фигура героя романа Бальзака приобретает некоторый мелодраматический налет.

Но мы не можем согласиться с Г. Н. Поспеловым, который в «гиперболированных» волнениях и нежностях старого Гранде по отношению к жене и дочери усматривает внесенные в этот образ в переводе Достоевского элементы «двойничества» и приводит ряд примеров с таким заключением: «Будущий создатель бесчисленных двойников лишает Гранде холодного постоянства страсти, заставляет его совершать поступки, противоречащие ей» (с. 128, 135).

Переводчик вовсе не «пропускал истинных побуждений забот Гранде» о жене и дочери, а совершенно ясно для читателя связывал якобы сентиментальные признания в любви к ним с его мыслями о наследстве и боязнью его лишиться. Может быть, кроме того, именно в этом месте романа на Достоевского воздействовали личные семейные воспоминания о смерти матери и поведении отца, как нами было замечено в начале статьи. Во всяком случае в переписке родителей писателя, насыщенной уменьшительными и ласкательными именами, народными выражениями и словечками, надо искать источник особенностей перевода «Евгении Гранде», так же как их дальнейшее воплощение и развитие в первом оригинальном романе Достоевского «Бедные люди».

В ином направлении шла работа Достоевского над образами Евгении и ее матери. Если Достоевский стремился усилить грубость, безжалостность старого Гранде, то образы женщин он старался облагородить, возвысить не только духовно, но и внешне. Г. Н. Поспелов привел примеры, которые обнаруживают заботы переводчика о внешности Евгении. Он снимал одни детали и вводил другие, делая ее облик более поэтичным (с. 130—131). В ее

речи мы не встретим простонародных или вульгарных ласкательных и уменьшительных словечек. Впрочем, она мало говорит в романе. Бальзак более повествует о Евгении, чем заставляет ее действовать. Он не изображает ее любовь к Шарлю, а описывает ее переживания. Надо отметить, что при этом слог его часто принимает характер патетической декламации, изливающейся в длинных периодах. Однако какой бы из них мы ни сравнили с переводом Достоевского, мы обнаружили бы его еще большее расширение, усложнение в русском переводе. В повествовании об Евгении, ее любви переводчик в изобилии привлекает повторения всякого рода, синонимы, тавтологии. Здесь для определения различных душевных движений он подбирает по два, по три новых эпитета и, не удовлетворяясь ими, пользуется выражениями «какой-то», «неизъяснимый» и т. п.

Вот первый период, с которым вступает в роман, вначале выдержанный в бытовых тонах, этот сентиментально-патетический стиль, связанный с образом Евгении:

«Dans la pure et monotone vie des jeunes filles vient une heure délicieuse où le soleil leur épange ses rayons dans l'ame, où la fleur exprime des pensées, où les palpitations du coeur communiquent au cerveau leur chaude fécondance et fondent des idées en un vague désir; jour d'innocente mélancolie et de suaves joyeusetés!» *

У Достоевского:

«Есть прекрасный час в тихой, безмятежной жизни девушки, час тайных несказанных наслаждений, час, в который солнце светит для нее ярче на небе, когда полевой цветок краше и благоуханнее, когда сердце, как птичка, трепещет в волнующейся груди ее, ум горит, и мысли расплавляются в тайное, томительное желание. Этот час есть час неопределенной грусти любви, неопределенных, но сладостных мечтаний».

В оригинале нет ни «тайных несказанных наслаждений», ни «неопределенных мечтаний», ни сравнений сердца с трепещущей птичкой. Но этот период еще довольно близок оригиналу, хотя уже значительно расширен. Но вот как двумя строками ниже передает Достоевский краткий вопрос, стоящий у Бальзака:

«Si la lumière est le premier amour de la vie, l'amour n'est il pas la lumière du coeur?» **

У Достоевского:

«И как свет божий первый приветствует сладким, теплым лучом пришествие в мир человека, так и любовь торжественно

---

* В чистой безмятежной жизни девушек наступает чудесный час, когда солнце заливает лучами их душу, когда каждый цветок что-то говорит им, когда биение сердца сообщает мозгу горячую плодотворность и сливает мечты в смутном желании, — день невинного раздумья и сладостных утех...

** Если свет — первая любовь в жизни, то любовь не свет ли сердцу? (т. 6, с. 59).

приветствует сердце человеческое, когда оно впервые забьется чувством и страстью».

Более тщательное сравнение периодов заняло бы слишком много места. Констатируем здесь лишь следующее общее явление: в переводе периоды не только расширяются в объеме, но чрезвычайно усиливается их патетический тон, усложняется риторика, вводятся обороты «высокого стиля», славянизмы. Приведем несколько кратких примеров:

...sur la rive de la vie *.	...на берегу шумного океана жизни.
qu'ils étaient enveloppés de melancolie...**	чем чернее зияла за ними бездна прошедших несчастий...
la pauvre fille pleura...***	слезы хлынули из глаз бедной девушки...
En entendant le cri d'un noble désespoir, Charles laissa tomber des larmes...****	Благородный крик уязвленного сердца Евгении потряс душу Шарля. Горячие слезы полились из глаз его...

В повествовании о Евгении и ее матери у Достоевского постоянно встречаются следующие выражения, которых нет у Бальзака: «небесная радость», «небесная доброта», «небесное сияние», «благородная гордость», «благородное сердце», «благородная грусть», «благородная чувствительность», «стенания»; «Любовь уврачевала сердца их», «тихие, блестящие миры неясных грез и мечтаний», «море любви и сострадания...».

Весь этот сентиментальный, местами риторический стиль служит для идеализации образов м-м Гранде и Евгении, особенно первой. Переводчик удалил иронические замечания Бальзака о набожности старушки и об общей ее тупости. Наоборот, он внес ряд церковно-славянских выражений как в ее речь, так и в описание ее смерти, от чего весь образ приобрел несколько иконописный, «житийный» характер.

Но характер Евгении не только в изображении Бальзака, но и в переводе Достоевского, по нашему мнению, нельзя относить к галерее «кротких» женщин, как это делают Л. П. Гроссман и Г. Н. Поспелов. Евгения и в переводе Достоевского — сильная, волевая личность: повторяющая отца в своей преданности овладевшей ею страсти. Это особенно сказывается в ее объяснениях с отцом по поводу денег, отданных ею Шарлю, где между прочим есть следующее замечание: «Евгения, наученная любовью, сделалась так же хитра, как ее отец». Она «неумолима», «упряма», готова на все муки, на смерть. Так же твердо, решительно ведет она себя и строит свою жизнь, узнав о возвращении и измене

* на берегу жизни...
** они были охвачены печалью...
*** бедная девушка плакала...
**** Услышав крик благородного отчаяния, Шарль залился слезами...

Шарля. Не «кротость» соединяет ее с Варенькой Доброселовой и Неточкой Незвановой, а сперва мечтательность, потом зоркий критический взгляд на окружающую их действительность и на свое положение в ней.

Коротко скажем о том, как была «облагорожена» в переводе реально-бытовая фигура Нанеты в ее грубой, полуживотной преданности хозяину. Придавая всюду ей эпитеты «добрая Нанета», «верная Нанета», Достоевский одухотворяет ее глубоким сознательным чувством благодарности к благодетелю, в то время как Бальзак не один раз сравнивает ее с верным сторожевым псом, который не замечает шипов надетого на него ошейника. Вместо выброшенных слов об ошейнике у Достоевского появляются «святое бескорыстное чувство благодарности», «неограниченная преданность», «отрада сердца» и т. д. Роль же Нанеты по отношению к Евгении близко напоминает Федору для Вареньки в «Бедных людях».

Приведенные примеры и их анализ отвечают на вопрос *как,* какими способами изменял Достоевский текст Бальзака и в каком направлении шли эти изменения. Он отталкивался от натуралистической бытовой живописи Бальзака и шел по пути углубления психологии персонажей, отдавая дань сентиментализму: повышенному эмоциональному, иногда мелодраматическому звучанию в передаче переживаний своих героев. Насколько глубоко сжился Достоевский с действующими лицами романа Бальзака, подтвердил его роман, который он задумал и начал, закончив свой «бесподобный перевод», как он сам его определил. До какой-то степени он воспроизвел в «Бедных людях» основных героев: старика с его мещанской, то народной, то сентиментальной, речью, романтически настроенную, но покорную требованиям среды девушку, облик больной страдающей матери, верной, преданной служанки. При всем различии предмета их страстей они говорят о них и переживают их очень сходно. Буквально одними словами Девушкин обращается к Вареньке, а Гранде к Евгении:

Перевод «Евгении Гранде»	*«Бедные люди»*
«А покажи-ка мне, жизненочек, свое золото? А? дружочек, доченька!.. Доченька, милочка, мы с тобой как рыба с водой, ангельчик Евгения...	Спешу вам сообщить, жизненочек вы мой, что у меня надежды родились кое-какие... Да позвольте, доченька вы моя, пишете, ангельчик, чтобы мне займов не делать...

В конце 1843 г. Достоевский задумал вместе с братом Михаилом и товарищем по Инженерному училищу О. Патоном перевести и издать роман Е. Сю «Матильда». В начале 1844 г. он усиленно работал над переводом своей части, и, хотя издание не состоялось и у нас не осталось никаких следов этой работы, несомненно, что вживание и в это произведение закрепилось в его творческой фантазии и отразилось в неоконченном романе «Неточка Незванова». Исследователи отметили «сходную фабулу»,

общность некоторых эпизодов и сюжетных линий в романе Сю и произведении Достоевского и вместе с тем констатировали, что он создал на основе той же внешней канвы неизмеримо более глубокие, чем в «Матильде», характеры своих героинь [26].

Неудача с публикацией перевода «Матильды» Сю не охладила Достоевского к деятельности переводчика. Конечно, большую роль играла здесь необходимость заработка, но, судя по переводу Бальзака, эта работа представляла для него творческий интерес. Оставив «Матильду», он тотчас начал трудиться, уже не коллективно, а индивидуально, над новым переводом. В апреле 1844 г., убеждая брата переводить Шиллера, Достоевский писал ему: «И с французского переводчик может быть с хлебом в Петербурге, да еще с каким; я на себе испытываю (перевожу Жорж Занд и беру 25 руб. асс. с листа печатного)». Что переводил Достоевский, мы узнаем из письма к брату, которое датируется летом 1844 г. Он сообщал о постигшей его новой неудаче с переводом: «Наконец, *случился* со мной один неприятный *случай.* Я был без денег. Но перевод Жорж Занда романа кончался у меня («La dernière Aldini»). Суди же о моем ужасе — роман был переведен в 1837 году. А черт это знал, я был в исступлении» [27].

Роман «Последняя Альдини» не был так популярен, как «Теверино» и «Мопра», но однажды упомянут Белинским в рецензии 1845 г. по поводу изображения Италии в романе «Импровизатор» Андерсена: «Как бледны и слабы эти очерки в сравнении с мастерскими картинами Италии, дышащими глубокою мыслью и могучею жизнью в романах Жоржа Занда! При воспоминании о „Последней Альдини", „Домашнем секретаре", „Маттеа", „Метелле", „Ускоке" и „Консюэло" становится жалко бедного Андерсена» [28]. Но, конечно, не картины итальянской природы в основном привлекли внимание Достоевского к этому роману.

Исследователи немало писали об отношении Достоевского к творчеству Ж. Санд, опираясь главным образом на его статью в июньском выпуске «Дневника писателя» 1876 г., но, кажется, никто не отметил его работу по переводу «La dernière Aldini» в 1844 г. А между тем его поздняя статья вся пронизана воспоминаниями о его раннем увлечении творчеством Ж. Санд и упоминает этот роман. «Появление Жорж Занда в литературе совпадает с годами моей первой юности. Появилась же она на русском языке впервые примерно в половине тридцатых годов... Я думаю так же, как и меня, еще юношу, всех поразила тогда эта целомудренная, высочайшая чистота типов и идеалов и скромная прелесть строгого сдержанного тона рассказа... Мне было, я думаю, лет шестнадцать, когда я прочел в первый раз ее повесть „Ускок" — одно из прелестнейших первоначальных ее произведений. Я, помню, был потом в лихорадке всю ночь...» — писал Достоевский в своей поздней статье.

Характеризуя восторженно далее обаятельный образ юной чистой девушки, гордой и мужественной в своем поведении, он,

несомненно, вспоминал и красавицу Алезию Альдини, главную героиню романа, богатую наследницу, воспитанную в аристократических предрассудках, страстно полюбившую сына рыбака, актера Лелио, и предлагавшую ему брак, презирая остракизм, который ожидал их в ее среде.

«Особенно нравилось мне тогда, в первоначальных произведениях ее, несколько типов девушек, выведенных, например, в так называвшихся тогда венецианских повестях ее (к которым принадлежат и „Ускок" и „Альдини"). Изображается прямой, честный, но неопытный характер юного женского существа, с тем гордым целомудрием, которое не боится и не может быть загрязнено от соприкосновения даже с пороком... Потребность великодушной жертвы (будто бы от нее именно ожидаемой) поражает сердце юной девушки, и, нисколько не задумываясь и не щадя себя, она бескорыстно, самоотверженно и бесстрашно вдруг делает самый опасный и роковой шаг...» Это точная характеристика шестнадцатилетней Алезии из романа «Последняя Альдини».

Не только образ юной героини, но и противопоставление чванной ограниченной и корыстной титулованной знати честным великодушным и талантливым натурам, вышедшим из народа, могло привлечь переводчика. Ставший из рядового гондольера знаменитым певцом неаполитанской оперы, Лелио не только проявляет благородство в своем поведении с матерью и дочерью Альдини, но проникнут высокими патриотическими идеалами в мыслях о будущем Италии. Лишь бегло намечая эту тему, Ж. Санд все же предоставляет Лелио так характеризовать себя:

«Je ne me piquait pas d'être un patriote bien éclairé; mais je ne partageais pas l'engouement de cette époque pour la domination étrangère... je me nourrissais de ces premiers éléments du carbonarisme, qui termentaient dès lors sans forme et sans nom, de la Prusse a la Sicile. Mon héroisme était naif et brûlant... Je portais dans tout ce que je faisais, et principalement dans l'éxercice de mon art, le sentiment de fierté railleuse et d'indépendance democratique dont je m'inspirais chaque jour dans les clubs et dans les pamphlets clandestins. Les *Amis de la verité*, les *Amis de la lumière*, les *Amis de la liberté*, telles etaient les dénominations sous lesquelles se groupaient les sympathies libérales...» * [29].

Если выше мы приводили наблюдения, которые позволяют поставить вопрос о влиянии переведенных Достоевским романов

* Я не воображал себя очень просвещенным патриотом; но я не разделял пристрастие этой эпохи к господству иностранцев... Я питался основными элементами карбонаризма, которые вызывали бесформенное и безымянное брожение от Пруссии до Сицилии. Мой героизм был наивным и пламенным. Я вносил во все, что я делал, и главным образом в использование моего искусства, чувство насмешливой гордости и демократической независимости, которые я каждый день вдыхал в клубах и в содержании тайных памфлетов. «Друзья истины», «Друзья света», «Друзья свободы» — такими были наименования, под которыми группировались либеральные симпатии.

на его раннее творчество, то в отношении «Последней Альдини» можно высказать следующие предположения самого общего характера: это — сопоставление обрисованного выше юного девичьего характера с поведением Неточки Незвановой в последней известной нам части повести и та музыкальная атмосфера, которая сопровождает как роман Жорж Санд, так и эту повесть Достоевского (артисты демократического происхождения, концерты, вокальные данные, обнаруженные у бедной Неточки, ее уроки пения, ее предполагаемое артистическое будущее).

Работа Достоевского над переводами современной французской литературы была важным этапом на его подступах к самостоятельному творчеству первого периода.

V

«Бедные люди»

До конца 1841 г. Ф. М. Достоевский был лишен возможности сколько-нибудь широко знакомиться с окружавшей его городской жизнью. Это было исключено во время жизни в Москве на Божедомке, где контролировался каждый выход за ограду Мариинской больницы, и во время пребывания в закрытом пансионе Чермака. Некоторое исключение представляли два месяца, ежегодно проводимые в Даровом, но там было иное окружение, «своя» дворня, «свои» крепостные крестьяне и, конечно, никаких связей с помещичьим и чиновничьим миром, с которым связаны были его родители. То же, может быть, с отдельными исключениями продолжалось в Петербурге: сперва жизнь у Костомарова, потом в Инженерном училище.

Лишь получив в конце 1841 г. офицерский чин и право жить вне училища, на частной квартире, Достоевский в двадцать лет получил возможность «окунуться» в жизнь столицы, общаться с разными слоями ее обитателей, наблюдать их быт, изучать их психологию. Но до конца 1843 г., связанный усиленной подготовкой к экзаменам (август 1842 г. — переход в верхний офицерский класс, август 1843 г. — окончание полного курса наук в верхнем офицерском классе), он не мог свободно располагать своим временем, и, лишь вступив на службу в инженерный корпус при С.-Петербургской инженерной команде, «с употреблением при Чертежной Инженерного департамента», он оказался занятым в утренние часы с 9 час. утра до 2 час. дня, а остальное время был предоставлен самому себе.

Так как о жизни Ф. М. Достоевского в эти годы мы знаем лишь из воспоминаний А. Е. Ризенкампфа, то обратимся к ним [1]. Из них мы узнаем о чрезвычайной увлеченности Достоевского театром и концертами, что вполне соответствовало интересам и вкусам Ризенкампфа:

«Из разных петербургских удовольствий более всех привлекал его театр. Можно сказать, что в 1841 и 1842 гг. в Петербурге все театры без исключения процветали. Что касается балета, то я сам в нем почти никогда не бывал, но Федор Михайлович всегда с восхищением говорил о впечатлениях, которые на него производили танцовщицы. Преимущественно процветал тогда

Александринский театр. Такие артисты, как Каратыгины, Брянский, Мартынов, Григорьев, г-жа Асенкова, Дюр и пр., производили неимоверное впечатление, тем более на страстную поэтическую натуру Федора Михайловича».

Друзья восторгались и артистами, выступавшими на французской и немецкой сценах. «Второе место в числе петербургских удовольствий занимала музыка. В 1841 году публика восхищалась концертами известного скрипача Оле-Буля. С 9 апреля 1842 г. начались концерты гениального Листа и продолжались до конца мая. Несмотря на неслыханную до тех пор цену билетов, мы с Федором Михайловичем не пропустили почти ни одного концерта». В 1843 г. друзья вновь посещали концерты Листа, тенора Рубини и кларнетиста Блаза, были на спектакле «Руслан и Людмила». Федор Михайлович посещал балы и маскарады в Дворянском собрании, танцклассы со шпицбалами, а в летнее время загородные гуляния. Ризенкампф свидетельствовал, что Достоевский «при своей страстной натуре, при своей жажде все видеть, все узнать кидался в те и другие развлечения; но скорее всего он отказался от балов, маскарадов и пр., так как он вообще был довольно равнодушен к женскому полу».

Интересны сведения Ризенкампфа о том, что Достоевский «имел мало знакомств и вообще чуждался их, чувствуя себя в семейных домах не в своей сфере». Так как Ризенкампф бывал в ряде немецких семейств, где среди собиравшихся были, по его словам, ученые, художники и писатели, то он делал попытки ввести в это общество и Федора Михайловича: «Но будучи не совершенно тверд во французском разговоре, Федор Михайлович часто разгорячался, начинал плевать и сердиться и в один вечер разразился такой филиппикой против иностранцев, что изумленные швейцарцы его приняли за какого-то „énragé“ и почли за лучшее ретироваться. Несколько дней сряду Федор Михайлович просил меня убедительно оставить всякую попытку к сближению его с иностранцами». Также недоброжелательно оказался он настроен к немецким знакомым Ризенкампфа и Михаила Михайловича, когда в 40-х годах приезжал летом в Ревель погостить у брата.

Ризенкампф заметил, что Достоевский гораздо лучше сошелся с некоторыми его товарищами из поляков, особенно выделяя Станислава Осиповича Сталевского, работавшего в Медицинской академии. Сталевского отличала красивая наружность, «добродушие, соединенное с замечательным умом», увлекательный разговор, «всегда обдуманный и осторожный», его уважали как товарищи, так и начальство. Посещения этого 23-летнего молодого человека были Достоевскому «особенно приятны, так что, услышав голос его, он нередко бросал свои занятия, чтобы наслаждаться умом и приятной беседою». «Сталевский знакомил нас обоих с сочинениями Мицкевича».

Рассказывая о чтении Достоевского, Ризенкампф упоминал, что последний, «когда были деньги», брал вышедшие книжки «Отечественных записок», «Библиотеки для чтения» и других журналов в кондитерской и нередко абонировался в библиотеках русских или французских книг, но пренебрегал немецкой литературой, которая имелась у Ризенкампфа. Он особенно предпочитал романы Бальзака, Сулье, Марриэта и любил декламировать отрывки из повестей Гоголя.

Так как Достоевский жил одно время вместе с Ризенкампфом, то особенный интерес представляют наблюдения и заметки последнего о поведении и самочувствии Достоевского: «Скажу несколько слов об обыкновенном ежедневном препровождении времени Федора Михайловича. Не имея никаких знакомств в семейных домах, навещая своих бывших товарищей весьма редко, он почти все время, свободное от службы, проводил дома... После обеда он отдыхал, изредка принимал знакомых, а затем вечер и большую часть ночи посвящал любимому занятию — литературой».

Решительно отклоняя попытки Ризенкампфа сблизить его с кружком своих петербургских и ревельских знакомых, Достоевский очень заинтересовался пациентами доктора, навещавшими его на дому: «Самое сожительство с доктором чуть было не обратилось для Федора Михайловича в постоянный источник новых расходов. Каждого бедняка, приходившего к доктору за советом, он готов был принять, как дорогого гостя. «Принявшись за описание бедных людей, — говорил он как бы в оправдание, — я рад случаю ближе познакомиться с пролетариатом столицы». Особенное его внимание остановил на себе один молодой человек, более долгое время пользовавшийся советами г. Ризенкампфа — брат фортепьянного мастера Келера. Это был вертлявый, угодливый, почти оборванный немчик, по профессии комиссионер, а в сущности — приживалка. Заметив беззаветное гостеприимство Федора Михайловича, он сделался одно время ежедневным его посетителем — к чаю, обеду и ужину, а Федор Михайлович терпеливо выслушивал его рассказы о столичных пролетариях». Нередко он записывал слышанное, и Ризенкампф впоследствии коечто из келеровских рассказов находил в романах писателя.

Приводя как пример Келера, Ризенкампф свидетельствовал о ряде случаев, когда Достоевский по своей «доверчивости и доброте» подвергался «немилосердному обкрадыванию» и, хотя получал служебное жалование и присылки от опекуна, часто нуждался в деньгах, входил в долги, обращался к ростовщикам и имел возможность наблюдать жизнь низших слоев населения столицы. Упоминание Ризенкампфа о проигрышах Достоевского на бильярде свидетельствует, что автор будущего «Игрока» и «Подростка» уже в эти годы тяготел к азартным играм.

Как врач, Ризенкампф отмечал, что Достоевский, несомненно, нуждался «в деятельном медицинском пособии», но «любил скрывать не только телесные свои неудачи, но и затруднительные

денежные обстоятельства. В кругу друзей он казался всегда веселым, разговорчивым, беззаботным, самодовольным. Но немедленно по уходе своих гостей он впадал в глубокое раздумье, затворившись в уединенном кабинете, выкуривал трубку за трубкой, обдумывал свое печальное положение и искал самозабвенья в новых литературных вымыслах, в которых главную роль играли страдания человечества».

Выше мы писали о том, как болезненно переживал Достоевский, впервые столкнувшись в Инженерном училище с порочной николаевской действительностью, взяточничество, карьеризм, всяческую неправду, которую низшие и слабые должны были терпеть от высших и сильных. Краткие заметки Ризенкампфа фиксируют жадность, с которой в 1842—1844 гг. Достоевский бросился в изучение контрастов столичной жизни, ее разительных противоречий, от публики балетов и французской комедии до ростовщиков, бильярдных шулеров и мелких жуликов, пренебрегая «порядочными» немецкими семейными домами, куда его втягивал Ризенкампф. В эти первые годы личной свободы Достоевский, познавая северную столицу, вероятно, был близок к тем мыслям о ней, которые излагал другой, более искушенный в жизни молодой человек, приехавший из Москвы в Питер за два года перед тем.

В 1840 г. Белинский писал Боткину через месяц по приезде в Петербург: «Питер имеет необыкновенное свойство оскорблять в *человеке* все святое и заставить в нем выйти наружу все сокровенное. Только в Питере человек может узнать себя — человек он, получеловек или скотина: если Питер полюбился ему — будет или богат, или действительным статским советником...». В феврале 1840 г. он так определил значение для него переезда и ближайшего знакомства со столицей: «Петербург был для меня страшною скалою, о которую больно стукнулось мое прекраснодушие. Это было необходимо, и лишь бы после стало лучше, я буду благословлять судьбу, загнавшую меня в эти гнусные финские болота. Но пока это невыносимо, выше всякой меры терпения». А через две недели он со свойственным ему сарказмом писал московским друзьям: «В Питер бы вас, дураков, — там бы вы поумнели, там бы вы узнали, что такое российская действительность и российская публика»[2].

Можно указать еще на одного молодого москвича, поэта, ровесника Достоевского, впоследствии его друга, который 1 января 1845 г. посвятил Петербургу знаменательное стихотворение «Город». Воспетым поэтами красотам столицы он противопоставлял отпечатавшийся на них «тяжелый след забот, людского пота и страданий»:

Пусть ночь ясна, как день, пусть тихо все вокруг,
Пусть все прозрачно и спокойно,
В покое том затих на время злой недуг
И то прозрачность язвы гнойной[3].

Пониманию петербургской действительности, совершавшихся в ней процессов, их объяснений Достоевскому помогала литература. Если из Москвы братья Достоевские выехали поклонниками «Библиотеки для чтения» (и, несомненно, она немало в свое время содействовала их развитию), то в Петербурге с первой рекомендованной Шидловским книги «Отечественных записок» под редакцией Краевского они стали читателями этого журнала. Публикуемые в нем в начале 40-х годов статьи Белинского воспитывали литературный вкус Достоевского, свергая недавние кумиры, рассеивая туманные романтические грезы, которыми он восторгался в стихах брата и Шидловского. Трезво и иронически оценивал он теперь как их, так и свои возможности в драматическом творчестве. В письме начала 1845 г. к брату читаем: «Писать драмы — ну, брат. На это нужны годы трудов и спокойствия, по крайней мере для меня. Писать ныне хорошо. Драма теперь ударилась в мелодраму. Шекспир бледнеет в сумраке и сквозь туман слепендасов — драматургов, кажется богом, как явления духа на Брокене или Гарце. Впрочем, летом я, может быть, буду писать. 2, 3 года, и посмотрим, а теперь подождем!».

Кризис, который переживал Достоевский в 1842—1844 гг., был одновременно и результатом его непосредственного знакомства с петербургской действительностью, ее воздействия на его мировоззрение и глубокого влияния читаемой литературы, читаемой «по-новому», с переоценкой прежних ценностей. 24 марта 1845 г. им были написаны брату следующие важнейшие строки, которые вводят нас не только в его поиски, но и в открытие им своего призвания, — строки, которые подводят к созданию им «Бедных людей».

«Ты, может быть, хочешь знать, чем я занимаюсь, когда не пишу, — читаю. Я страшно читаю, и чтение странно действует на меня. Что-нибудь давно перечитанное прочитаю вновь и как будто напрягусь новыми силами, вникаю во все, отчетливо понимаю, и сам извлекаю умение создавать... Брат, в отношении литературы я не *тот*, что был тому назад два года. Тогда было ребячество, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли...»[4]

Уже в первом произведении Достоевский осуществил то требование, которое, как мы ранее указывали, только через несколько десятилетий он сформулировал как основу создания романа: писатель должен «запастись прежде всего *одним* или *несколькими* сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно», чтобы потом из совместной деятельности художника-мастера и поэта-автора развились «тема, план, стройное целое». В «Бедных людях» это «стройное целое» составилось из двух «самостоятельных важных компонентов», в каждом из которых «поэт» заложил «пережитое сердцем сильное впечатление», которым он запасся к этому времени. С Варенькой Доброселовой он связал историю развития своего внутреннего мира, духовного

роста московского и деревенского периода. С Макаром Девушкиным — то осознание петербургской действительности, которое стало для него самым важным, самым острозахватывающим переживанием последних лет.

Достоевский как бы исчерпал в своем первом создании пережитое и переживаемое, найдя форму, в которой он тому и другому дал свой образ, свой стиль повествования, лишь условно сливая сюжетом самостоятельность обеих частей. Эпистолярная форма повести, еще популярная в 30-х годах[5], облегчила задачу молодого автора в построении произведения с двумя центральными образами, каждый со своей сюжетной линией и стилем изложения.

Когда писались «Бедные люди»? Мы отвергаем указания мемуаристов (Савельев, Трутовский), что они были задуманы и уже осуществлялись в Инженерном училище, по тем же соображениям, которые изложил комментатор тома I академического издания (с. 464), и присоединяемся к его утверждению, что работа велась в 1844 г. Лишь предполагаем, что замысел явился в конце 1843 г., когда шла работа по переводу «Евгении Гранде», а самое написание относится к весне, лету и осени 1844 г. В «Дневнике писателя» 1877 г. (январь) Достоевский вспоминает: «Я жил в Петербурге, уже год как вышел в отставку из инженеров, сам не зная зачем, с самыми неясными и неопределенными целями. Был май месяц сорок пятого года. В начале зимы я начал вдруг „Бедных людей", мою первую повесть, до тех пор ничего еще не писавши...». А в ноябре 1877 г. того же «Дневника писателя» Достоевский вновь вспоминал: «Первая повесть моя „Бедные люди" была начата мною в 1844 году, была окончена, стала известна Белинскому...».

Достоевский вышел в отставку осенью 1844 г., но в письме к брату от 30 сентября 1844 г. он сообщал ему, что «кончает *роман* в объеме „Eugénie Grandet"», т. е. «Бедных людей», следовательно, «начать» их он не мог в начале зимы 1844/1845 гг. (после отставки), а вероятно, задумал в конце 1843-начале 1844 гг., когда на святках кончал перевод бальзаковского романа. Но вряд ли он мог первые месяцы 1844 г. энергично над ним работать, так как нам известно, что именно в это время он был поглощен планами издания коллективного перевода романа Е. Сю «Матильда» и спешно переводил одну из частей, а когда этот проект провалился, то он взялся не менее энергично за перевод романа Жорж Санд «La dernière Aldini», который закончил к лету 1844 г., но не мог напечатать, так как оказалось, что перевод уже был издан ранее. Следовательно, именно к лету—осени 1844 г. надо отнести самую интенсивную работу над созданием «Бедных людей», которая потом еще несколько месяцев подвергалась авторским перепискам и правкам. Надо думать, что творческий подъем, переживавшийся автором в эти летние месяцы 1844 г., и вызвал его решение подать в отставку, разделаться со

службой и написать брату 30 сентября 1844 г.: «Подал я в отставку оттого, что подал, т. е. клянусь тебе, не мог служить более. Жизни не рад, как отнимают лучшее время даром. Дело в том, что я, наконец, никогда не хотел служить долго, следовательно, зачем терять хорошие годы? А наконец, главное: меня хотели командировать — ну, скажи, пожалуйста, что бы я стал делать без Петербурга. Куда бы я годился? — Ты хорошо понимаешь?».

Увлеченный «петербургской» повестью, он не мог представить себя вне атмосферы Петербурга, из которой вырастал ее центральный образ. Скромно характеризуя далее свое произведение «роман довольно оригинальный», он все же в скобках между денежными расчетами заметил с авторским удовлетворением: «(я моей работой доволен)». И лишь много лет спустя в нескольких строках запечатлел переживавшийся им творческий подъем, экстаз, в котором создавались его «Бедные люди»: «Писал я их с страстью, почти со слезами: „Неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, — все это ложь, мираж, неверное чувство?“ — Но думал я так, разумеется, только минутами...»[6].

Оставя пока в стороне речь о Вареньке и обращаясь к центральной фигуре Макара Девушкина, постараемся найти в нем то «сильное впечатление», глубоко пережитое лично автором, которое легло в основу этого образа. Мы не знаем в жизни Достоевского этого времени о ком-либо, кто мог послужить прототипом для создания Макара Девушкина. Сопереживания автора с бедняками, выведенными в повести, надо, очевидно, воспринимать как синтез ряда его наблюдений среди столичной бедноты. Но самый образ убогого, стареющего Макара рядом с юной прелестной Варенькой восходит, думается, не к жизненному, а литературному прототипу, о котором автор не умолчал, но очень ясно указал в своем произведении. В письме к Вареньке от 1 июля Макар Девушкин запечатлел пережитое им при чтении «Станционного смотрителя». Он увидел в рассказе Пушкина всю свою жизнь, «как по пальцам разложенную». Он признал, что книга эта заставила его «все помаленьку припомнить и разыскать и разгадать то, что прежде ему „невдогад было“». Мало того, он увидел, что автор «мое собственное сердце, какое уж оно там ни есть, взял его, людям выворотил изнанкой, да и описал все подробно — вот как... Ведь я то же самое чувствую, вот совершенно так, как и в книжке, да я и сам в таких же положениях подчас находился, как, примерно сказать, этот Самсон-то Вырин бедняга...».

Макар Алексеевич не только проникновенно сопоставляет себя с Выриным, а видит в нем как бы обобщенный образ таких же, которые «вокруг него живут»: «Да и сколько между нами-то ходят Самсонов Выриных, таких же горемык, сердечных!.. да чего далеко ходить! — вот хоть бы и наш бедный чиновник — ведь он может быть такой же Самсон Вырин, только у него другая фами-

лия — Горшков. Дело-то оно общее, маточка, и над вами, и надо мной может случиться».

Два факта из жизни Вырина глубоко поразили Макара: это отцовская любовь к его гордости, прелестной Дуняше, его глубокое горе при ее потере и его мрачный конец спившегося пьяницы.

Макар умоляет Вареньку не соглашаться на отъезд и работу гувернанткой, не идти на свою погибель, не оставлять его и не обрекать на одинокую жизнь, которую он или закончит в Неве, или повторит судьбу Вырина. В позднейшем рассказе «Честный вор» Достоевский дал понять, что Макар после отъезда Вареньки, став горьким пьяницей, погиб, как и Вырин [7].

Сюжетная и психологическая связь повести Пушкина и Достоевского позволяет утверждать, что первая как бы послужила отправным пунктом, программой для второй. Через несколько дней Макар написал письмо с отзывом о другой прочитанной книге, которая, может быть, еще глубже потрясла его, вызвав в нем отрицательную оценку. В начале 1843 г. вышел третий том сочинений Гоголя, в котором Достоевский впервые мог прочитать «Шинель». Он в ней увидел новое петербургское воплощение Самсона Вырина, искомого героя своей будущей повести. В письмо к Вареньке от 8 июля Девушкин вложил не характеристику Акакия Акакиевича, а решительное осуждение автора рассказа. Девушкин не может не признать, что написанное соответствует действительности, все «верно описано», «в порядке вещей», в самом себе, в своем быту замечает отличительные свойства Акакия Акакиевича, но, признавая это, горячо протестует против написанного, глубоко уязвлен самым фактом возможности публикации этих верных жизненных деталей. Основой протеста является защита своего личного достоинства, сознание, что автор, рисуя его слабости, ни словом не коснулся его подлинной человеческой личности, которая, несмотря на комические черты, достойна уважения: «Как гражданин считаю себя собственным сознанием моим как имеющего свои недостатки, но вместе с тем и добродетели. Все это вы по совести должны бы были знать, маточка, и он должен бы был знать; уж как взялся описывать, так должен бы был все знать». И Макар Алексеевич делает вывод, что подобное описание, лишенное изображения подлинных человеческих чувств, «так, пустой какой-то пример из вседневного, подлого быта», иначе говоря оскорбительный «пасквиль», заслуживающий запрещения начальства.

Мы думаем, что Самсон Вырин и Акакий Акакиевич были теми «сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно», которые художник Достоевский воплотил в образе Макара как идею, пережитую поэтом Достоевским. От этих героев Пушкина и Гоголя Макар унаследовал свой чин, возраст, невзрачную наружность, способность к глубокой человеческой привязанности от одного и страшную придавленность человеческой личности, «амбиции» от другого, — придавленность, но не

задавленность, так как и в «Шинели» были строки самозащиты, протеста, которые глубоко вошли в сознание автора «Бедных людей». Это введение в повесть молодого сослуживца-чиновника, которого потряс образ Акакия Акакиевича, «долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький человек с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: „оставьте меня, зачем вы меня обижаете“ — и в этих проникающих словах звенели другие слова: „и я брат твой“».

Достоевский не только ввел драму Вырина в жизнь Макара, но, варьируя, повторил ее в старике Покровском, в чиновнике Горшкове, в спившемся Емеле. Гуманизм Девушкина стал определяющей чертой его характера, охватил изображаемый им мир «бедных людей» от жалких титулярных советников до уличных нищих и мальчиков «с запиской». Эта основная тема пронизывает письма Макара. Но рядом развивается и другая, которая как бы спорит с «Шинелью», но идет несомненно от нее. Это тема сознания «бедными людьми» их человеческого достоинства, за которое так горячо встал Девушкин, прочтя «Шинель», постоянно борясь за «амбицию», опасаясь превращения человека в «ветошку», о которую ноги вытирают.

Но созданный Достоевским образ Девушкина не был бы полон, если бы он не связал с ним еще третью тему, происхождение которой надо вести уже из другого источника, а не от повестей Пушкина и Гоголя. Это тема социальной критики, «вольнодумства», к которому Макара приводят две первые темы. Если по письму Макара, посвященному «Шинели», можно видеть в нем как бы защитника строя, в котором Акакию Акакиевичу предназначена его убогая судьба, то чем далее развертывается повествование, тем яснее в нем звучат ноты критики, протеста и даже возмущения этим строем. Осуждая Гоголя за то, что он обнаружил те условия, в которых возможна трагедия Башмачкина, Макар как-то механически повторяет то, что твердил ему с детства церковный, полицейский, бюрократический порядок, символ веры николаевского государства: «Всякое состояние определено всевышним на долю человеческую. Тому определено быть в генеральских эполетах, этому служить титулярным советником, такому-то повелевать, а такому-то безропотно и в страхе повиноваться. Это уже по способности человека рассчитано; иной на одно способен, а другой на другое, а способности устроены самим богом».

Девушкин даже как бы защищает безобразную сцену, в которой молодой генерал распекает несчастного Башмачкина, пришедшего к нему за помощью: «Правда, что он еще молодой сановник и любит покричать; но отчего же и не покричать? Отчего же и не распечь, коли нужно нашего брата распечь. Ну да положим и так, например, для тона распечь — ну и для тона можно; нужно приучать; нужно острастку давать; потому что — между нами будь это, Варенька, — наш брат ничего без острастки не сде-

лает, всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот, дескать, я там-то и там-то, а от дела-то бочком и стороночкой. А так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответствующей по чину распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный, — это в порядке вещей! Да ведь на том и свет стоит, маточка, что все мы один перед другим тону задаем, что всяк из нас один другого распекает. Без этой предосторожности и свет бы не стоял и порядка бы не было».

Но это принятие раз установленного порядка не предохранило Девушкина от бурной реакции на прочитанную гоголевскую повесть. Вслед за этим письмом, увидя в книге напечатанным то, что он так тщательно скрывал и что стало предметом всеобщей насмешки, соединяя себя внутренне с Акакием Акакиевичем в его напрасных попытках сохранить свою «амбицию», Макар Алексеевич оказался в роли Вырина: решился пойти к офицеру, сделавшему Вареньке «недостойное предложение, и много говорил ему в благородном негодовании», и был, как и Вырин, вытолкнут с лестницы. Полтора месяца неудач, страданий за себя и за Вареньку разражаются «дебошами», в которых как бы совершается кризис. Появление и роль совершенно погибающего Емели как бы предсказывает Девушкину его судьбу, судьбу Вырина. Но на этот раз кризис явился как бы очищающим и благотворным — любовь к Вареньке вернула Девушкина к утверждению своего человеческого достоинства, а вместе с ним вызвала переоценку окружающего мира, понимание его порочного устройства.

21 августа он, вспоминая истоки «дебоша» и свое воскресение, так объяснял их: «Тут-то я и упал духом, маточка, то есть сначала, чувствуя поневоле, что никуда не гожусь и что я сам немногим разве лучше подошвы своей, счел неприличным принимать себя за что-нибудь значащее, а напротив, самого себя стал считать чем-то неприличным и в некоторой степени неблагопристойным. Ну, а как потерял к самому себе уважение, как предался отрицанию добрых качеств своих и своего достоинства, так уж тут и все пропадай, тут уж и падение!». Свое спасение Макар связывает с любовью к Вареньке и с ее доверием к нему: «А как вы мне явились, то вы всю мою жизнь осветили темную, так что и сердце, и душа моя осветилась, и я обрел душевный покой и узнал, что и я не хуже других; что только так не блещу ничем, лоску нет, тону нет, но все-таки я человек, что сердцем и мыслями я человек».

За этим признанием следует самое «человеческое» из писем Макара, в котором он сопоставляет рабочую и полунищую толпу петербургских обитателей на Фонтанке с «богатой улицей» Гороховой, блеском ее магазинов, оживленным движением экипажей, карет «с графинями и княжнами». Это сопоставление невольно приводит его к мысли о причине такого вопиющего неравенства:

«Отчего это так все случается», — тотчас им же самим определенное как непозволительное «вольнодумство». Но тем не менее «вольнодумные» мысли развиваются далее и приводят к выводу, что блестящие обитатели Гороховой, которые ассоциируются у него с офицером, оскорбившим Вареньку, — это не люди, «это какая-то дрянь... просто дрянь, так себе, только числятся, а на деле их нет, и в этом я уверен. Вот они каковы, эти люди!».

Девушкин решительно противопоставляет им тех, кто себя своим трудом кормит, тех, кто маются, зябнут, но «сами себе господа». «И много есть честных людей, маточка, которые хоть немного зарабатывают, по мере и полезности труда своего, но никому не кланяются, ни у кого хлеба не просят».

Продолжая развивать тему социальных противоречий, осуждая богатых и сочувствуя бедным труженикам, Макар смело рисует параллельно картины живущих в одном доме: мастерового «в дымном углу, в конуре сырой какой-нибудь, с пищащими детьми и голодной женой» и «богатейшее лицо» в «позлащенных палатах», занятого заботами только о себе, «для себя одного живущего». Возмущенный этим контрастом Девушкин заканчивает уверением в своей глубокой убежденности, искренности, выношенности всего того, что он написал в этом письме: «Это, может быть, слишком вольная мысль, родная моя, но эта мысль иногда бывает, иногда приходит и тогда поневоле из сердца горячим словом выбивается. И потому не от чего было в грош себя оценять, испугавшись одного шума и грома! Заключу же тем, маточка, что вы, может быть, подумаете, что я вам клевету говорю, или что это так, хандра на меня нашла, или что я это из книжки какой выписал. Нет, маточка, вы разуверьтесь — не то; клеветою гнушаюсь, хандра не находила и ни из какой книжки ничего не выписывал — вот что!..».

Это знаменитое от 5 сентября письмо Девушкина не было им выписано ни из Пушкина, ни из Гоголя, но оно свидетельствует о том, что писавший его в 1844 г. Достоевский был знаком с книжками, в которых развивались эти идеи. В. Я. Кирпотин, приводя известное письмо Белинского к Боткину от 8 октября 1841 г. со словами: «Социальность, социальность — или смерть. Вот девиз мой...», — писал: «Разве не могут быть поставлены эпиграфом к «Бедным людям» размышления Белинского над противоречивыми картинами петербургской жизни? Разве первый роман Достоевского не продиктован теми же чувствами, которые вылились в пламенные слова, адресованные Белинским Боткину?». В. Я. Кирпотин не сомневается, что картина петербургской жизни в письме Девушкина к Вареньке создана под воздействием комплекса идей левого крыла русской общественности 40-х годов XIX в.

Близость письма Белинского к Боткину и петербургских зарисовок в письмах Девушкина, общие идеи, высказанные там и тут, сходство отдельных образов все же не дают права говорить о непосредственном взаимодействии этих произведений. Мы не мо-

жем указать ни на какие связущие их звенья. Увлечение утопическим социализмом Белинского 1840—1843 гг. брало истоки в личных беседах с друзьями Герценом, Панаевым, Сатиным и в современной французской литературе, которую с середины 1841 г. Белинский стал ценить за социальную направленность. Он мечтал о ближайшем знакомстве с идеями утопического социализма, в которых ощущал сходство с своими новыми воззрениями: «Черт знает, надо мне познакомиться с сен-симонистами», — писал он Боткину 28 июня 1841 г., а в сентябре оказался целиком захваченным новым учением, которое стало для него «идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегою веры и знания» [8].

Знакомство со статьями Пьера Леру, с романами Ж. Санд, с журналом «Revue Independante» и другими источниками способствовало росту социальных воззрений Белинского в эти начальные 40-е годы, ярко отражалось в переписке его с друзьями, беседах и спорах, но дойти до автора «Бедных людей» никак не могло. Читая свободно по-французски и абонируясь в французской библиотеке, Достоевский мог кое-что извлекать из книг, прошедших николаевскую цензуру, которая не только задерживала периодическую прессу, но и беспощадно резала переводы романов Ж. Санд и других авторов, в которых звучали острые социальные мотивы. Но у Достоевского оставалась возможность изучать русский печатный орган, еще в 1839 г. рекомендованный братьям Достоевским Шидловским, орган, в котором писал Белинский и его друзья, через писания которых в журнал проникали идеи утопического социализма, информации о соответствующих произведениях французской литературы. В «Отечественных записках» 1842 г. печатался перевод романа Ж. Санд «Орас», который хотя и был сильно урезан цензурой, но все же передавал революционные и социалистические идеи автора, находившегося под сильным влиянием Пьера Леру. В начале 1843 г., как уже говорилось выше Достоевский с увлечением занимался переводом романа Ж. Санд «Последняя Альдини» [9].

В «Отечественных записках» 1842—1843 гг. интерес к философской, общественной и литературной жизни современной Франции был ярко отражен в двух последних отделах журнала: «Иностранная литература» и «Смесь», где сотрудничали Панаев и К. Липперт. П. В. Анненков посылал в журнал из Парижа «Письма из-за границы» в 1841—1843 г.[10] Но, конечно, на первом месте стояли статьи самого Белинского, за которыми Достоевский внимательно следил в пору писания «Бедных людей». В «Дневнике писателя» 1877 г., вспоминая это время, он особенно отмечал постоянную память свою о Белинском: «Я мало думал об успехе, а этой партии «Отечественных записок», как говорили тогда, я боялся. Белинского я читал уже несколько лет с увлечением, но он мне казался грозным и страшным, и — „осмеет он меня, моих „Бедных людей“ — думалось мне иногда“».

Уже читая Белинского в 1840 г., Достоевский впитывал из его статей те мысли, которые он потом воплотил в письмах Девушкина. В статье о «Детских книгах» («Отечественные записки», 1840, № 3), нарисовав типичных для столичных семейств отцов-лихоимцев, матерей, домашних тиранок, и изуродованных домашним воспитанием их потомков, Белинский заканчивал свои социальные картины следующими словами: «Но оставим этот ужасный предмет, от которого возмущается и содрогается человеческая природа, будто при виде удава или гремучей змеи». Основной идеей статьи явилась пропаганда «человечности», получившая ярко демократический характер в следующих словах: «Честный и по-своему умный сапожник, который в совершенстве обладает своим ремеслом и получает от него все, что нужно ему для жизни, выше плохого генерала... Выше педанта ученого, выше дурного стихотворца. Главная задача человека во всякой сфере деятельности, на всякой ступени в лестнице общественой иерархии — быть человеком...».

«Орудием и посредником воспитания должна быть любовь, а целью *человечность*... Под *человечностью* мы разумеем живое соединение в одном лице тех общих элементов духа, которые равно необходимы для всякого человека, какой бы он ни был нации, какого бы он ни был звания, состояния, в каком бы возрасте жизни и при каких бы обстоятельствах ни находился, — тех общих элементов, которые должны составлять его внутреннюю жизнь, его драгоценнейшее сокровище и без которых он не человек...»

«Уважение к имени человеческому, бесконечная любовь к человеку за то только, что он человек, без всяких отношений к своей личности и к его национальности, вере или званию, даже его личному достоинству или недостоинству, словом бесконечная любовь и бесконечное уважение к человечеству, даже в лице последнейшего из его членов, должны быть стихией, воздухом, жизнью человека, и высокое выражение поэта —

При мысли великой, что я человек,
Всегда возвышаюсь душою

девизом всей его жизни...»[11].

Эта основная идея статьи как бы запрограммировала образ, размышления, поведение Макара Девушкина. Таким было и его понимание человечности, отсюда и его гуманизм, его защита личного достоинства, своего и каждого, у кого оно унижено, отсюда и его «амбиция» и то «вольнодумство», в котором он себя упрекает.

Но те революционные выводы, к которым через два года привел Белинского этот апофеоз человечности и которые до известной степени запечатлелись в его статьях об истории Лоренца (1842) и об «Истории Малороссии» Маркевича (1843) и др., не могли отразиться в произведениях Достоевского, так как вряд ли

могли в цензурном варианте быть им расшифрованы и правильно поняты. Лично еще не знакомый с Белинским и его друзьями, зная лишь его подцензурные писания, Достоевский тем не менее «с увлечением» читал их несколько лет, глубоко воспринял проповедь гуманизма, человечности, защиты «бедных людей», и они как животворные зерна вырастили в авторе замысел его произведения, в творчески-художественном оформлении которого соединились и «лично» пережитые, прочувствованные повести Пушкина и Гоголя.

Перейдем ко второму центральному образу «Бедных людей» — Вареньке Доброселовой, в котором несомненны многие автобиографические черты. Прежде всего, описывая 14—15-летнюю девочку, Достоевский дал ей имя своей любимой сестры, бывшей на год моложе его и тесно связанной с ним и старшим братом Михаилом дружбой и общими детскими переживаниями и воспоминаниями. Еще в книге, вышедшей в 1939 г., я провела сопоставление впечатлений Достоевского от летних пребываний в Даровом с записками Вареньки Доброселовой о своем детстве, которые она посылает Макару [12]. Представляя себе жизнь детей Достоевских по воспоминаниям А. М. Достоевского, нетрудно узнать в записках Вареньки тот же характерный пейзаж, любимые места для прогулок и семейный быт Достоевских. Не случайно Варенька Доброселова, единственная дочь своих родителей, изображает многодетную семью со старой няней Ульяной Фроловной, прототипом Алены Фроловны, няни Достоевских.

«Прибежишь, запыхавшись, домой: дома шумно, весело; раздадут нам всем детям работу: горох или мак шелушить. Сырые дрова трещат в печи; матушка весело смотрит за нашей веселой работой; старая няня Ульяна рассказывает про старое время... Утром встанешь свежа, как цветочек. Посмотришь в окно: морозом прохватило все поле... В печке опять трещит огонь, подсядем все к самовару, а в окно посматривает продрогшая ночью наша собака Полкан и приветливо виляет хвостом. Мужичок проедет мимо окон на бодрой лошадке в лес за дровами...»

Поэтические описания пейзажей, окружающих усадьбу, где живет Варенька, удивительно точно и близко передают реальный пейзаж Дарового, каким он был в детские годы Ф. М. Достоевского и каким он изображен в мемуарах его брата. Низенький усадебный домик, таков, что Полкан мог заглядывать в окна, стоящий на луговине среди столетних лип и кустов акаций, проезжая дорога, проходящая мимо него, пруд недалеко от дома, за фруктовым садом, озеро за деревней, за лужайкой роща и огромный овраг, поросший кустарником. Овраг — самая характерная деталь даровского пейзажа, и именно он фигурирует в единственном рассказе Достоевского о своем детстве в Даровом, в рассказе о встрече с мужиком Мареем («Дневник писателя», 1876). Поражает близость описания в этом рассказе радости первого соприкосновения с природой, овеянной светом и благоуханием, с опи-

саниями Вареньки Доброселовой ее деревенских впечатлений от любимой рощи, осеннего вечера на озере, романтических туманов там, «где начинаются овраги, крутые, темные, заросшие лесом, глубокие, так что верхушки дерев наравне с краями приходятся...».

Не только впечатления от жизни в Даровом нашли отражения в записках Вареньки. Переезд из деревни с родителями в Петербург, поступление в пансион, постоянно раздраженный деловыми неудачами отец, болезненная мать — все это в общих чертах повторяет воспоминания писателя о жизни семьи Достоевских в последние годы в Москве так, как они нам рисуются по мемуарам А. М. Достоевского. Обращают на себя внимание такие совпадения, как веселые рассказы Вареньки дома о пансионских делах («все мы так веселы и довольны») вопреки общей мрачной настроенности в семье, упреки и попреки отца в связи с учением французской грамматики (в «Воспоминаниях» А. М. Достоевского занятия отца с братьями латинским языком), постоянные напоминания о тратах на учение детей, на растущие расходы и вымещение всех неудач на больной жене и дочери. Характерен вывод, который делает Варенька и который вполне мог сделать автор, вспоминая свою московскую жизнь: «И это совсем не от того, чтобы батюшка не любил меня: во мне и матушке он души не слышал. Но уж это так, характер был такой. Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного батюшку до крайности; он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию». Как близка эта характеристика к дошедшим до нас письмам М. А. Достоевского к жене и к сыновьям после ее смерти!

Варенька очень скупо сообщает о болезни, смерти и тем более о своих переживаниях в связи с гибелью матери, что, конечно, понятно, так как это были самые тяжелые воспоминания автора повести. Он оставил осиротелую Вареньку на руках у богатой родственницы Анны Федоровны, которая явилась причиной ее дальнейших несчастий. Нам известно, что после смерти родителей все младшие братья и сестры Достоевские были взяты сестрой матери Александрой Федоровной Куманиной на содержание и воспитание; мальчики при помощи Куманиных получили высшее образование, а девочки были выданы замуж со значительным приданым.

Имеем ли мы право продолжать сопоставление судьбы Вареньки Доброселовой и Вареньки Достоевской, сближая Анну Федоровну из «Бедных людей» и А. Ф. Куманину, а мужа Вареньки Достоевской Карепина с Быковым, как это делает комментатор в Полном собрании сочинений (т. 1, с. 467), ссылаясь «на предположения исследователя» Г. А. Федорова (без указания на печатный источник). Думаю, что это «предположение», чернящее конкретных близких писателю и дорогих ему людей, не должно было появляться на страницах академического издания. Если справедливы указания на некоторые недоразумения,

бывшие между М. А. Достоевским и Куманиными, то они, как мы говорили ранее, объяснялись мнительным и подозрительным характером отца Достоевских, а вовсе не его «гордостью и независимостью». Мы знаем, что последние годы, живя в Даровом и посещая Москву, он постоянно бывал у Куманиных, был им благодарен «за родственное участие» и пособие, которое получали от них его дети, и велел старшим братьям благодарить дядю и тетку. А. Ф. Куманина выдала замуж из своего дома с большим приданым своих двоих сводных сестер Нечаевых и трех племянниц (Достоевских), и не за малограмотных купцов и мещан, а за архитектора (Шера), двух врачей (Иванова и Ставровского), чиновника и дельца (Карепина). Сближать ее с наживавшейся на продаже девушек сводней Анной Федоровной, опираясь на «предположения исследователя», очень неосторожно. Не мог Достоевский, рисуя Анну Федоровну, даже подсознательно представлять любимую сестру своей матери, действительную благодетельницу всех его братьев и сестер, и писать о ней: «Злая женщина была Анна Федоровна. Она беспрерывно нас мучила...».

Не видим мы и в Карепине чего-либо сближающего его с Быковым. В последнем Достоевский нарисовал провинциала-помещика, гоняющегося за зайцами, тяготящегося столичной жизнью, примитивного и грубого, но не лишенного каких-то положительных черт, позволяющих ему осуждать подлое поведение Анны Федоровны и свое собственное. О Карепине будем говорить далее, анализируя столичных «дельцов» в фельетонах и повестях Достоевского.

В связи с Куманиными следует еще отметить одну деталь в «Бедных людях». В семье Достоевских было принято называть этих родственников по месту жительства в переулке на Покровке — Покровскими. Так, например, М. А. Достоевский писал 9 мая 1835 г.: «Мне совестно часто ездить и беспокоить Покровских, я заметил, что они скучают моими посещениями». Не отсюда ли появилась в «Бедных людях» фамилия Покровских?

Что представляла собой Варвара Достоевская, мысль о которой несомненно сопутствовала писанию Федором Михайловичем «Бедных людей»? Он помнил ее пятнадцатилетним подростком, каким она была во время его отъезда из Москвы в 1837 г. Он, конечно, слышал рассказы о ней, ее жизни у Куманиных после смерти отца, о сватовстве Карепина и ее замужестве от приезжавших к нему осенью 1841 г. братьев Михаила и Андрея. От переписки этого времени сохранилось лишь три письма Достоевского к Варе и ни одного от нее. Письмо Федора Михайловича от 28 января 1840 г. — ответ на письмо сестры, которая упрекала его в том, что он ее забыл. Характерно, что, уверяя в своей памяти и любви к ней, Достоевский вместе с тем особенно отмечал чувства к Вареньке их старшего брата Михаила: «Старший брат твой, любезнейшая сестра моя, любит тебя так пылко, несказанно: умей почитать и ежели можешь столько же любить

его. — Вспомни, сколько несчастий перенес он бедный, чтобы успокоить отца своего при жизни, поэтому можешь судить о любви его к родным своим. Самая теснейшая дружба связывает меня с ним».

К сентябрю 1839 г. относятся два сохранившихся обширных письма М. М. Достоевского к Варваре из Ревеля в Москву. Они позволяют несколько представить себе семнадцатилетнюю девушку, к которой обращался горячо любивший ее старший брат. Письма эти написаны в свойственном Михаилу Михайловичу в эти годы сентиментальном стиле, но вместе с тем они отражают и его хозяйственность и деловитость, с которой он отнесся к своей обязанности старшего в осиротевшем семействе: характерно, что он советуется в этой области с сестрой, которая была близка хозяйничавшей ранее в деревне матери и в настоящее время, живя у Куманиных, была в курсе забот и хлопот об оставшемся без присмотра имении Достоевских.

Но, упомянув мимоходом об этой стороне писем Михаила Михайловича, остановимся на тех деталях, которые помогут несколько раскрыть духовный облик девушки. М. М. Достоевский вызывал сестру на регулярную переписку с ним, на полную откровенность в письмах, которые должны были им помочь понять друг друга и сблизиться, заполнив то одиночество, от которого брат страдал, живя один в Ревеле: «Пиши мне о всем, что придет тебе в голову, что продиктует тебе твое сердце. Пиши ко мне о житье твоем, и, право, если бы ты стала отдавать отчет мне в каждом своем шаге, — то и тогда письма твои не наскучили бы мне. Грустно жить, сестра! не имея друга, хочется хоть с кем-нибудь поделиться своими ощущениями. . .».

Михаила Михайловича заботит развитие сестры, желание помочь ей понять те интересы, которыми он сам жил в это время: «Чем ты занимаешься теперь, милая сестра моя? Думаю, что ты не бросила науки. Образование, которое ты получила в пансионе, хотя и достаточно для девушки твоего возраста, но оно еще не достаточно для света. Я советовал бы тебе заниматься историей, а особенно искусствами. Фортепьяно — лучшая твоя отрада теперь, я это знаю или по крайней мере в этом уверен, потому что музыка была любимым наслаждением покойного папеньки! Но рисование, сестра, рисование так же необходимо для всякой воспитанной девицы».

М. М. Достоевский, признаваясь в своем исключительном увлечении немецкой литературой, выражает надежду, что со временем вместе с сестрой будет читать «великого» Шиллера, «вместе упьемся гармонией, поплачем очарованные его идеальным миром. . .».

Варенька, очевидно, быстро ответила брату, так как мы имеем его следующее письмо к ней от 20 сентября 1839 г., в котором он благодарит ее за полученные от нее сведения о Даровском хозяйстве и делится с нею своими соображениями о возможных выгодах, которые можно извлечь из управления имением (чем

он никогда не делился в письмах к брату Федору). Но что для нас особенно интересно, это то, что письмо Вареньки не удовлетворило его. Она осталась равнодушной к его призыву к полной откровенности, желанию войти в ее духовный мир, найти в нем чувства и переживания, близкие его собственным. Он не ощутил никакого отклика на его призыв и был глубоко огорчен этим, что и выразил откровенно в письме, дав тем самым соответствующий облик этой рассудительной, далекой от сентиментальности девушки:

«Ты пишешь, что читала *Телемака*. Очень, очень радуюсь. Но скажи, пожалуйста, можно ли так равнодушно относиться об этом великом произведении Фенелона? Признаюсь тебе, что письма твои меня очень радуют, даже восхищают. Слог их прост и потому очень мил, даже чист. Ты не поверишь, как это должно быть приятно для брата. Я понимаю теперь, что значит иметь сестру. Но знаешь ли, моя милая, что эту милую простоту твоих писем бесщадно убивает какой-то холод, какая-то неприятная неприступность. Я знаю этому и причину. Эта причина есть — твое отвращение от *пустяков*, как ты сама выразилась в письме своем. А пустяки-то и делают заманчивым слог девушки. Письма — тот же разговор, но только разговор через пространство, следовательно письма должны быть наполнены всем тем, что нас интересует. Ты, кажется, думаешь, что в письмах надо только писать о делах. Как были бы после этого скучны письма на свете! Вызывая тебя на взаимную переписку, я хотел, во-первых, доставить нам обоим удовольствие, а во 2-х, пользу. Да, пользу, потому что письма заставили бы тебя мыслить. А это уже важный шаг. Впрочем, как хочешь. Если ты так занята, что не можешь уделить мне ни одного часа, то мне должно будет отказаться от нашей переписки до стечения каких-нибудь важных дел, которые покажутся тебе не *пустяками*. Прощай! Милая сестра моя, не сердись на меня за мои замечания. Их источник будет всегда моя любовь к тебе» [13].

Судя по отзывам брата, Варенька Достоевская не представляется нам той мечтательницей, какой она рисуется в записках Вареньки Доброселовой, отразивших чувства и настроения самого автора повести. Письма же Вареньки Доброселовой при «чистоте слога» как раз лишены или слабо окрашены сентиментальными переживаниями, характерными для ее записок. Думается, что для Вари Достоевской ее замужество по сватовству с более чем вдвое старшим вдовцом не было жизненной драмой. Ее позднейшие отзывы о муже показывают, что она не могла понять, чем объясняется глубокая антипатия к Карепину Федора Михайловича, для которого в Карепине воплотилась вся пошлость невежественного, но самодовольного и преуспевающего дельца. Передавая в письме к младшему брату Андрею в 1847 г. привет Федору Михайловичу, Варвара Михайловна, искренно огорченная, писала: «Бог с ним, не хочет никогда написать ни строчки.

Ежели бы он видел и знал Петра Андреевича, то не утерпел бы и полюбил бы его всей душой, потому что этого человека не любить нельзя, ты знаешь, любимый брат, его душу и доброту и сам можешь оценить его» [14].

Появление замысла «Бедных людей» у их автора совпадает с его работой над переводом «Евгении Гранде», работой творческой, глубоко его захватившей. При всем различии идейного звучания этих произведений нельзя не указать на близость некоторых деталей, их соединяющих. Для обоих основой служат два образа — старика и юной девушки, связанных взаимной любовью и материальной зависимостью.

Остановимся сперва на сюжетной линии повествования. После смерти отца Варенька ведет печальную уединенную жизнь с больной матерью у богатой родственницы. В ее жизнь неожиданно вторгается вспыхнувшее чувство к жившему рядом больному нищему студенту Покровскому, посещаемому его сомнительным, всеми презираемым отцом. Еще не осознанное чувство ведет Вареньку в комнату Покровского, вызывает ее желание проникнуть в его жизнь, привлечь его внимание. Если о краткой взаимной любви молодых людей Варенька лишь бегло упоминает в своих записках, то она детально рассказывает о своем внутреннем перерождении — сперва деятельном стремлении отдать все свои скромные накопления на подарок Покровскому, потом самоотверженный уход за умирающим, смело взятый ею на себя как бы по праву, признанному окружающими.

Так же короток романтический эпизод, пережитый Евгенией Гранде, любовь к «нищему» Шарлю, которая превращает безответную, жестоко третируемую отцом девушку в решительную, готовую на жертвы и на борьбу женщину. Она в комнате Шарля узнает его секреты, отдает ему все свои деньги, хотя знает о гневе отца, и безбоязненно идет на жертвы, а теряя Шарля, полна мужества в борьбе с отцом. Обе одинокие девушки, потерявшие родителей, остаются на попечении преданных им простых женщин, которые посвящают себя заботе о них: Федора — у Вареньки, Нанета — у Евгении.

Сходен и конец жизни обеих героинь. Евгения выходит замуж за президента Бонфона, не испытывая к нему никакого чувства, отрекаясь от возможности построить с ним семью, выходит по традиции, под нажимом общества, хотя понимает, что Бонфону нужны только ее деньги.

Варенька принимает предложение Быкова из-за традиционного представления о восстановлении своей «чести», из страха перед будущим и с ясным пониманием всей разницы интересов ее и будущего мужа. Если Евгения, несмотря на свои богатства лишенная всех радостей жизни, в заключение сделала печальный вывод, обращаясь к Нанете: «Только ты одна меня любишь», — то Варенька, уезжая с Быковым в деревню, писала Макару: «Вы только одни здесь любили меня!».

Для романа Бальзака, как мы писали выше, были характерны сопоставления переживаний женской души с поэтическими изображениями явлений природы, цветами, растениями. Так, началу любви Евгении к Шарлю Бальзак посвящает введение, которое в переводе Достоевского разрастается путем включения новых синонимов, эпитетов, сравнений (см. с. 124). Тот же эмоциональный настрой мы ощущаем в записках Вареньки при описании пережитых счастливых дней: «Ох, это было и грустное и радостное время — все вместе: и мне и грустно, и радостно теперь вспоминать о нем. Воспоминания, радостные ли, горестные ли, всегда мучительны; по крайней мере так у меня; но и мучение это сладостно. И, когда сердцу становится тяжело, больно, томительно грустно, тогда воспоминания свежат и живят, как капли росы в влажный вечер, после жаркого дня, свежат и живят бедный, чахлый цветок, сгоревший от зноя дневного».

Слова о значении для Вареньки воспоминаний, у которой только они и остались от короткого счастья, особенно сближают ее облик с Евгенией. Евгения сознательно сохраняла обстановку и порядок в доме, каким он был во время пребывания Шарля, окружала себя предметами, которыми он пользовался. И вот характерный факт: почти в конце повествования, получив письмо с известием, что Шарль вернулся в Париж и предполагает жениться, Евгения, молча страдая, прошла в зал: «В зале ей был приготовлен завтрак. Фарфоровая чашка, стаканы, сахарница, — все это ее памятники о Шарле. Больно от воспоминаний! Куда деваться от них!».

Последних слов о «воспоминаниях» нет во французском оригинале. Это восклицание Достоевского, который через несколько месяцев рукою Вареньки напишет в ее записках: «Воспоминания, радостные ли, горькие ли, всегда мучительны; по крайней мере так у меня; но и мучение это сладостно».

Неоднократно писалось, что эпистолярная форма «Бедных людей» восходит к популярным романическим образцам конца XVIII—начала XIX в. как в западноевропейской, так и в русской литературе, что она представляла возможность раскрыть внутренний мир героев и анализировать их переживания. Но мы должны согласиться с Г. М. Фридлендером, что «если Достоевский, воспользовавшись для своего первого романа формой романа в письмах, следовал определенной, уже сложившейся литературной традиции, то самое применение им этой традиции было глубоко оригинальным, новаторским и необычным» [15]. В то время как в сентиментальном романе или романтической повести на грани XVIII—XIX вв. обычно берутся в основу письма добродетельных героев-любовников, часто противопоставляющих себя окружающей действительности, у Достоевского это письма рядовых, ничем не замечательных людей, ничтожных по своему положению в обществе, но вырастающих в глазах читателей в до-

стойных подлинного уважения и сочувствия героев переживаемой ими трагедии.

По поводу выбора Достоевским эпистолярной формы можно добавить, что и в 30-х годах она пользовалась популярностью, объясняемой современными исследователями стремлением к исторической убедительности повествования[16].

Отметим, что так поразившая юного Достоевского Ж. Санд в 1834 г. выпустила роман «Жак» в эпистолярной форме, который был переведен и напечатан в «Отечественных записках» в 1844 г. Вспомним также, что в 1840—1843 гг. Достоевский пробовал свои силы исключительно в драматической форме. В переводе романа Бальзака он имел большую практику в оформлении прямой речи героев, их писем, диалогов. Говорить от первого лица ему было привычнее, чем повествовать от лица автора. Закономерно было и включение в переписку рукописи записок Вареньки. Вспомним, что тотчас после «Бедных людей» Достоевский «в одну ночь» написал «Роман в девяти письмах».

Мы вполне согласны со следующим утверждением Г. М. Фридлендера; «Форма переписки позволила Достоевскому соединить трезвый рассказ об объективной социальной трагедии „бедных людей" с теплотой и лиричностью, отличающих его первый роман. И вместе с тем форма эта позволила молодому писателю сделать язык героев одним из средств их углубленной социально-психологической характеристики. В отличие от персонажей писателей-сентименталистов и романтиков герои Достоевского пишут свои письма, пользуясь не возвышенно-сентиментальным, условным языком чувства, — самый язык писем Девушкина и Вареньки обусловлен их социальным бытием и духовным развитием».

Принимая эти положения, мы не можем, однако, согласиться с утверждениями Г. М. Фридлендера, находящимися тремя страницами далее: «Письма Макара Алексеевича и Вареньки выдержаны автором в сходной, сентиментальной манере. Подобно героям сентиментального романа XVIII века, герои Достоевского придают особое значение жизненным мелочам, о которых они пишут с повышенной эмоциональностью...». Хотя далее автор совершенно справедливо отделяет героев «Бедных людей» от «захоздалых продолжателей сентименталистских традиций» и указывает на то, что их сентиментальный стиль «становится средством их социальной и психологической характеристики», мы не можем говорить о «сходном стиле» обоих героев, объединив его названием «сентиментального».

В. В. Виноградов дал тщательный анализ речи Макара Девушкина, совершенно оставя в стороне речь Вареньки. Исследователь не только нигде не упоминает о «сентиментальной манере», свойственной речи Макара, но все время указывает на ее непосредственную связь с поэтикой реализма, то как персонажа демократического «натурального романа», то как речь «самого писателя-реалиста». Тонкий анализ чиновничьей разговорной речи

Макара с вкрапленными в нее оборотами канцелярской письменности, соединение с разговорным городским «просторечьем», составляющим «добрую половину фразеологии мелкого служилочиновничьего сословия», вскрыт и подкреплен В. В. Виноградовым очень убедительно десятками примеров и ссылок. Вскрыт им в письмах Девушкина и «образ автора», подсказанный эпиграфом к повести и подтверждающий признание Достоевского, что в основе каждого его художественного произведения лежит факт «глубоко лично пережитой поэтики» [17].

«Сентиментальный стиль» письмам Девушкина придают два их свойства, о которых В. В. Виноградов даже не упомянул в своем анализе. Это отмеченное еще критикой 40-х годов обилие в них уменьшительных форм существительных и прилагательных, а также многочисленные ласкательные наименования и прозвища. Известно, что, переиздавая в 1847 г. и позднее текст «Бедных людей», Достоевский десятками снимал уменьшительные формы, но об общем количестве их дает представление следующий факт: в одном последнем письме Макара Девушкина их осталось в тексте сорок! Уменьшительные слова характерны для его слога, так же как и его бесконечные ласковые наименования: «маточка», «голубчик», «ангельчик», «херувимчик», «дружочек» и др. Выше мы говорили, что Достоевский обильно снабдил ими и речь отца Гранде в переводе романа Бальзака. Еще раз укажем на близость этих особенностей стиля писем Макара к письмам родителей Достоевского, где мы найдем те же уменьшительные и ласкательные, вплоть до таких редких и устарелых для 30-х годов, как «жизненочек». Мы приводили употребление этого слова в переводе речи отца Гранде параллельно с использованием его Макаром Девушкиным (см. с. 126). Укажем здесь на письмо М. А. Достоевского жене от 6 августа 1833 г., в котором читаем: «Прощай, душа моя, голубица моя, радость моя, жизненочек мой...» [18]. Это выражение встретилось нам в романе XVIII в. «Неонила, или Распутная дщерь» (2 ч. М., 1794) в таком контексте: «Кто может быть невесел, когда с такою богинею и таким жизненочком в компании...». По словарю Даля: «жизненочек, жизненок — милый, любезный, желанный, жизнь моя...».

Кроме уменьшительных и ласкательных выражений, Достоевский при отдельном издании выбросил ряд повторений, идущих вслед за обращениями, а также многочисленные частицы *то*, *дескать* и др., которые придавали его эпистолярии стиль просторечия и были неуместны в письменной форме.

Иную картину представляет стиль писем Вареньки и работа над ними Достоевского в 1846—1847 гг. Несомненно, что при написании «Бедных людей» Достоевский демонстрировал разницу стилей писем обоих корреспондентов и мещанско-чиновничьему языку Макара противопоставлял более литературный, интеллигентный язык Вареньки. Но в самих писаниях Вареньки можно различить как бы два стиля, стиль ее записок, излиятельно-эмо-

циональный, и стиль ее писем Макару, в большинстве дружески-деловой. Первый действительно можно назвать сентиментальным по насыщенности выражением взволнованных чувств, переходящим иногда в патетику, изобилующим также уменьшительными и ласкательными именами, идиллически зарисованными сценами. В записках Вареньки и в письме от 3 сентября Достоевский при переиздании решительно сократил описания деревенской жизни — картин природы и счастливого существования благодарных крестьян. Изъял он и отдельные патетические выражения Вареньки, заменив их на более сдержанные и спокойные, снял повторения и расстановку слов, служащих для усиления эмоций, и вместе с тем удалил и вульгаризмы, некоторое «просторечие», не шедшее к образу Вареньки. Однако там, где в содержание писем Вареньки вторгалась тема Девушкина (изображение старика Покровского — разновидности Девушкина), то и в стиль ее писаний вторгаются, по замечанию В. В. Виноградова, специфические особенности стиля Девушкина с его захлебывающейся, нескладной речью и всеми составляющими ее элементами [19]. Но бо́льшая часть писем Вареньки к Девушкину рассудочно холодна, иногда сбивается на официально деловой тон, изложена правильным литературным языком и как-то перекликается с той характеристикой писем Вареньки Достоевской, которую им дал старший брат Михаил, хваля за «простоту и чистоту» слога и упрекая за «какую-то их холодность и неприятную неприступность» и за «отвращение от пустяков», т. е. передачи в письме жизненных мелочей. Но эта характеристика стиля писем никак не вяжется с записками Вареньки.

Значение «Бедных людей» было очень велико для всего раннего творчества Достоевского: создав в них два образа, каждый со своим стилем изложения, Достоевский в ближайшие годы продолжал работу над дальнейшим развитием, вариациями и углублением каждого из них. За «Бедными людьми» появляется ряд повестей о бедных чиновниках, гибнущих в борьбе за свое существование, личное достоинство, свою «амбицию», и ряд повестей о мечтателях, которые, задыхаясь в окружающей действительности и пытаясь уйти от нее в вымышленный мир, также приближаются к своей неизбежной гибели.

VI

«Двойник»

«Пишу к тебе тотчас же по приезде моем, по условию. Сказать тебе, возлюбленный друг мой, сколько неприятностей, скуки, грусти, гадости, пошлости было вытерпено мною во время дороги и в первый день в Петербурге — свыше пера моего». Так в первых числах сентября 1845 г. Достоевский начал письмо М. М. Достоевскому, вернувшись домой после трехмесячного пребывания в семье брата в Ревеле.

Описав далее трудную ночь на пароходе, отвратительную погоду и физическую слабость, Достоевский характеризовал свое душевное состояние, которое определил как «тоску невыносимую», и старался его объяснить:

«Как грустно было мне въезжать в Петербург. Я смутно перечувствовал всю мою будущность в эти смертельные три часа въезда. Особенно привыкнув с вами и сжившись так, как будто бы я целый век уже вековал в Ревеле, мне Петербург и будущая жизнь петербургская показались такими страшными, безлюдными, безотрадными и необходимость такою суровою, что если б моя жизнь прекратилась в эту минуту, то, кажется, я с радостью бы умер. Я, право, не преувеличиваю».

Кратко сообщив о первых сутках, проведенных дома, и бегло коснувшись того, что он «в настоящее время почти совсем без ресурсов» («Впрочем, все это вздор...»), Достоевский продолжал письмо, «оттого что тоска и письмо просились написаться», и заканчивал вопросами:

«Что-то скажет будущность... Что-то будет, что-то будет впереди? Я теперь настоящий Голядкин, которым я, между прочим, займусь завтра же» [1].

Достоевский не только ощутил себя подобным герою, над созданием которого в это время трудился, но передавал ему свои переживания, о чем заметил в конце этого же письма: «Голядкин выиграл от моего сплина. Родились две мысли и одно новое положение».

Мы присоединяемся к пониманию «Двойника» Достоевского, предложенному Ф. И. Евниным [2], и прежде всего видим в нем не антигуманистическую идею фатальной «раздвоенности» человеческой личности и подмену социальной основы психопатологией,

а дальнейшее развитие и углубление социально-психологического анализа. Фоном служит резко критикуемый феодально-бюрократический строй, взятый в несколько более высоком слое, чем в «Бедных людях», а на этом фоне изображена его жертва — пытающийся бороться за свои «права», за свои достоинство и честь, но гибнущий господин Голядкин. Эта борьба не наивная охрана Девушкиным внешних атрибутов своей «амбиции» (мундир, сапоги), не боязнь Прохарчина потери своего места на службе в департаменте, это действительно осознаваемая героем борьба за «права» своего существования в окружавшем его обществе, страх перед одиночеством, перед враждебными, теснившими его силами. Не распадение личности, а стремление к ее утверждению в непосильной борьбе имел в виду Белинский, когда писал о «Двойнике», что «характер героя принадлежит к числу самых глубоких, смелых и истинных концепций, какими только может похвалиться русская литература» [3].

Но мы не можем согласиться с Ф. И. Евниным, когда он ставит в один ряд Голядкина с Башмачкиным, Поприщиным и Девушкиным. Мы думаем, что в новой «чиновничьей» повести Достоевский поставил себе задачей изучение объекта несколько более высокого интеллекта, более материально обеспеченного, чем в «Бедных людях», «Прохарчине» и «Слабом сердце». Он показал, какому искажению подвергалась психология этого наиболее распространенного петербургского обывателя, принадлежавшего к «среднему» чиновничьему звену, к которому по «табелю о рангах» принадлежал Голядкин. Хотя его фамилия говорила о его плебейском происхождении, но он не был рядовым переписчиком бумаг, как Акакий Акакиевич или Девушкин, а составлял и подготовлял их для чтения и подписи генерала. Он имел слугу и приличную одежду, мог не заботиться о сапогах и шинели, он свободно употреблял слова иностранного происхождения и вспоминал о появлявшихся в газетах политических сведениях. Язык его писем свидетельствует о его свободном владении как современной витиеватой канцелярской прозой, так и высоким «штилем» литературы начала XIX в. По своему чину и положению в департаменте он имел «права» на определенное положение в среднем чиновничьем слое, но, как правильно отметил Ф. И. Евнин, этот слой его отверг: «Тот социальный круг среднего чиновничества, в котором Голядкин страстно желал „быть как все“, домогаясь уважения и признания его скромных достоинств, с позором отверг и изгнал его, исключил из своей среды». И далее Ф. И. Евнин еще раз скрепил трагедию Голядкина с определенным социальным слоем столичных жителей: «Очевидно, писатель считал комплекс переживаний, чувств, ситуаций, заключенных в образе Голядкина, характерным именно для среднего люда столицы». Это предположение находит себе прямое подтверждение в тексте «Двойника». Когда Голядкин после отказа Берендеевых принять его проник на званый вечер через черный ход, он напрасно ищет и не нахо-

дит в толпе гостей ободряющей поддержки себе: «Нечего мне стыдиться, Андрей Филиппович, — отвечал господин Голядкин, — обводя свои несчастные взоры кругом, потерявшись и стараясь по сему случаю отыскать в недоумевающей толпе средины и социального своего положения».

Страдания Голядкина вернее всего назвать столь излюбленным героями Достоевского 40-х годов словом из военно-чиновничьего лексикона этого времени — страданиями от «амбиции». Широко понимая этот термин в духе эпохи, его можно расшифровать как переживания от несоответствия оценки подлинных достоинств и заслуг лица в области его моральных, социальных, чиновных или возрастных данных, их ущемления, принижения. Отсюда чувство постоянной мнительности, подозрительности, легко переходящее в обиду, или скрываемую, или откровенно обнаженную. Так, например, выходя из ресторана после съеденных пирожков и замечания конторщика: «коли взяли, так нужно платить, у нас ничего даром не дают», — Голядкин «остановился и вдруг покраснел так, что даже слезы выступили у него на глазах от припадка страдания амбиции».

Если основой «амбиционных» переживаний являлся феодально-бюрократический строй, то росли и питались они той мнительностью и подозрительностью, которая развивалась в антагонистическом обществе, порождая чувство неуверенности в будущем, его боязни и недоверия ко всему окружению, приводя к ощущению, признанию своего одиночества. Именно на эти ощущения жаловался Достоевский, возвращаясь из Ревеля в Петербург, называя себя Голядкиным, так как в своем герое он исследовал прежде всего его страдания от «амбиции». Правда, описывая свое состояние по приезде в Петербург, Достоевский не выражает мнительности и подозрительности, которые обычно сопутствуют «амбиции», но его собственное признание 1 апреля 1846 г. в письме к брату: «У меня есть ужасный порок: неограниченное самолюбие и честолюбие» [4], — открывает источник ряда его тяжелых переживаний, которые его ожидали как раз в связи с публикацией «Двойника».

В памяти Достоевского с детских лет должен был запечатлеться образ отца, постоянно страдавшего от гипертрофированной мнительности, подозрительности, постоянного ощущения недружелюбия окружающих, от одиночества, и именно этими свойствами он мог напоминать Голядкина, а вовсе не жалобами на бедность, которые вовсе не были характерны для героя «Двойника» [5].

Выход «Двойника» весной 1846 г. вызвал не только ряд журнальных отзывов, но и оживленное устное обсуждение. Достоевский писал брату о трех категориях читателей: «Иные из публики кричат, что это совсем невозможно, что глупо и писать и помещать такие вещи, другие же кричат, что это с них и списано и снято, а от некоторых я слыхал такие мадригалы, что говорить совестно» [6]. Насколько велика и многочисленна была вторая

группа читателей, скоро подтвердил в своих статьях Валериан Майков. Он писал менее чем через полгода после выхода «Двойника» в статье-рецензии на «Петербургские вершины» Я. Буткова о распространенности голядкинских черт у современников, об их признанной типичности:

«Господин Голядкин старший... так же выразителен и вместе с тем так же общ, как какой-нибудь Чичиков или Манилов. Голядкиным называете вы большую часть ваших знакомых, а подчас и себя; от фамилии Голядкин вы не могли не произвести прилагательного: голядкинский; наконец, теперь вам досадно, зачем так нескладно выходит существительное, в котором у вас есть насущная потребность и которое соответствовало бы существительным *чичиковщине, маниловщине*».

Анализ голядкинских переживаний, ставших типичными для определения социального слоя николаевской эпохи, Валериан Майков дал еще раз через полгода в обзоре «Нечто о русской литературе 1846 г.», где вскрыл истоки и результаты голядкинских амбиций как основы типического образа и самого сюжета повести:

«„Двойник" развертывает перед вами анатомию души, гибнущей от сознания разрозненности частных интересов в благоустроенном обществе. Вспомните этого бедного, болезненно самолюбивого Голядкина, вечно боящегося за себя, вечно мучимого стремлением не уронить себя ни в каком случае и ни перед каким лицом и вместе с тем постоянно унижающегося даже перед личностью шельмеца Петрушки, постоянно соглашающегося обрезывать свои претензии на личность лишь бы пребывать *в своем праве*, вспомните, как малейшее движение в природе кажется ему зловещим знаком сговорившихся против него врагов... вспомните все это и спросите себя: нет ли в вас самих чего-нибудь голядкинского, в чем только никому нет охоты сознаться» [7].

Это вторичное признание В. Майкова в наличии голядкинских черт не только у «знакомых» читателя, но «подчас» и у самого читателя «Двойника» через пятнадцать лет прозвучало в критике Добролюбова, который утверждал, что при «хорошей обработке» из Голядкина мог бы выйти «тип, многие черты которого нашлись бы во многих из нас» [8].

Авторское признание Достоевского в своей близости герою повести («Я теперь настоящий Голядкин»), его упоминание о первых читателях «Двойника», которые «кричали», что «это с них списано и снято», настойчивое возвращение Валериана Майкова к указанию на распространенность и типичность переживаний Голядкина для известного социального слоя, упоминание о том же Добролюбова интересно подтвердить действительным высказыванием одного из первых читателей «Двойника», признавшего себя потенциальным Голядкиным, хотя и значительно превосходившего его умственным развитием и образованием. Но, прежде чем привести это свидетельство, надо сказать несколько слов о его

авторе, что особенно важно, так как интересующее нас признание находится в письме, адресованном Гоголю.

В отделе рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина хранятся шесть писем Дмитрия Константиновича Малиновского к Гоголю 1845—1849 гг. Это длиннейшие послания, каждое из которых Малиновский писал в течение нескольких дней, а иногда и месяцев. Общий объем их занял бы в печати более полусотни страниц. Они не опубликованы, но два письма Гоголя к Малиновскому опубликовал сам адресат еще в 1865 г. в «Русском архиве» (№ 9), дав при публикации некоторые сведения о себе и неточные сведения о письмах Гоголя. Содержание писем Малиновского позволяет исправить эти сведения и дать представление об их авторе [9].

Д. К. Малиновский родился, вероятно, в 1825—1826 г. в небогатой семье чиновника, имевшего небольшой дом в одном из переулков на Пречистенке в Москве. Отец его в 40-е годы был в отставке, давал уроки на фортепьяно. Д. К. Малиновский был старшим из трех сыновей. Он кончил гимназию, где учился сперва превосходно, позднее кое-как. В 1845 г. он поступил на математический факультет Московского университета, но занимался плохо, с трудом перешел на II курс, на котором остался на второй год. В своей семье Малиновский с детских лет занимал исключительное положение: он был авторитетом не только для братьев, образованием которых руководил, но и для родителей. Очевидно, на него возлагала надежды вся семья, которая с трудом перебивалась на скудные средства. Студентом он давал уроки, и его личный заработок превышал доходы всего семейства. Но для приобретенных еще в гимназии привычек к кутежам и расточительности заработанных денег не хватало. Он запутался в долгах, для него заложили дом — единственную ценность семьи.

В старших классах гимназии Малиновский возомнил себя литератором, стал писать для гимназических журналов, но, как признавался сам, никак не мог уложиться в нормы статей и заметок: «В литературной летописи вместо трех строк я писал три страницы, в смесь писал огромные статьи, главы из неоконченных романов... Из тысячи моих сочинений одно кажется только кончено». Учителю он представил сочинение, в котором не было «ни начала, ни средины, ни окончания».

Многословие, неумение четко выразить мысль, закончить вовремя речь, своеобразное «топтание на месте» — главный недостаток писем Малиновского, недостаток, который он сам хорошо сознавал. В третьем письме своем он писал Гоголю: «Теперь, написавши 5 листов, я понял, что писал очень бестолково. Хоть я и знаю, что у меня было о чем писать, но знаю также, что из моих пяти листов сущность выжмется едва ли четверка. Теперь только, когда дело приходит к концу, идеи мои просветляются и приходят в маленький порядок, но дело уже сделано, остается

извиняться». И далее: «Прочтя свое письмо, я сам не знал, на чем остановиться, и никак не мог сказать себе, об чем я писал».

Первое письмо Гоголю было им написано 19—25 декабря 1845 г., вероятно, из весьма поверхностного желания вступить в переписку со знаменитым писателем, выявить в письме свою «гениальность» и заинтересовать собою Гоголя. Письмо написано с чисто мальчишеской развязностью и самомнением. Вот небольшой отрывок автохарактеристики, которой наполнено письмо: «Да и я — презанимательнейшая штука. Если вы захотите писать драму в нынешнем вкусе — опишите меня... Послушайте, откровенно вам скажу, во мне есть частичка гения. Это не нескромность. Душа говорит, я не хвастаюсь. Из меня ничего не будет — это другое дело, может быть. Я писать не могу, но понимать и наслаждаться могу...». Далее на многих страницах Малиновский чрезвычайно туманно говорит о своей «будущей философии», которую он предполагает разработать и которая будет «наукою жизни», но заканчивает свои рассуждения совершенно в стиле Хлестакова: «Призвание мое на поприще писания (если я буду писатель), конечно, философия, это дело решенное; но кажется я и водевили могу писать», — и излагает далее начатый водевиль, который хвалят его приятели.

Первое письмо Малиновский заключил предложением посылать Гоголю свои писания — романы, повести — для оценки. Не получив ответа от Гоголя, Малиновский продолжал писать ему, но складывал написанное «в сундук», не отправляя адресату, до тех пор, пока в середине декабря 1846 г. не прочел в предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» просьбу Гоголя к читателям писать ему. Он вынул часть написанного весною 1846 г., присоединил к нему еще длиннейшее письмо и послал Гоголю через С. П. Шевырева. Упоминая в этом письме неоднократно о «Мертвых душах», Малиновский в сущности все письмо наполняет выспренними рассуждениями на тему о поэте, его призвании, его отличии от толпы, его мучениях и одиночестве. От этой темы он перешел к изображению себя, опять-таки без особой скромности говоря о своем уме, талантливости, добром сердце и нежных чувствах. Но тут же он констатирует свой главный порок — отсутствие воли: «Но я ни к чему не гожусь, я не имею воли. Трудно себе представить такого, можно сказать, беспутного, бесталантливого человека, при всех моих добрых намерениях, при всей моей часто упоминаемой талантливости... Скажу вам коротко, какую бы я себе ни задал задачу, какой бы план ни начертил для своей деятельности, ничего не выходит, ничего не делаю».

Но рядом с не совсем, может быть, искренним самообличением Малиновский поместил несколько очень искренних фраз о своем отношении к Гоголю, о значении для него этого писателя: «Мне кажется, я просто тосковал, горевал, любил ваши сочинения, уважал вас, признавал ваше необыкновенное дарование,

сам чувствовал призвание к высокому и пожелал снискать ваше участие, счастлив буду, если найду его. Я желал вам выразить себя и, кажется, успел в этом: я не мал по крайней мере».

Получив второе письмо Малиновского, Гоголь ответил ему около 10 марта 1847 г., причем откликнулся и на темы первого письма (посещение трактиров и т. д.), утешал, что из него может выйти «человек полезный и нужный земле своей», и приветствовал, как «умную», его мысль по поводу «Мертвых душ» описывать современный окружающий его люд: «Я уверен, что это принесет пользу обоюдную, как мне, так и вам, а может быть, даже и самой публике, если окажется в ваших записках кое-что приличное знать и другим и по этому случаю стоющее быть публикованным».

На письмо Гоголя Малиновский тотчас же ответил 1—12 апреля 1847 г. длиннейшим третьим письмом, полным самоанализа и самобичевания. В нем звучит даже мотив раздвоенности, напоминающий о «Двойнике»: «Понимаете ли, в чем мое горе? В том, что я сшит из высокого и самого пошлого», — восклицал Малиновский, прося Гоголя «спасти» его. От личной темы он вновь переходил к рассуждениям о назначении поэта, его роли в жизни, о пользе, им приносимой. Он ставил вопросы Гоголю о влиянии его художественных сочинений, спорил с ним о значении «Мертвых душ», видя главное их достоинство в наслаждении, которое испытывает человек при их чтении, а не в той «пользе», ради которой их задумал автор. Далее он возражал Гоголю, не принимая его объяснения «Мертвых душ» как воплощения пороков самого автора:

«Извините, мне право кажется, что вы немного ошибаетесь. Разве эти пороки только в вас и есть? Да помилуйте, любой порок из «Мертвых душ» в любом человеке у нас найдется! Если вы говорите, что обнаружение вашего порока вас от него избавило, почему и другим это не поможет?».

Характерно, что рассуждения о «Мертвых душах» Гоголя наводят Малиновского на мысль о «Двойнике» Достоевского, на сопоставление этих произведений. Напомним, что это сопоставление началось с момента появления «Двойника». Достоевский писал брату 1 февраля 1846 г. о друзьях из кружка Белинского: «Наши говорят, что после „Мертвых душ“ на Руси не было ничего подобного... Голядкин удался мне донельзя. Тебе он понравится даже лучше „Мертвых душ“, я это знаю». Вал. Майков в июле того же года писал: «Господин Голядкин старший... так же выразителен и вместе с тем так же общ, как какой-нибудь Чичиков или Манилов...». Малиновский, сравнивая изображение «злодеев» у Шекспира и Пушкина, говорит далее о героях «Мертвых душ» и вспоминает Голядкина Достоевского:

«...вы не клепали ни на Ноздрева, ни на Чичикова, ни на кого. Может быть, вам-то неприятно, что вы набрали все *недобродетельных*? Простите меня, мне право немножко смешно стало:

Эх вы, себя доканать все хотите!.. Вы еще были очень снисходительны, вы не порок описали, а целиком взяли людей с недостатками, а люди эти так похожи на людей, что и пороки на них не надписаны, как будто они в самом деле живут с нами. Вы были совершенным творцом. Вот не читали вы повести нового писателя Достоевского: «Двойник», там кажется уже слишком пересолено или по крайней мере взят больной человек. По сходству кой в чем героя этой повести со мною я очень его дичился и, признаюсь вам, начал стыдиться того, чего прежде не стыдился. Грубому вкусу наших читателей так и надобно побольше посолить, чтобы они расчухали и начали исправляться».

Это признание Малиновского интересно как свидетельство далеко не заурядного современника о восприятии им той «превосходной» идеи, которая, по словам автора «Двойника», была заложена в повести с ее «величайшим по своей социальной важности типом» [10]. Малиновский признал могучее воздействие творчества молодого Достоевского на психологию своих читателей, которое мог сопоставить с влиянием Гоголя.

Вероятно, на это письмо Гоголь ответил Малиновскому июльским письмом 1847 г., в котором, не касаясь «Мертвых душ» и «Двойника», советовал корреспонденту «частое обращение с человеком на жизненном поприще», «перебить мыслительную жизнь нашу просто деятельной жизнью в прозаическом смысле» и предлагал хотя бы на малое время заняться учительской работой.

Следующие два письма Малиновского (ноябрь 1847 г. — август 1848 г.) полны самого мрачного отчаяния и интимных признаний в своей лживости, испорченности, тяжелом семейном положении. Отчаяние кажется ему безвыходным, и он думает о самоубийстве как разрешении противоречий. Эти письма вызвали сочувственные отзывы Гоголя в письмах к Шевыреву и, вероятно, объясняют посещение Гоголем Малиновского тотчас после приезда в Москву.

Некоторый интерес представляет последнее, шестое письмо Малиновского к Гоголю, относящееся к апрелю 1849 г., когда он имел возможность лично общаться с писателем. Оно целиком посвящено книге «Выбранные места из переписки с друзьями» и появившимся на нее печатным, письменным и устным откликам. Стремясь выявить свое отношение к книге, Малиновский то и дело упоминает о различных суждениях по ее поводу: «Еще до чтения ее я о ней слышал разные смутные вести, между которыми одна особенно выдавалась, что вы очень больны. Как будто слышалось даже, извините, что болезнь оказала влияние на ваши умственные способности и что вы уже вовсе не то, что были. . .».

Прочтя книгу, Малиновский не увидел в ней резкого противоречия с предшествующим творчеством Гоголя: «В суждениях, которые разошлись о вашей книге, должно быть, декорации приняты

за самое представление. Что касается до меня, я не вижу в ней никакого противоречия тому духу, который характеризует ваши сочинения и проявляется в них, образуясь с течением времени все больше и больше; иные же говорят, что вы в ней как будто перерождаетесь. Те, которых поразила в вашей книге новость, имели в виду, вероятно, одну ее внешность — статьи, драпирующие ее появление».

Выразив мысль о связи новой книги с прежними сочинениями ее автора, Малиновский бросил и второе замечание о том, что книга явилась «пробным камнем» для критиков Гоголя. Однако разобраться в своем отношении к книге он не сумел, и его рассуждения о ней так же хаотичны и разбросаны, как и предшествующие письма. Он защищает книгу от журнальных нападок, указывает на ее положительные стороны, туманно рассуждает о правах и назначении поэта-философа и в целом видит в книге Гоголя начатки «русской философии», дальнейшую разработку которой от него ожидает. Из его рассуждений ясно, что Малиновский примкнул к реакционному крылу критики и что ему совершенно чужды мысли знаменитого письма Белинского к Гоголю о его книге. Об этом письме он нигде не говорит прямо, но один странный и очень туманный отрывок последнего письма Малиновского имеет, как нам кажется, связь с разговорами о судьбе критика.

Надо вспомнить, что Белинский умер вскоре после того, как его письмо к Гоголю в многочисленных списках разошлось в русском обществе, что одновременно с его смертью распространились слухи о его предполагавшемся аресте, одной из причин которого было бы, конечно, его знаменитое письмо. Надо вспомнить также и то, что Малиновский писал Гоголю в конце апреля 1849 г. тотчас после ареста петрашевцев, которым чтение письма Белинского к Гоголю было предъявлено как обвинение, повлекшее за собой приговор к смертной казни. Не смея назвать имени Белинского, которое было изгнано в это время из русской печати, Малиновский, по нашему мнению, в приводимой далее цитате из его последнего письма аллегорически нарисовал картину гибели критика, в которой за осуждением его позиции ощущается явная симпатия к умершему:

«Приговор, который многими критиками над вашей книгой произнесен, посадил их на мель: загубили они рекомендацию своей многоглаголивой светской всеобъемлемости даже своего бесстрастия — ваша книга подарила публику драматическим событием. Лежит на арене тот, кто недавно разъезжал по ней в светлом наряде, на прекрасном коне... Зачем вы его сбили? Он был доброе, прекрасное существо, с большим умом и эстетическим благородством! Жесток и горек был для него конец, горек неожиданно, негаданно, и тем более горек и ужасен. Так ненадежно и тленно все на земле, так страшно жить на земле, так пагубна желанная независимость, так могуча рука создателя, нами правящая...

Не вмешаемся в суд божий, оплачем собрата и с новою мягкостью на душе обратимся к нашей собственной работе... Да, судьба вашей книги подарила нас многими драматическими фактами...».

Шесть многоречивых, часто сумбурных писем московского студента 40-х годов отразили его восторженное преклонение перед Гоголем и несомненное влияние на него последнего, его признание своей близости и воздействия на его поведение героя «Двойника» Достоевского и, наконец, косвенно и условно запечатлели образ человека, оставившего глубокий след как в жизни и творчестве этих писателей, так и в сознании многих своих рядовых современников.

VII

«Господин Прохарчин»

В журнале «Время», в фельетоне 1861 г. «Петербургские сновидения в стихах и прозе», Достоевский среди других «снов» рассказал о новом Плюшкине или Гарпагоне — некоем восьмидесятилетнем нищем, отставном титулярном советнике Соловьеве, оказавшемся владельцем состояния в 169 тысяч рублей серебром. Увидев на Невском «фантастическую фигуру» старика, которого его воображение ассоциировало с умершим Соловьевым, Достоевский углубился в размышления о том, как образовалось это «колоссальное лицо»: было ли это повторением психологии «скупого рыцаря», довольствовавшегося сознанием своей власти и поэтому стоявшего «выше всех желаний», или с Соловьевым «дело происходило совсем другим образом»? Достоевский пришел к заключению: «Нет, это было верно не так». — И дал свое понимание психологии и истории скупости. Он представил молодого рядового чиновника, превратившегося в жалкого, «робеющего» накопителя, живущего в вечном страхе и постепенно теряющего облик человека [1].

О причинах этого превращения Достоевский высказывает предположение самого общего характера: «Но вдруг с ним что-нибудь случилось такое, как будто подталкивающее под локоть, — одно из тех происшествий, которые в один миг изменяют всего человека, так что он даже сам того не заметит. Может быть, с ним была какая-нибудь минута, когда он вдруг как будто во что-то прозрел и заробел перед чем-то». Объяснение ограничивается ссылкой на исключительное психологическое состояние; реальные факты действительности, явившиеся причиной душевного потрясения, не указываются [2].

В фельетоне 1861 г. в том или ином виде отразились повести Достоевского 1840-х годов — «Слабое сердце», «Бедные люди», «Двойник». Автор писал: «Теперь мне снится, пожалуй, хоть и то же, но в других лицах, хотя и старые знакомые стучатся иногда в мою дверь». В лице Соловьева перед Достоевским также возник старый знакомый, герой его рассказа 1846 г. «Господин Прохарчин», хотя писатель нигде не намекнул на эту связь. Можно объяснить это тем, что в фельетоне было прямо указано на

недавнее газетное сообщение о Соловьеве, которое и явилось источником размышлений автора.

«Господин Прохарчин», так изуродованный цензурой, что от него готов был отречься его создатель, а Белинский и другие критики не могли оценить всего значения этого произведения, по замыслу тесно связан с задуманной Достоевским, но не дошедшей до нас повестью «об уничтоженных канцеляриях» [3]. Рассказ о патологической скупости Прохарчина уходит корнями в социальную действительность того времени, в вечный страх маленького человека лишиться «места» и с ним куска хлеба. «Бедняка начинает преследовать мысль о непрочности, о необеспеченности его положения», — писал Добролюбов. Его страх становится тем более гнетущим, что он в прочность собственного смирения перестал верить, ощутил в себе возможность «вольнодумства», протеста против действительности, а это в николаевской империи было страшнее угрозы голодной смерти [4].

Достоевский изобразил в Прохарчине чиновника, находящегося на штатной службе и получающего скромное жалованье. Путь накопления, который избирает Прохарчин, это не выдача денег под заклад, как делал Соловьев (для этого надо было признаться в наличии у него какого-то капитала), а постоянное урезывание своих потребностей, прежде всего экономия в еде. Отсюда и фамилия «Прохарчин», от народного «прохарчиться» — истратиться на харчи, проесться (см. словарь Даля).

Если основная идея рассказа — страх человека перед необеспеченностью и потенциальный протест против жестокой действительности — возникла у Достоевского, автора «Бедных людей» и «Двойника», в результате его наблюдений над психологией петербургской бедноты, то сама реакция на этот страх, выразившаяся в образе жизни Прохарчина, по всей вероятности, как и в фельетоне 1861 г., была подсказана писателю газетной информацией. 9 июня 1844 г. в «Северной пчеле» (№ 129, с. 513) в отделе «Смесь» была напечатана заметка под названием «Необыкновенная скупость». Ряд совпадений в ней с рассказом Достоевского дает основания воспроизвести здесь ее полностью:

«Находившийся на службе коллежский секретарь Никифор Бровкин нанимал за пять рублей ассигнациями в месяц весьма тесный уголок, Васильевской части, у солдатки Абрамовой; горячей пищи никогда не употреблял, а довольствовался куском хлеба с редькой или луком и стаканом воды. От столь дурной пищи он заболел и был отправлен в больницу, где на днях умер. Имение его приведено было в известность, как следует, и заключалось в самых ничтожных вещах: в том числе был старый истертый тюфяк, который, впредь до распоряжения, оставлен был под присмотром Абрамовой, которая, перетрясая тюфяк Бровкина, нашла в нем зашитые в бумагу восемь билетов Сохранной казны и Коммерческого банка, на внесенный им капитал 1035 рублей

70 ³/₄ коп. серебром, которые ею и представлены местной полиции. Все, знавшие г. Бровкина, считали его за человека самого бедного, не имеющего средств к дневному пропитанию.

— Знакомым своим иногда он рассказывал, что был в гостях, обедал хорошо и съел рубля на два или на три, обозначая цену всякому блюду, которое ему подавали.

Абрамова в щелку перегородки иногда замечала, что Бровкин не имеет на себе рубашки, упрекала его в скупости и получала в ответ, что жалованья, которое он получает, недостаточно на его пищу и наем квартиры» [5].

Сопоставляя приведенную статейку с рассказом Достоевского, прежде всего важно отметить, что и тут и там речь идет о служащем чиновнике (хотя в «Господине Прохарчине» цензура сняла даже самое слово «чиновник»), получающем жалованье, но тем не менее уверяющем окружающих, что жалованье это такое, «что и корму не купишь» (Прохарчин), что его «недостаточно на его пищу и наем квартиры» (Бровкин).Оба снимали «за пять рублей ассигнациями в месяц» самый темный и скромный уголок (Прохарчин) и «весьма тесный уголок» (Бровкин) у квартирных хозяек одного типа и социального положения. Оба экономили прежде всего на «харчах»: если Прохарчин еще иногда позволял себе есть половину горячего обеда, но «чаще же всего не ел ни щей, ни говядины, а съедал в меру ситного с луком, с творогом, с огурцом рассольным или с другими приправами, что было несравненно дешевле, и тогда только, когда уже невмочь становилось, обращался опять к своей половине обеда», то Бровкин «горячей пищи никогда не употреблял, а довольствовался куском хлеба с редькой или луком и стаканом воды», что и привело его к болезни и смерти. Направленность мысли Бровкина на стоимость «харчей» выразилась также и в том, что он высчитывал стоимость каждого блюда, съеденного им в гостях. Этой детали нет у Достоевского, с образом его Прохарчина никак не вязалась возможность обедов «в гостях».

Экономия касалась также расходов на одежду. У Достоевского этой стороне жизни Прохарчина посвящена страница, и одна деталь так близко совпадает с рассказом о Бровкине, что мы не можем считать это случайностью. Хозяйка Бровкина «в щелку перегородки иногда замечала, что Бровкин не имеет на себе рубашки, упрекала его в скупости». В рассказе Достоевского хозяйка Прохарчина «собственными глазами видела, с помощью ветхих ширм, что ему, голубчику, нечем было подчас своего белого тельца прикрыть». Сходным оказывается и наследство, оставшееся после смерти Бровкина и Прохарчина. «Имение» Бровкина «приведено было в известность, как следует (т. е. в присутствии представителя власти. — *В. Н.*), и заключалось в самых ничтожных вещах». В сундуке Прохарчина, вскрытом квартальным, «торжественно, при ком следует», обнаружилась «дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от которой пахло залавком». И тот и другой оставили

тюфяки: «голый, ветхий и масляный» — у Прохарчина и «старый, истертый» — у Бровкина. И именно в тюфяках оказались накопления обоих. Суммы были близкие: У Бровкина — 1035 рублей серебром, а у Прохарчина — около 2500 рублей ассигнациями.

Краткое сопоставление сходных деталей свидетельствует о том, что Достоевский, по-видимому, был знаком с заметкой в «Северной пчеле». Разумеется, обыденное газетное сообщение совершенно преобразилось под его пером. Идейное значение рассказа, в котором скупость Прохарчина понимается как результат социальных и политических условий того времени, самый образ Прохарчина и характеристика его окружения совершенно не связаны с газетной заметкой. Тем не менее исследователю нельзя не принять во внимание, что не только в романах 60—70-х годов Достоевский черпал материал из текущей жизни, отраженной в печати, там же искал он его и в 40-х годах, что до сих пор нам было неизвестно [6].

Достоевский прочел заметку в «Северной пчеле», вероятно, летом 1844 г., в пору самой горячей работы над «Бедными людьми». Переживая с Девушкиным его тяжелую участь, сочувствуя его гуманным и «вольнодумным» порывам, он в то же время сохранял где-то в глубине памяти столь несхожую газетную зарисовку маленького чиновника, скупца, накопителя, очевидно лишенного всяких не только гуманных, но и «амбиционных» настроений.

Наступил 1845 год. «Бедные люди», появившиеся в печати, распахнули перед автором блестящие литературные перспективы, Девушкина сменил Голядкин, борец за свои «права», весь воплощенная амбиция и вместе ее жертва. А в памяти автора продолжал жить ютившийся за перегородкой Бровкин, который из года в год копил в тюфяке стоимость несъеденных им щей и пирогов. Наступил 1846 год. Голядкин был напечатан. А к этому времени Достоевский уже знал, что вынудило Бровкина откладывать в тюфяк свои гроши, кто его окружал и что фамилия его уже была не Бровкин, а Прохарчин, т. е. человек, проевшийся, прохарчившийся, разорившийся на еде.

1 апреля 1846 г. Достоевский пишет брату, что для огромного альманаха, задуманного Белинским, он пишет две повести: «1) Сбритые бакенбарды, 2) Повесть об уничтоженных канцеляриях, обе с потрясающим трагическим интересом и — уже, отвечаю, — сжаты донельзя» [7].

Так как обстоятельства с изданием альманаха Белинского изменились, а Достоевский нуждался в деньгах, которые он мог получить от Краевского, предоставив ему в счет ранее взятых уже готовую рукопись, «Повесть об уничтоженных канцеляриях» в сильно сокращенном виде была им предназначена для «Отечественных записок». Вместо предполагаемого названия (вряд ли приемлемого для цензуры) она получила скромное название «Господин Прохарчин». 26 апреля Достоевский сообщал брату: «Я должен окончить одну повесть до отъезда небольшую за

деньги, которые я забрал у Краевского, и тогда уже взять вперед денег». 16 мая он сообщал ему же: «Я пишу и не вижу конца работе». До отъезда в Ревель 24 мая работу Достоевский не кончил и взял ее с собой. Как он вспоминал в начале 1847 г., уже работая с вдохновением над «Хозяйкой», «Господин Прохарчин» достался ему нелегко: «Пером моим водит родник вдохновения, выбивающийся прямо из души. Не так как в Прохарчине, которым я страдал все лето».

«Господин Прохарчин» появился в печати лишь в октябрьской книжке журнала. Но, сообщая 1 апреля о «Повести об уничтоженных канцеляриях», Достоевский уже знал причину трагедии своего героя, так как «Господин Прохарчин», несомненно, был связан с идеей повести, задуманной для Белинского.

В «Сновидениях в стихах и прозе» (1861) Достоевский высказал о другом скупце предположение, «каким образом он может быть уже в молодости, как будто во что-то прозрел и заробел перед чем-то». Может быть, с Прохарчиным также случилось десятилетия тому назад, когда он в более спокойном, тихом окружении находился у той же хозяйки на прежней квартире и незаметно отдавался своей мании. Но переезд на новую квартиру, где его окружил десяток жильцов, разных возрастов и характеров, избравших себе забавой его «странность», вызвал в Прохарчине те психологические изменения, которые и привели его к катастрофе. Шутки молодежи содействовали тому, что «господин Прохарчин смешался и запутался от такого всеобщего толка». «Кроме того, по всем признакам можно совершенно безошибочно заключить, что Семен Иванович был чрезвычайно туп и туг на всякую новую, для его разумения непривычную мысль и что, получив какую-нибудь новость, всегда принужден был сначала ее как будто переваривать и пережевывать, толку искать, сбиваться и путаться и, наконец, разве одолевать ее, но и тут каким-то совершенно особенным, ему только одному свойственным образом...» «Открылись, таким образом, в Семене Ивановиче вдруг разные любопытные и доселе не подозреваемые свойства... Способствовало эффекту и то, что господин Прохарчин вдруг ни с того, ни с сего, быв с незапамятных времен все в одном и том же лице, переменил физиономию: лицо стал иметь беспокойное, взгляды пугливые, робкие и немного подозрительные; стал чутко ходить, вздрагивать и прислушиваться и, к довершению всех новых качеств своих, страх как полюбил отыскивать истину».

Это почти все, что сообщает Достоевский о внешнем виде и изменении характера Прохарчина, который «заробел» на всю жизнь, но другим способом Достоевский беспощадно обнажил перед читателем, до какой степени убожества дошла духовная сущность его героя, полностью лишившегося естественных человеческих качеств.

Причиной «робости», убившей в Прохарчине не только сознание своих «прав», но и какой-либо намек на «амбицию», был страх

остаться без «места», вне «канцелярии», в которой он видел единственную возможность существования, т. е. страх перед неизбежной гибелью, ожидавшей его в связи с «закрытием канцелярии». Очень коротко, почти как в газетной заметке, Достоевский пишет о физических лишениях, на которые идет Прохарчин, но на протяжении всей повести он тщательно фиксировал, к каким духовным результатам привела Прохарчина его мания. Он не только потерял способность рассуждать, но и выражать словами умственные процессы, в сущности он лишился связной разумной речи, основного, свойственного лишь человеку дара. После живой, разнообразной разговорчивости Девушкина, после витиеватой, но продуманной и устремленной речи Голядкина поражает лапидарный, полубессмысленный набор слов, вырывающихся у Семена Ивановича. Вероятно, Достоевский не раз вспоминал, работая над Прохарчиным, папашу Гранде, его заикание, но там это был сознательно применяемый скупцом прием в разговорах о денежных комбинациях, была хитрость, на которую был не способен Прохарчин, языковая убогость которого отражала его духовную убогость.

При небольшом объеме повести, при довольно значительном количестве действующих лиц обращает на себя внимание, как много и как настойчиво Достоевский возвращается к воспроизведению речи Прохарчина, тем более что его речь не содержит никаких сведений, помогающих развиваться действию. Впечатления Прохарчина от присутствия на пожаре передает за него автор, не соблюдая своеобразия его речи. Смысл в передаче бессвязных выкриков Прохарчина не в их содержании, а в форме, которая демонстрирует, до какой степени одичания, бессмыслия может дойти это словесное «топтание на месте».

Так как на этот интерес Достоевского к речи Прохарчина исследователи не обращали внимания[8], я позволю себе несколько на нем остановиться.

Странные реплики Прохарчина имели обычно отрывистый характер и состояли из перечня обидных наименований, редко связанных глаголом, указанием на действие, как, например: «Ты мальчишка, молчи! Празднословный ты человек, сквернослов ты! Слышишь, каблук! Князь ты, а? понимаешь науку?» (с. 252). Или: «Ты мальчишка, ты свистун, а не советник, вот как; знай, сударь, свой карман, да лучше сосчитай, мальчишка, много ли ниток на твои онучки пошло, вот как!» (с. 242).

Достоевский не только демонстрировал косноязычие своего героя, но дал читателю как бы отчет в том, как оно возникло. Противопоставляя «красноречивому» Марку Ивановичу, говорившему длинные поучительные речи, Прохарчина, автор писал: «Со своей стороны Семен Иванович говорил и поступал, вероятно, от долгой привычки молчать, более в отрывистом роде, и, кроме того, когда, например, случалось ему вести долгую фразу, то, по мере углубления в нее, каждое слово, казалось, рождало еще по другому слову, другое слово, тотчас при рождении, по третьему, третье по

четвертому и т. д., так что набивался полон рот, начиналась перхота, и набивные слова принимались, наконец, вылетать в самом живописном беспорядке. Вот почему Семен Иванович, будучи умным человеком, говорил иногда страшный вздор. «Врешь ты, — отвечал он теперь, — детина, гулявый ты парень! а вот как наденешь суму: побираться пойдешь, ты ж вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец"» (с. 253).

В то время как для передачи косноязычия Прохарчина Достоевский не жалеет места в повести, в ней удивительно мало говорится об основной причине, доведшей героя до потери человеческого языка, о его страхе лишиться «места», об «уничтожении канцелярий», хотя все окружение Семена Ивановича заинтересовано в этом и переживает бурные эмоции, тщательно описанные автором. Между тем о самом факте «закрытия канцелярий» упомянуто лишь мельком, в связи с судьбой «попрошайки-пьяницы» Зимовейкина. Мы думаем, что именно это место подверглось солидной цензурной купюре, обессмыслевшей повесть и вызвавшей отчаянное признание автора в письме к брату 17 сентября 1846 г.:

«Прохарчин страшно обезображен в известном месте. Эти господа известного места запретили даже слово *чиновник,* и бог знает из-за чего; уж и так все было слишком невинное, и вычеркнули его во всех местах. Все живое исчезло. Остался только скелет того, что я читал тебе. Отступаюсь от своей повести».

Обращаем внимание, что цензуру беспокоил не бред Прохарчина, а реакция чиновников, которые бурно себя проявили, слушая Прохарчина.

Остановимся несколько на сожителях Семена Ивановича. Их в повести семь человек. Двоих автор называет лишь по имени и отчеству и дает им характеристики, остальных — по фамилии и без индивидуальных примет. Старший и, очевидно, наиболее уважаемый жилец, Марк Иванович, характеризуется как «умный и начитанный человек», принявший «формально защиту Семена Ивановича» и объявивший «довольно удачно и в прекрасном, цветистом слоге, что Прохарчин человек пожилой и солидный и уже давным-давно оставил за собой свою пору элегий». Марк Иванович в собрании жильцов является наиболее благонамеренным, осуждающим «вольнодумие» Прохарчина и выступающим с его разоблачением. Второй нетипичный чиновник — Зиновий Прокофьевич, очевидно наиболее молодой и легкомысленный жилец, «имевший непременною целью попасть в высшее общество», а также «перейти в гусарские юнкера», раздражал Прохарчина своим «молодоумием» и откровенными насмешками над его скопидомством.

Пять остальных чиновников имели фамилии, которые свидетельствовали о их происхождении из духовного звания, где в конце XVIII—начале XIX в. было принято в семинариях снабжать учащихся фамилиями по указаниям духовного начальства. Особенно часто давались фамилии, произведенные или от церковных празд-

ников и предметов, или от понятий отвлеченных, а также иностранных слов. В «Господине Прохарчине» чиновники носили фамилии: писарь Океанов, другой писарь — Судьбин, «Преполовенко — жилец» (церковный праздник — Преполовение), «Кантарев — разночинец», «Оплеваниев — жилец». «Были еще и другие», — замечает в конце перечисления автор.

Все названные чиновники обрисованы как несемейные, и только однажды в бреду у Прохарчина проскальзывает, «как призрак», один сослуживец, напоминающий Горшкова из «Бедных людей»: «Андрей Ефимович, тот самый маленький, вечно молчаливый лысый человечек, который помещался в канцелярии за целые три комнаты от места сиденья Семена Ивановича и в двадцать лет не сказал с ним ни слова... считает свои рубли серебром и, тряхнув головой, говорит ему: „Денежки-с! их не будет, и каши не будет-с, — сурово прибавляет он... — а у меня, сударь, семеро-с“».

Разговоры и шутки чиновников, «молодых ребят» в «Господине Прохарчине» насыщены выражениями и острословием, характеризующими быт петербургских канцелярий. Повторялись легенды, идущие от эпохи Сперанского, что будут проводиться специальные экзамены чиновников для проверки их образования, а также другие меры для повышения их культуры, приводились и требования к чиновникам, соответствующие современным политическим обстоятельствам: по мнению «их превосходительства», «женатые чиновники „выйдут“ посолиднее неженатых и к повышению чином удобнее, ибо смирные и в браке значительно более приобретают способностей» [9].

Но шутливая болтовня и остроты переходят в общее серьезное волнение и напряженное ожидание собравшихся вокруг бредящего, привезенного после пожара Прохарчина. В ответ на поучающую речь Марка Ивановича Прохарчин ответил потоком брани, назвав оратора «вольнодумцем» и «потаскуном».

В ответ на недоуменные вопросы Зиновия Прокофьевича Семен Иванович обругал его шутом, «озлясь на сочувствователей».

По нашему мнению, именно здесь и находилось еще что-то, сказанное Прохарчиным, что и явилось причиной всеобщего дальнейшего волнения, но что было удалено в цензуре:

«Тут Семен Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии упал на кровать. Сочувствователи остались в недоумении, все разинули рты, ибо смекнули теперь, во что Семен Иванович ногой ступил, и не знали с чего начать» (с. 253).

Появление Зимовейкина всех выручило:

«По-видимому, не ошиблись, призвав его на помощь, ибо тотчас, узнав, в чем вся сила, обратился он к накуролесившему Семену Ивановичу и с видом такого человека, который имеет превосходство и сверх того знает штуку, сказал: „Что ты, Сенька?.. Ты не куражься! Смирись Сеня, смирись, не то донесу все, братец ты мой, расскажу, понимаешь?“».

Прохарчин все разобрал, «ибо вздрогнул, когда выслушал заключение речи», и начал «с потерянным видом озираться кругом». Следующая далее речь Марка Ивановича подтверждает, что Прохарчиным были выражены какие-то предосудительные мысли, исчезнувшие в тексте, но ставшие предметом общего волнения и напряжения. Марк Иванович говорил, что «питать подобные мысли, как у него теперь в голове, во-первых, бесполезно, во-вторых, не только бесполезно, но даже и вредно; наконец, не столько вредно, сколько даже совсем безнравственно, и причина тому та, что Семен Иванович всех в соблазн вводит и дурной пример подает». Выступление Марка Ивановича вызвало «иносказательный» ответ Прохарчина, и начались всеобщие возражения, которые не приводятся, но так характеризуются автором и вызывают такую реакцию у участников спора: «.. вмешались все, и старый, и малый, ибо речь началась вдруг о таком дивном и странном предмете, что решительно не знали, как это все выразить. Спор наконец дошел до нетерпения, нетерпение до криков, крики даже до слез, и Марк Иванович отошел, наконец, с пеной бешенства у рта... Оплеваниев плюнул, Океанов перепугался, Зиновий Прокофьевич прослезился, а Устинья Федоровна завыла совсем...».

Эта всеобщая истерия дальше объяснена страхом, которым всех заразил Семен Иванович: «если видели, что Семен Иванович от всего заробел, то на этот раз заробели и сами сочувствователи», и только благонамеренный Марк Иванович напомнил чиновникам, что они «не имеют права бояться». «Имеете ли право бояться-то? Кто вы? Что вы? Нули, сударь...»

В тексте только после этих сцен следует разговор о закрытии канцелярии, о ее возможной ненужности, о превращении «смирного» Прохарчина в «вольнодумца», который пойдет побираться с сумой, и новая угроза Зимовейкина *«донести»* на вольнодумца.

Обличительное для 40-х годов слово «вольнодумец» звучит в «Прохарчине» иначе, чем в «Бедных людях» и в «Двойнике». Макар Девушкин наивно говорит о своем вольнодумии, сравнивая Вареньку с графиней в карете, сапожника с барином в золоченых палатах, Голядкин открещивается от наименования «вольнодумец», не осознавая своего протеста. Прохарчин выразил свое вольнодумие, усумнившись в прочности правительственных учреждений Николая, через которые царь управляет страной. Чиновник погибал от страха перед возможностью их уничтожения и, значит, верил в возможность их гибели. Именно на эту мысль Прохарчина бурно реагировал Марк Иванович: «весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства» подбежал к кровати Семена Ивановича и кричал: «...Что вы один, что ли, на свете? Для вас, свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? Что вы? Кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет?!».

Так самый тихий и мирный жилец со своей тайной идеей накопительства вырастает в повести Достоевского в сознании окру-

жающих чиновников в «вольнодумца», чья «вольность» в мыслях приводит его к потере веры в прочность николаевской империи, ему грозят «доносом» и, наконец, обвинением в «наполеонизме». Не так уж «слишком невинно», по выражению автора, была задумана повесть, и не с одним словом «чиновник» боролась пропускавшая ее цензура. Тем опаснее должна она была казаться цензорам, что после обвинения Прохарчина в наполеонизме, вызвавшего у него болезненный кризис, среди чиновников зашевелились самые «вредные» мысли, оставленные, однако, цензурой:

«Все ахали и охали, всем было жалко и горько и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог заробеть человек!.. вдруг вздумалось теперь человеку, с пошлого, праздного слова какого-нибудь, совсем перевернуть себе голову, совсем забояться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело... А не рассудил человек, что и всем тяжело! „Прими он вот только это в расчет, — говорил потом Океанов, — что вот всем тяжело, так сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как куда следует“» (с. 237).

Интересно, что этот самый Океанов-писарь тотчас же после смерти Прохарчина побежал к квартальному Ярославу Ильичу, очевидно имея связи с полицией. «Жилец Океанов, бывший доселе недальний, смиреннейший и тихий жилец, вдруг обрел все присутствие духа, напал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок ускользнул из квартиры», в результате чего «когда все ужасы безначалия достигли своего последнего периода... дверь отворилась, и внезапно, как снег на голову, появились сперва один господин благородной наружности и с строгим, но недовольным лицом, за ним Ярослав Ильич, за Ярославом Ильичом его причет и все кто следует и сзади всех — смущенный господин Океанов» (с. 259).

Следует сказать еще несколько слов о двух действующих в повести лицах — Зимовейкине и Ремневе, которых при появлении полиции «сдали кому следует на руки». Эти две фигуры, вместе с бредовым видением пожара Прохарчиным, являются как бы первой зарисовкой Достоевским столичного «дна», сведшего с ума героя повести. Если «суровый и небритый Ремнев», с ножом оказавшийся под кроватью умершего Прохарчина, рисуется как бы кандидатом в будущие «Записки из Мертвого дома», то образ Зимовейкина уже в повести дан очень емким и сложным. Фамилия его произведена не от семинарских прозвищ, а от народного наименования избы-прибежища в степи или тайге для забредших путников, промышленников (Даль). Краткое изложение его прошлого — уже готовая новелла Достоевского о крайнем моральном падении человека. Зимовейкин «рассказал, что страдает за правду, что прежде служил по уездам, что наехал на них ревизор, что пошатнули как-то за правду его и компанию, что явился он в Петербург и пал в ножки к Порфирию Григорьевичу, что поместили его, по ходатайству, в одну канцелярию,

но что, по жесточайшему гонению судьбы, упразднили его и отсюда, затем, что уничтожилась сама канцелярия, получив изменение; а в преобразовавшийся новый штат чиновников его не приняли, сколько по прямой неспособности к служебному делу, столько и по причине способности к одному другому, совершенно постороннему делу...». Из жилища Устиньи Федоровны он был дважды «с бесчестьем» изгнан, но держал себя актерски умело, развязно, убеждал слушавшихся его чиновников, ухаживал за хозяйкой, втерся в доверие Прохарчина, украл у него новые рейтузы, но грозил другу доносом за его поведение.

Если этот «попрошайка-пьянчужка, человек совсем скверный, буйный и льстивый», был пределом морального падения человека, то Прохарчин был пределом умственного падения человека, лишившегося не только человеческих привычек, но мыслей и речи человеческой. В этом отношении «Господин Прохарчин» является самой мрачной из ранних повестей Достоевского, так как обличает античеловеческий порядок, при котором возможно такое искажение образа человека, до какого дошли Прохарчин и Зимовейкин.

Хотя в «Господине Прохарчине» мы имеем, по свидетельству автора, только «скелет» того, что было им задумано и написано, мы можем верить Достоевскому, что неизвестная нам «Повесть об уничтоженных канцеляриях» была бы повестью «с потрясающим трагическим интересом».

VIII

«Неточка Незванова»

1. Ефимов

Неточка начинает свой рассказ с повествования о человеке, который «слишком сильно» отразился в первых впечатлениях детства, имевших влияние на всю ее жизнь. Это, как она выражается, «биография» ее отчима, музыканта Егора Ефимова — «самого странного, самого чудесного человека из всех», кого она знала.

Характеристика и жизнь Ефимова, изложенные в первой главе «Неточки Незвановой», резко отличаются от характеров и существования персонажей предшествующих повестей Достоевского. Это не петербургский чиновник, как Макар Девушкин, Голядкин и другие, не полусказочный образ, как Мурин из «Хозяйки». Это очень сложный, но вполне реальный, глубоко жизненный характер, результат особых природных данных, развивающихся в определенных социальных условиях.

Это — натура артиста, художника, и окружающая его действительность — Россия Николая I.

Деятели искусства как герои художественных произведений охотно избирались писателями романтической школы 30-х годов. «Особую тематическую группу романтических произведений составляли повести об искусстве и художниках», — пишет исследователь этого жанра 30-х годов XIX в.[1] Можно назвать новеллы В. Одоевского «Последний квартет Бетховена» «Себастьян Бах» и его же «Живописец» (1839), повесть Н. Полевого с тем же названием (1833), повесть А. Тимофеева «Художник» (1835) и повести Гоголя «Невский проспект» и «Портрет». Для них характерно изображение артиста как исключительной личности и его конфликта с окружающим обществом. Но если одних по преимуществу интересует воплощение эстетических идеалов в духе философского романтизма (В. Одоевский), других — проблема взаимоотношений художника-демократа и светского окружения (Н. Полевой), то третьи используют центральный персонаж — артиста — для развертывания мелодраматического сюжета, сцен и картин (А. Тимофеев).

У Достоевского в изображении Ефимова на первом плане анализ его изломанного характера, находящегося в постоянном «надрыве» и конфликте с действительностью. Только заключительная сцена его «биографии» окончательно раскрывает ту душевную язву, которая точит музыканта и вызывает его безобразные, отталкивающие поступки. Несомненно, что низкое социальное положение Ефимова было первопричиной его тяжелых душевных переживаний, и в этом отношении его история — это история, трагедия нищего артиста в среде обеспеченного общества. Но мы не думаем, что Достоевский ставил себе задачей проследить в судьбе Ефимова воздействие его социального положения и объяснить им его гибель, как пишет Л. М. Розенблюм: «Одну из главных причин духовного краха Ефимова Достоевский видел в социальных условиях. Крайняя нищета, неравноправие с художниками из дворян, отсутствие настоящей школы, а значит, и привычки к постоянному серьезному труду — все это при большом самолюбии человека, хорошо понимающего силу своего дарования, приводит Ефимова к моральному падению и безумию.»

Та же мысль лежит в основе объяснения драмы Ефимова В. Я. Кирпотиным: «В самом Ефимове Достоевского интересовала по преимуществу не судьба художника, а социальное и философское объяснение его удела. История Ефимова — это история художника-разночинца, художника-пролетария». Указывая далее на неблагоприятные условия, в которых протекала жизнь Ефимова, В. Я. Кирпотин отмечал развитие в нем болезненного самолюбия и «устремления в верхние общественные этажи». Однако, последнее, очень существенное, например, для Чарткова в «Портрете» Гоголя, совершенно не развито, не подчеркнуто в обрисовке Ефимова Достоевским, так же как им не заостряется внимание читателя на «тисках нужды», которые якобы побуждали Ефимова унижаться и «обкрадывать собственную жену» [2].

Наоборот, во всей «биографии» Ефимова Достоевский старательно подчеркивает возможности для музыканта развития им своих способностей. Ефимов не крепостной, он свободен. Помещик, в оркестре которого он играет, обрисован не только как любитель, ценящий и понимающий искусство, но и как человек, чрезвычайно внимательно относящийся к личности и чувствам артиста. Его поведение с Ефимовым, возможности, которые он ему предоставляет для развития таланта, неоднократная помощь, советы — все говорит о его гуманности и отсутствии угнетающих условий жизни в ранней молодости Ефимова. Неточка рассказывает, что «помещик вел себя самым благородным образом. Он старался о моем отчиме так, как будто тот был его родной сын».

Дальнейшие этапы жизни Ефимова, его бедствия показаны автором как результат личных свойств и поступков музыканта (растрата денег, неуживчивость в оркестрах). Но и здесь встреча со скрипачом Б., его длительная помощь и поддержка Ефимова, наконец, его личный пример — пример бедняка, добивающегося

своими силами, упорным трудом овладения искусством, — давали Ефимову возможность артистического роста и достижения успеха.

Достоевский упорно подчеркивал грубость, несправедливость, «заносчивость», доходящие до лжи и клеветы, в поведении Ефимова в ответ на заботы о нем. Они были результатом скрытой боли, грызущей душу Ефимова, которая обнаруживалась при встрече с Б., представлявшим полную ему противоположность. Б. так охарактеризовал своего неудачливого товарища: «Энтузиазм его был какой-то судорожный, желчный, порывчатый, как будто он сам хотел обмануть себя этим энтузиазмом и увериться через него, что еще не иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдохновение». Б. увидел, что «вся эта порывчатость, горячка и нетерпение — не что иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте; что даже, наконец, и самый талант, может быть, и в самом-то начале был вовсе не так велик, что много было ослепления, напрасной самоуверенности, первоначального самоудовлетворения и беспрерывной фантазии, беспрерывной мечты о собственном гении».

Б. удивлялся изумительному инстинктивному пониманию искусства Ефимовым при его ничтожных познаниях, слабой технике, личном бессилии как артиста. Он пытался наставить его на тот путь, на котором сам добивался артистического успеха и удовлетворения. Но эти советы вызывали насмешки Ефимова, дошедшего до «крайнего цинизма» и беззастенчиво эксплуатировавшего своего трудолюбивого товарища. Внутренняя драма Ефимова временами прорывалась признаниями, которые были его приговорами самому себе: «Ефимов, сквозь слезы и рыдания, проговорил, что он погибший несчастный человек, что он давно это знал, но что теперь только усмотрел ясно свою гибель. — У меня нет таланта! — заключил он, побледнев, как мертвый». Но это признание и сознание вновь заслонялись годами надежд и мечтаний, выношенной уверенностью в своей гениальности, будущем успехе и славе.

Внутренняя борьба находила выход в стремлении залить ее боль вином и желании мстить за нее всем, кто соприкасался с ним. Он мучил и обвинял свою жену, которая его кормила, оклеветал помогавшего ему Б., высмеивал артистов и капельмейстеров, с которыми работал в оркестре, пьесы, которые они исполняли, и композиторов, их написавших. Выгнанный из оркестра, он вел жизнь прихлебателя, развлекавшего собеседников злобной болтовней: «Он говорил всегда остро и умно и пересыпал свою речь едкою желчью и разными циническими выходками, которые нравились известного рода слушателям». Период его полного нравственного падения закончился катастрофой, которая вскрыла и полностью обнаружила точившую его душу язву, после чего уже невозможно было заглушить ее боль и вообще как-либо существовать.

Катастрофа художника, сознавшего потерю таланта, в которой он сам виновен, распад его морального мира и в результате помешательство и гибель, была, по нашему мнению, изображена Достоевским в какой-то связи и зависимости от творчества его великого вдохновителя и учителя — Гоголя.

В 1835 г. в «Арабесках» была напечатана первая редакция повести «Портрет». В 1842 г. «Портрет», сильно переработанный автором, был напечатан дважды: в «Современнике» (№ 3) и в третьем томе «Сочинений Николая Гоголя». В том же году Белинский в «Отечественных записках», в ответе К. Аксакову «Объяснение на Объяснение», дал свою оценку повести, хваля ее первую часть и резко осуждая вторую, которая «невыносимо дурна и со стороны главной мысли и со стороны подробностей». В заключение он писал: «А мысль повести была бы прекрасна, если б поэт понял ее в *современном* духе: в Чарткове он хотел изобразить даровитого художника, погубившего свой талант, а следовательно и самого себя, жадностию к деньгам и обаянием мелкой известности. И выполнение этой мысли должно было быть просто, без фантастических затей, на почве ежедневной действительности: тогда Гоголь своим талантом создал бы нечто великое...» [3].

В начале повести Гоголь характеризовал Чарткова как «художника с талантом, пророчившим многое: вспышками и мгновениями его кисть отдавалась наблюдательностию, соображением, шибким порывом приблизиться более к природе». Далее приводились наставления его профессора, который признавал его талант, но предостерегал от увлечения модой, светом, погоней за деньгами. Он указывал на главный недостаток Чарткова — нетерпение, которое погубит его талант: «Но ты нетерпелив... Терпи. Обдумывай всякую работу, брось щегольство — пусть их набирают другие деньги. Твое от тебя не уйдет».

Чарткова губят попавшие в его руки деньги, позволившие ему быстро расстаться с «жалкой судьбой художника, тернистым путем, предстоявшим ему на этом свете». После недолгих колебаний (более тщательно освещенных в первой редакции повести) он становится модным знаменитым художником, входит в светское общество. Все это уносит его «далеко от труда и мыслей. Кисть его хладела и тупела, он не чувствительно заключился в однообразные, определенные, давно изношенные формы». Его портреты вызывали удивление художников и знатоков. Они «не могли понять, как мог исчезнуть в нем талант, которого признаки оказались уже ярко в нем при самом начале, и напрасно старались разгадать, каким образом может угаснуть дарованье в человеке, тогда как он только достигнул еще полного развития сил своих. Но этих толков не слышал упоенный художник».

Слава и деньги заменили Чарткову вдохновенье, радость творчества. Но, так как «слава не может дать наслажденья тому, кто украл ее, а не заслужил... все чувства и порывы его обрати-

лись к золоту. Золото сделалось его страстью, идеалом, страхом, наслажденьем, целью».

Потеря таланта его не терзала до встречи с присланным из Италии произведением художника, прежнего товарища Чарткова. Это произведение было результатом работы гениально одаренного творца и вместе с тем труженика «с пламенной душой», который годы жил отшельником, всем пренебрегал, все отдав искусству. Своим совершенством, творческой силой картина потрясла многочисленное собрание знатоков, на которое был приглашен Чартков. Он готовился принять равнодушный вид, высказать пошлое суждение, но когда увидел шедевр, то «неподвижно, с отверстым ртом» остался стоять перед картиною. На вопрос о его мнении «речь умерла в устах его, слезы и рыдания нестройно вырвались в ответ, и он как безумный выбежал из зала».

«Неподвижный и бесчувственный» стоял он в своей великолепной мастерской, «с очей его вдруг слетела повязка». Он кинулся к холсту, желая вернуть «потухшие искры таланта», напряженно пытался работать, взяв себе темой изображение «отпадшего ангела»: «Но, увы! Фигуры его, позы, группы, мысли ложились принужденно и несвязно». Он сам чувствовал, видел эти недостатки и сказал наконец: «Но точно ли был у меня талант? Не обманулся ли я?». Но старые его работы, память о прежней жизни отвечали ему: «Да, у меня был талант. Ведь на всем видны его признаки и следы...». Поняв невозможность вернуть утерянное, Чартков предался страшной зависти и мести подлинному искусству, таланту. Гоголь предварил описание этой постигшей художника кары следующим важным для нашей темы рассуждением, что произошло с Чартковым:

«Все чувства и весь состав <его> были потрясены до дна, и он узнал ту ужасную муку, которая как поразительное исключение является иногда в природе, когда талант слабый силится выказаться в превышающем его размере и не может выказаться, ту муку, которая в юноше рождает великое, но в перешедшем за грань мечтаний обращается в бесплодную жажду, ту страшную муку, которая делает человека способным на ужасное злодеяние».

Далее следует краткая история гибели Чарткова:

«Им овладела ужасная зависть, зависть до бешенства. Желчь проступала у него на лице, когда он видел произведение, носившее печать таланта. Он начал скупать все лучшее, что только производило художество, и, снеся к себе в комнату, с наслаждением уничтожал картины. Свирепый мститель, он не жалел денег на их истребление».

«Эта ужасная страсть набросила какой-то страшный колорит на него: вечная желчь присутствовала на лице его. Хула на мир и отрицание изображалось само собою в чертах его... Подобно какой-то гарпии, попадался он на улице, и все его даже знакомые, завидя издали, старались увернуться и избегнуть такой

встречи, говоря, что она достаточна отравить потом весь день». Припадки бешенства и безумия, усиливаясь, вскоре привели Черткова к полному сумасшествию и гибели в тяжелых страданиях.

Катастрофа, приведшая Чарткова к безумию, чрезвычайно близка к катастрофе, которой, по словам Неточки, «разрешилась страшным образом» вся «печальная, болезненная и чадная жизнь» Ефимова. Ефимову был прислан «пригласительный билет» на концерт знаменитого приезжего скрипача. О его возвращении с концерта ночью домой Неточка рассказывала так:

«Мне показалось, что он был страшно бледен. Он сидел на стуле возле самой двери и как будто о чем-то задумался... Я долго смотрела, но батюшка все еще не двигался с места; он сидел неподвижно, все в том же положении, опустив голову и судорожно опершись руками о колени. Я несколько раз пыталась окликнуть его, но не могла... Наконец, он вдруг очнулся, поднял голову и встал со стула...». Он трижды брался за скрипку, но вновь оставлял ее. Наконец он решился: «Он весь дрожал, подходя к столу. Его узнать нельзя было — так он был бледен. Тут он взял скрипку... Но звуки шли как-то прерывисто; он поминутно останавливался, как будто припоминая что-то; наконец, с растерзанным мучительным видом положил свой смычок...».

Сделав попытку плотнее укрыть в постели уже умершую жену, Ефимов вновь взял скрипку «и с каким-то отчаянным жестом ударил смычком... Музыка началась. Но это была не музыка... Нет, это была не такая музыка, которую мне потом удавалось слышать! Это были не звуки скрипки, а как будто чей-то ужасный голос загремел в первый раз в нашем темном жилище... я твердо уверена, что слышала стоны, крик человеческий, плач; целое отчаяние выливалось в этих звуках, и, наконец, когда загремел ужасный финальный аккорд, в котором было все, что есть ужасного в плаче, мучительного в муках, и тоскливого в безнадежной тоске, — все это как будто соединилось разом...».

Тяжелая сцена с Неточкой, судорожные сборы перед уходом из дома, последнее предательство Ефимова, его бегство от ребенка на улице, краткие сведения о его исступленном помешательстве, в состоянии которого его задержали вне города и отправили в больницу, где он через два дня умер, заканчивают его историю. То, что пережил после прозрения Чартков — ярую зависть к таланту и месть, Ефимов переживал ранее, до катастрофы. Изображая его злобу, его желчные клеветнические выпады, направленные на достойных и помогавших ему людей, Достоевский запечатлел те же эмоции, тот же нравственный распад, который охватил Чарткова после катастрофы. В анализе поведения Ефимова Достоевский вскрывал зарождение, нарастание переживаний, готовящих кризис. Злоба и мстительность Ефимова выявлялись не в реальном уничтожении творчества талантов, как у Чарткова,

а в острых едких сплетнях, переходящих в клевету, о тех, кого ценили как известных талантливых музыкантов. Собеседники часто не понимали его, «но зато были уверены, что никто в свете не умеет так ловко и в такой бойкой карикатуре изобразить современные музыкальные знаменитости».

Подобная жизнь в виде «какого-то домашнего Ферсита» продолжалась два-три года, «наконец он наскучил всем, даже в этой последней роли. Последовало формальное изгнание» его из круга причастных к искусству людей. Но Ефимов был уже близок к катастрофе, которая должна была «сорвать повязку» с его глаз, как она сорвала ее и с глаз Чарткова. Не введение в повесть романтико-фантастического сюжета и восточного ростовщика с его портретом, которое так резко осудил Белинский, но и не «современный» взгляд, т. е. социальное объяснение безумия бедного музыканта, не понятого обществом, на которое, по-видимому, намекал Белинский, использовал Достоевский в своем изображении трагедии художника. Он вскрыл тончайший психологический процесс, происходивший в сознании одаренного артиста в связи с потерей им таланта. Той же катастрофой закончил Гоголь переживания Чарткова, но, не анализируя их, объяснил воздействием фантастических сил. Достоевский же, который с самого начала повествования осторожно и постепенно раскрывал заложенные в психике Ефимова предпосылки для будущей трагедии, счел нужным, уже рассказав о его смерти, еще раз вернуться к его «биографии» и на одной странице подвести итог его жизни, который, в сущности, является итогом и жизни Чарткова.

«Он умер, потому что такая смерть его была необходимостью, естественным следствием всей его жизни. Он должен был так умереть, когда все, поддерживавшее его в жизни, разом рухнуло, рассеялось как призрак, как бесплотная пустая мечта. Он умер, когда исчезла последняя надежда его, когда в одно мгновение разрешилось перед ним самим и вошло в ясное сознание все, чем обманывал он себя и поддерживал всю свою жизнь. Истина ослепила его своим нестерпимым блеском, и, что было ложь, стало ложью и для него самого. В последний час свой он услышал чудного гения, который рассказал ему его же самого и осудил его навсегда... Истина была невыносима для глаз его, прозревших в первый раз во все, что было, что есть, и в то, что ожидает его, она ослепила и сожгла его разум. Она ударила в него вдруг неизбежно, как молния... Удар был смертелен».

Кроме основной идеи, сближающей «Портрет» Гоголя с историей Ефимова в «Неточке Незвановой», отметим еще наличие деталей, которые младший писатель перенес от старшего в свою повесть. Начало падения Чарткова, погубившей его внутренней драмы Гоголь связал с историей и влиянием портрета, изображавшего ростовщика и чужеземца с исключительно отталкивающим «судорожно искаженным» выражением лица, на котором «был запечатлен пламенный полдень». Игре на скрипке Ефимова

обучил музыкант-итальянец, выгнанный из оркестра за дурное поведение, где был капельмейстером. Неточка рассказывала:

«Капельмейстер был действительно дурной человек. Когда его выгнали, он совершенно унизился, стал ходить по деревенским трактирам, напивался, иногда просил милостыню, и уже никто в целой губернии не хотел дать ему место. С этим-то человеком подружился мой отчим. Связь была необъяснимая и странная, потому что никто не замечал, чтоб он хоть сколько-нибудь изменился в своем поведении из подражания товарищу».

Итальянец завещал свою скрипку Ефимову и умер скоропостижно «во рву, у плотины».

Когда Ефимов грубо оклеветал перед проезжим артистом-иностранцем своего «благодетеля» помещика, последний спросил: «За что ты так обидел меня?» — Ефимов отвечал:

«А бог знает, за что я так обидел вас, сударь... знать, бес попутал меня! И сам не знаю, кто меня на все это наталкивает!.. Сам дьявол привязался ко мне!.. На меня находит, и такая тоска подчас, что лучше бы мне на свет не родиться!.. Это все с тех пор, как тот дьявол побратался со мною... А вот что издох как собака, от которой свет отступился, итальянец... Многому он меня научил на мою погибель. Лучше б мне никогда его не видеть».

В дальнейшем Достоевский нигде не упоминал о значении итальянца для судьбы Ефимова. Анализ его душевной драмы, которую автор постепенно развертывал в повествовании, он вовсе не связывал с фантастическим воздействием «странной личности», и эпизод с итальянцем остался в повести как характеристика еще не понимавшего себя, невежественного Ефимова, но чуткого и одаренного человека, пытавшегося объяснить происходившие в нем мучительные переживания.

Отметим еще одну связь, соединяющую повести Гоголя и Достоевского. Во второй части «Портрета» Гоголем выведен «стройный человек лет тридцати пяти, с длинными черными кудрями... Приятное лицо, исполненное какой-то светлой беззаботности, показывало душу, чуждую всех томящих светских потрясений; в наряде его не было никаких притязаний на моду; все показывало в нем артиста. Это был точно художник *Б.*, знаемый лично многими из присутствовавших». Так изображает Гоголь сына художника, создавшего волшебный портрет ростовщика, когда он рассказывал присутствовавшим на аукционе историю написания портрета. *Б.* сообщил, что его отец, задумав создать изображение «духа тьмы», в котором должно было соединиться «все тяжелое, гнетущее человека», склонялся использовать для этого образ таинственного ростовщика, при встрече с которым он «всякий раз не мог удержаться, чтобы не произнести: дьявол, совершенный дьявол!». Это наименование ростовщика повторяется в повести еще не раз, иногда заменяясь «демоном» и «нечистой силой». Вспомним слова Ефимова, что к нему привязался, с ним «побра-

тался» дьявол, называя так учившего его игре на скрипке итальянца.

Художник *Б.*, рассказывая далее о судьбе отца, передает его поучения, ка́к должно понимать искусство, ка́к следует все приносить ему в жертву, ка́к должно беречь, не погубить свой талант, а растить его в чистоте помыслов и любви к труду. Роль этого художника *Б.* в «Портрете» с его дидактическими рассказами о поучениях отца очень близка роли артиста музыканта *Б.* в «Неточке Незвановой», товарища Ефимова, особенно его речи, наставляющие Ефимова на подлинный путь артиста. Он говорил о себе: «Я тоже страстно любил свое искусство... я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от природы, а напротив, возрастил сторицею... Всем этим я обязан беспрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчивости...» и т. д. Само искусство должно быть для артиста единственной высокой целью.

Наше утверждение, что Достоевский, создавая образ Ефимова и раскрывая его трагедию, имел в виду не конфликт художника-пролетария с обеспеченным обществом, а драму артиста, не уверенного в своем таланте и убедившегося в его потере, подкрепляют следующие соображения. Исследователи убедительно показали, что в повествовании об Ефимове отражаются автобиографические переживания Достоевского этого периода. Хотя В. Я. Кирпотин утверждает, что Ефимов погиб потому, что «не понял действительных условий, определивших его социальное положение, и потому, что он подменил прямую цель художника — искусство — побочной его целью — славой», в то же время не может не указать на близость личных событий в жизни автора и его литературного персонажа: «Иногда кажется, что Достоевский подводит в них итоги своему собственному опыту, своим собственным переживаниям, испытанным им после „Бедных людей“».

Какие же это были переживания? Достоевский в эти годы не жаловался и *не страдал от «социального неравенства»* или от гнета, унижения и нищеты. Он *страдал* от того, что следующие после «Бедных людей» произведения «Двойник», «Господин Прохарчин», «Хозяйка» вызвали у критиков и читателей *впечатление спада его таланта*. Это заставляло его постоянно думать о силе своих возможностей, о необходимости вернуть общественное признание своего таланта, сопоставлять свои последующие произведения с предыдущими. В его письмах к брату находится много подтверждений тому, что Достоевский именно во время писания «Неточки Незвановой» был полон не погоней за славой, а стремлением вернуть высокую оценку своего таланта и самому не сомневаться в нем. «Пишу я с рвением. Мне все кажется, что я завел процесс со всею нашею литературою, журналами и критиками, и тремя частями романа моего в „Отечественных записках“

устанавливаю и за этот год мое первенство назло недоброжелателям моим»[4].

Связь истории Ефимова с «Портретом» Гоголя подкрепляется автобиографическими элементами в произведении Достоевского. Комментатор, по нашему мнению, правильно характеризовал особенности «Неточки Незвановой»: «В незаконченном романе много автобиографического. В размышлениях Неточки о судьбе отчима, о необходимости для всякого таланта сочетания бескорыстной любви к искусству с постоянным трудом, ведущим к мастерству, сказались раздумья писателя о своем творческом пути. Некоторые черты молодого Достоевского трансформировались в Ефимове — заносчивом и гордом... болезненно самолюбивом, мучимом сомнениями в своей гениальности»[5]. В рассуждениях *Б.* о том, что зависть, мелочная подлость и глупость «друзей» истинного таланта ранят сильнее нищеты и могут «истерзать его булавками», отразились и тяжело переживавшиеся писателем разногласия с кругом «Современника» после неодобрительных отзывов о его последних произведениях.

Автобиографичность «Неточки Незвановой» в том или ином образе, ситуации, мотиве проявилась и в следующих частях неоконченного романа.

2. Катя и князь Х-ий

Исследователи назвали ряд художественных произведений, в которых находят общие мотивы, сюжетные линии с незаконченным романом молодого Достоевского. Но ни одно «пережитое сердцем» сильное впечатление автора, послужившее основой произведений, они не называют[6].

Автобиографичность в размышлениях о судьбе Ефимова, о труде и мастерстве в работе художника, о его болезненном самолюбии и сомнениях в своей гениальности относятся лишь к вводной части романа, который посвящен совсем иной теме, названной в подзаголовке журнального текста: «История одной женщины». Впечатление, «пережитое сердцем» автора, мы должны, очевидно, искать в связи с женским образом, вернее, даже с тремя женскими образами, которые включены в тематический центр романа — Неточка, Катя и Александра Михайловна.

Несомненно, что и в рассказ о раннем детстве Неточки вошли автобиографические воспоминания — болезнь матери, ее страдания от тяжелого характера мужа, ее смерть — то, что омрачило последние годы жизни Достоевского в семье. Эти воспоминания отразились и на переводе «Евгении Гранде», где оказалась ситуация, возвращавшая Достоевского к недавним личным переживаниям, они же вошли в повесть о Вареньке Доброселовой в «Бедных людях», повторились в рассказе Катерины в «Хозяйке» об огорчениях, болезни и смерти ее матери. Еще раз эти воспомина-

ния отразились в изображении ранних лет Неточки и намечались вторично в последней главе, посвященной страданиям и болезни Александры Михайловны.

Анализируя образ Вареньки Доброселовой, мы нашли возможным связать его с образом совершенно реальной Вареньки, старшей сестры Федора Михайловича, детские годы и годы ранней юности которой протекли на глазах любящего ее брата. По ряду далее изложенных соображений мы считаем возможным именно в ранней истории Вареньки Достоевской видеть нечто «пережитое сердцем» автора, что помогло ему создавать начало «Истории одной женщины». При разборе «Бедных людей» мы говорили о Вареньке Достоевской 17—18 лет и ее замужестве, здесь же мы обратимся к предшествующему периоду, когда она потеряла мать, рассталась с дружившими с ней старшими братьями и осталась с запивавшим, несколько ненормальным после потери жены отцом и младшими детьми, в тесном домике, в убогой деревушке, среди зарайских полей и оврагов.

А. М. Достоевский пишет в «Воспоминаниях», что отец, отвезя сыновей в Петербург, «не покинул своего намерения оставить службу и переселиться окончательно в деревню для ведения хозяйства. Но покамест вышла отставка и пенсион, покамест он устраивал все дела, наступил и август месяц. Для перевозки всего нашего скромного имущества приехали из деревни подводы. Сестра Варенька должна была ехать вместе с папенькой в деревню». Рассказав далее о переселении в деревню с младшими детьми и Аленой Фроловной, А. М. Достоевский не упоминает о Вареньке до лета следующего, 1838 г., которое он провел в Даровом: «Помню, что в этот свой приезд я уже не застал в деревне сестры Вареньки, которая переселилась к Куманиным, ни сестры Верочки, которая была уже отдана в пансион».

Рассказ об убийстве отца крестьянами А. М. Достоевский начинает с описания, в каком тяжелом состоянии находился отец (см. выше с. 88—89), и заканчивает его: «...все эти обстоятельства, которые сознавал и сам отец, заставили его отвезти двух старших дочерей, Варю и Верочку, в Москву, к тетушке... Варя поселилась там жить с весны 1838 года, а Верочка в то же время отдана была в пансион».

У старших сыновей осталось в памяти, что во время еще благополучной жизни на Божедомке Вареньку сближала с отцом общая любовь к музыке. Как мы писали выше, М. М. Достоевский в письме из Ревеля сестре в Москву осенью 1839 г. упоминал о ее занятиях музыкой и замечал: «Фортепьяно — лучшая твоя отрада теперь, это я знаю или по крайней мере в этом уверен, потому что музыка была любимым наслаждением покойного папеньки» [7].

Но обстановка в Даровом, где Варя прожила с отцом с августа 1837 г. до весны 1838 г., вызвала между ними какие-то сложные отношения, о которых до нас дошли неясные, возможно, не вполне

достоверные, но все же заслуживающие внимания сведения. Сведения идут и от семьи Ивановых, и от Л. Ф. Достоевской, и от крестьян Дарового. Самый факт различных источников, в которых нельзя подозревать повторения, говорит о том, что для них была какая-то общая основа: Любовь Федоровна слышала от Анны Григорьевны, которая общалась с Варварой Михайловной, дочери же Веры Михайловны — от матери и от бывших крестьян с. Дарового. М. В. Волоцкой записал со слов Ольги Александровны Ивановой следующее: «Варвара Михайловна очень не дружила с своим отцом в последние годы его жизни. Столкновения между ними происходили главным образом на почве ведения хозяйства». А Любовь Федоровна в «Воспоминаниях» среди самых мрачных сведений о последних летах жизни деда сообщала: «Мой дед никогда не разрешал дочерям выходить одним и сопровождал их в тех редких случаях, когда они посещали своих соседей по имению. Ревнивая бдительность отца оскорбляла моих теток. С возмущением они вспоминали, как их отец заглядывал по вечерам под их кровати — не прятался ли там какой-нибудь возлюбленный». Наконец, М. В. Волоцкой записал в 1926 г. следующее сообщение крестьян Макарова и Саввушкина: «Барин был строгий, неладный господин, а барыня была душевная. Он с ней нехорошо жил... И со старшей дочерью Варварой Михайловной плохо он жил. Она от него в Москву уехала».

До нас дошло одно письмо Михаила Андреевича Вареньке из Дарового в Москву, написанное осенью 1838 г. Конец письма с жалобами на свою судьбу дает некоторое представление об атмосфере, которая окружала шестнадцатилетнюю Вареньку в мрачную зиму 1837/38 г. «Где мне и в ком искать утешения; ты пишешь, что ты совершенно здорова, но все так же бледна. — Друг мой! в твои ли лета! Побереги себя и меня пощади, мне и так горько: неустройство состояния нашего, долги, нужда, недостатки, лишения и без вас истощают по каплям мое здоровье...» [8]

Переселение Вареньки из убогого деревенского домика в Даровом, скромная жизнь в котором омрачалась тяжелыми отношениями с ненормально мнительным, постоянно пьяным отцом, в роскошный московский особняк Куманиных, где ее окружил хорошо налаженный быт богатых людей, резко переломило существование Вареньки. Мраморные залы, лакеи, выездные экипажи, прекрасный сад с беседками — таким рисуется трехэтажный дом Куманиных в Космодемьяновском переулке на Покровке по «Воспоминаниям» А. М. Достоевского. Еще не старые, но бездетные его владельцы А. А. и А. Ф. Куманины поселили у себя многочисленных родственников — Куманиных, Нечаевых, Достоевских, — взяв на себя их содержание.

По сравнению со скромным бытом на Божедомке, в больнице для бедных, и особенно с пребыванием в течение последней зимы 1837/1838 г. в Даровом, контраст новой жизни был для Вареньки

разительным. Ее поселили на третьем этаже дома, где она оказалась в окружении давно ей знакомой материнской родни — Нечаевых, с 20-х годов живших в доме Куманиных. О них надо сказать несколько слов.

Отец матери писателя, Федор Тимофеевич Нечаев (род. 1769 г.), купец третьей гильдии, разорившийся в 1812 г. и овдовевший в 1813 г., в 1814 г. женился на двадцатилетней Ольге Яковлевне Антиповой. У них родились две дочери, Ольга (род. 1815 г.) и Екатерина (род. 1823 г.), приходившиеся писателю тетками. Жил в доме Куманиных и сын Ф. Т. Нечаева от первого брака (брат М. Ф. Достоевской), служивший приказчиком в богатом магазине, но к концу жизни (1801—1838 г.) сильно пивший. В 1832 г. Ф. Т. Нечаев умер, из дома Куманиных были организованы его пышные похороны, а его жена, О. Я. Нечаева, с младшей дочерью Катей (старшая Ольга была уже выдана замуж за архитектора, владельца иконостасной мастерской Д. А. Шера) осталась в доме Куманиных, где взяла в свои руки домашнее хозяйство и была постоянной спутницей и доверенной хозяйки дома, своей падчерицы А. Ф. Куманиной. Кате, почти ровеснице Вареньки, и предстояло постоянное общение и, вероятно, сближение с ней.

Катя Нечаева, бывшая на несколько месяцев моложе Вареньки, выросла в доме Куманиных, где, как «единокровная» сестра владелицы А. Ф. Куманиной, конечно, пользовалась полным достатком и, по всей вероятности, баловством бездетных Куманиных, тем более что была с детства хороша собой. А. М. Достоевский, так же как и старшие братья, конечно, хорошо знал ее еще во время жизни на Божедомке: «Я помню ее девочкой, почти товаркой мне по летам. До самого ее замужества я называл ее просто Катенькой, а она меня — Андрюшенькой. В детстве она была очень красивенькой девочкой, а когда подросла, стала просто красавицей. Не потаю греха, что в юности своей я был влюблен в нее без памяти», — вспоминал А. М. Достоевский.

Он оставил несколько зарисовок в своих мемуарах этой двухлетней совместной жизни Вареньки и Кати в доме Куманиных.

Особенно интересна одна характерная деталь, связанная с первым визитом Карепина к Куманиным и сватовством Вареньки. «Жениха принимали внизу, в парадных комнатах, а Катенька, бедная, целый вечер просидела у себя наверху, не показываясь вниз, а уж как ей хотелось посмотреть на жениха. Но это было ей не дозволено, это было не в правилах. Ну, а как, в самом деле, жених, увидевши другую взрослую девушку, пленится ею больше, нежели своею невестою, и сделает предложение не нареченной невесте, а другой личности... Ведь это наведет *мораль* на невесту... Боже сохрани!» Но на обручение, когда «к восьми часам вечера все гости собрались, сошла вниз и Катенька, хотя и одетая очень просто». Этот эпизод как будто свидетельствует, что Ка-

тенька внушала семье опасения, не соблазнился бы жених ее красотой, а может быть, и общим ее обаянием, которое покорило юного Андрюшу.

Мы изложили сведения о жизненных фактах, послуживших, по нашему мнению, источником «нескольких сильных впечатлений, пережитых сердцем поэта», которыми он «запасся» перед писанием романа «Неточка Незванова». В центре его — любимая сестра, пережившая потерю матери, тяжелую жизнь с полусумасшедшим, пившим отцом, с его катастрофической смертью; она бедной сиротою, с надорванной несчастиями психикой, попадает в совершенно иной мир обеспеченных людей, где для нее начинается другая жизнь и где она находит близкого друга — красивую, не знавшую лишений и страданий Катю, заботливых и внимательных к ней дядю и тетку Куманиных.

Отметим, что в верхнем этаже, где поселили Вареньку, была еще одна обитательница, которая находит себе параллель в романе. В четвертой главе «Неточки Незвановой» описывается, что «наверху жила старая тетка князя, почти безвыходно и безвыездно... она не покидала четок, торжественно выезжала к обедне, постилась по всем дням, принимала визиты разных духовных лиц и степенных людей, читала священные книги и вообще вела жизнь самую монашескую». В описании Неточки она изображается как капризная, привередливая старуха, доставлявшая неприятности всем общавшимся с ней.

В «Воспоминаниях» А. М. Достоевского читаем: «Говоря о куманинском доме, я виноват еще перед одной личностью, не упомянув о ней. Эта личность — старушка Варвара Ивановна Антипова, матушка Ольги Яковлевны Нечаевой... Эта старушка жила наверху в помещении бабушки Ольги Яковлевны и постоянно с утра до вечера занималась чтением Священного писания. Много громадных книг (in folio) находилось постоянно у нее на столе, и она поочередно читала их. Это была довольно древняя старушка, лет 75-ти, на вид очень тихенькая и добренькая, но мне всегда казалось, что маменька и дочка суть «пара пятак» и что дочка очень похожа на свою маменьку» [9].

Последние слова становятся понятны, если сопоставить их с отзывом А. М. Достоевского об Ольге Яковлевне (матери Кати): «Про бабушку я сообщу теперь только то, что мы, дети, не особенно любили ее, потому что она при всяком свидании умела или взглядом или словом сделать какое-нибудь замечание, не любезное к нам, детям. Впоследствии же я слышал, да и сам убедился, что эта женщина была хитра и без сомнения умна, но с умом, направленным не на одно доброе». Немного раньше А. М. Достоевский упомянул, что и его мать, Мария Федоровна Достоевская, «не слишком была расположена к своей мачехе». Упоминаем здесь еще, что Катя Нечаева, как и «княжна Катя» в романе, имела замужнюю сестру, значительно старше ее по возрасту (Ольгу Шер).

Федор Михайлович знал всех упоминавшихся здесь лиц, их взаимоотношения, общался с ними до 1837 г. Варя и Катя оставались в его памяти четырнадцатилетними девочками. Все дальнейшее он хотя и не наблюдал сам, но, наверно, слышал много подробных рассказов от брата Андрея, который летом 1841 г. от Куманиных в Москве переехал в Петербург и поселился у него, готовясь к поступлению в Инженерное училище. С ним вместе приехал и Михаил Михайлович, который из Ревеля прибыл в Москву для встречи с родными и для поездки в Даровое. Он, конечно, также многое рассказал Федору Михайловичу и о деревне, и о москвичах. Андрей Михайлович вспоминал, что старшие братья, оставив его в комнате сожителя Федора Михайловича Тотлебена, «заперлись в комнату брата Федора» и «на ночлег тоже два старшие брата уединились», запершись от младшего.

Имя Кати, «княжны Кати» в отличие от другой Кати, «деревенской», которая также осталась в памяти писателя с юных лет [10], своевольной, балованной красавицы, будет долго сопровождать творческую мысль Достоевского. Набрасывая в 1865 г. план неосуществленного романа «Брак», он записывает «Катя», «Характер княжны Кати». Ее он упоминает в подготовительных материалах к «Идиоту», к «Подростку». Но лишь однажды в сохранившихся письмах Ф. М. Достоевского упоминается Катя Нечаева. В письме к Куманиным и сестре Варе от 28 января 1840 г. он делает приписку: «Любезнейшей тетеньке Катерине Федоровне свидетельствую мое нижайшее уважение», — «тетеньке», которая была двумя годами моложе его! [11]

Сообщим здесь кратко сведения о дальнейшей невеселой судьбе Кати Нечаевой, которые наводят на мысль о каком-то неблагополучии, вызвавшем в начале 40-х годов ее брак с Д. И. Ставровским (рожд. 1795 г.). Почему эта юная красивая девушка, конечно с хорошим приданым, младшая сестра А. Ф. Куманиной, была выдана за человека, который был на 28 старше ее и которого Андрей Достоевский описал так: «На вид очень невзрачен, ко времени женитьбы почти уже старичок. Впрочем, на взгляд был очень тихенький, но говорят, как старик, был очень ревнив, а также скупенек» [12]. По специальности Ставровский был врачом, акушером. У Кати было пять человек детей, а в 1855 г. она погибла от ожогов, которые получила в церкви, где на ней загорелась одежда.

Если имя Кати время от времени появлялось в рукописях Достоевского, то имя Неточки мы больше не встретим. Но облик старшей сестры, Вари, продолжал возникать перед ним при создании женских образов позднейших романов. Характерная запись находится в черновых записях к «Подростку». «Вроде какой-то дружбы у подростка с Анной Андреевной (Варя)». К этому месту А. С. Долинин сделал примечание: «Варя указана здесь, должно быть, как прототип сестры подростка Анны Андреевны, которую Достоевский рисует с первых же моментов ее появления

в черновых записях как девушку умную, трезвую, в своих помыслах и надеждах, расчетливую». Далее А. С. Долинин дает сведения о сестре Достоевского Варваре Михайловне, находя сходство в ее поведении с поведением Анны Андреевны, и, в частности, упоминает: «Ей приходилось играть заметную роль в истории с наследством, оставшимся после тетки Куманиной, которая особенно ей доверяла и слушалась ее» [13]. Те же черты еще в ранней ее молодости подметил и романтически настроенный брат, М. М. Достоевский, когда в письмах к ней из Ревеля в 1839 г. отмечал какую-то «неприятную неприступность, холодность» в ее письмах, «отвращение от пустяков» и интерес к более «деловому общению».

Не только совместная жизнь двух молоденьких девушек Вари и Кати с таким разным прошлым, разными характерами и положением в доме, не только богатство этого дома и его обитатели позволяют сопоставить биографические сведения с сюжетом первого романа Достоевского, но и хозяин этого дома — А. А. Куманин, несмотря на столь очевидное противоречие в социальной принадлежности, выдерживает сопоставление с князем Х-им. Образ князя Х. должен был, по словам Неточки, в дальнейшем играть значительную роль в ее жизни и повествовании, но в написанной части романа его роль набросана несколькими малоконкретными, условными штрихами, лишена жизненных деталей и анализа его психологии.

Краткие сведения о том, что князь был «дилетант, глубоко почитавший и любивший искусство», даны мимоходом, так же как бегло упомянуто о его знакомстве со скрипачом *Б.*, об интересе к Ефимову и о концерте в его доме знаменитого С-ца. Всего этого требовало развитие сюжета, органичность же этих фактов для князя никак не развита, не раскрыта и его домашняя семейная жизнь. Да и мог ли Достоевский в 1846—1847 гг., не следуя штампам современной «светской» повести, изображать представителя столичного титулованного дворянства, не имея для этого жизненных наблюдений, реальной основы повествования? Основная черта князя Х. в написанной части романа — его гуманность, его душевное благородство в «благодеяниях» Неточке, Ларенькe. Но именно в роли богатого, но скромного и чуткого благотворителя он и может быть сопоставлен с А. А. Куманиным, поскольку возможно о последнем судить по «Воспоминаниям» А. М. Достоевского.

В примечании к этим «Воспоминаниям» их издатель, А. А. Достоевский, писал: «Александр Алексеевич Куманин, купец I гильдии и дворянин. Славился своей широкой благотворительностью и занимал несколько почетных должностей». М. В. Волоцкой сообщает о нем: «Почетный член Совета Московского коммерческого училища, член Комитета московской Глазной больницы и т. п.». Куманины — из купечества г. Переяславля-Залесского, переселились в конце XVIII в. в Москву. Отец Александра Ку-

манина, коммерции советник, именовавшийся «первостатейным купцом», был Московским городским головой и в 1812 г. «за усердную службу» получил орден Владимира 4-й степени. «Сыну его, московскому первостатейному купцу, Александру Алексеевичу 21 ноября 1838 г. пожалован диплом на потомственное дворянское достоинство». Два его брата, Константин и Валентин, были избраны московскими городскими головами [14].

А. А. Куманин родился в Москве в 1792 г., женился в 1813 г. на дочери разорившегося купца 3-й гильдии, Александре Федоровне Нечаевой. А. М. Достоевский называет его в «Воспоминаниях» «добрейшим», «светлой и во всех отношениях уважаемой личностью», но вместе с тем «человеком крепким и твердым». Для характеристики А. А. Куманина интересно отметить такой факт из «Воспоминаний» А. М. Достоевского. Во время жизни Достоевских на Божедомке А. Ф. Куманина приезжала в коляске навещать сестру в сопровождении О. Я. Нечаевой и лакеев, с дорогими гостинцами для детей, так что ее приезд привлекал особое внимание. Александр Алексеевич никогда не приезжал с ними, а раз или два в месяц обычно приходил один пешком с Покровки. Приходил он по утрам, чтобы не застать М. А. Достоевского, с которым у него были натянутые отношения, дружески беседовал час или два с Марией Федоровной и на ее вопрос, чем его угостить, просил лишь стакан воды с сахаром.

«Трогательное» отношение А. А. Куманина («казалось мне прослезился») отметил Андрей Достоевский, когда его после известия о смерти отца привезли из пансиона к дяде. Характерен приведенный в «Воспоминаниях» А. М. Достоевского «выговор» дяди, которому на него пожаловалась тетка: «Дядя упорно посмотрел на меня и после некоторого молчания сказал: „Что это, брат Андрей, родная тетка на тебя жалуется. Ведь у тебя и родных только осталось, что тетка... Дурно, брат, дурно!“». Характерен и рассказ Андрея о том, что дядя, не только содержавший пятерых младших племянников, но и постоянно помогавший двум старшим во время учения их в Петербурге и Ревеле, отказал Михаилу Михайловичу, когда тот попросил у него «взаймы» денег на свадьбу. По мнению Андрея Михайловича, для А. А. Куманина оказалась неприемлемой форма просьбы одолжения «взаймы», не соответствовавшая отношениям дяди к племяннику, которому он был готов помочь безвозмездно.

До нас дошел акварельный портрет А. А. Куманина 1842 г. Чисто выбритое продолговатое лицо пожилого мужчины, оттененное темной одеждой, нисколько не напоминает о купеческом его происхождении.

Князь Х., по рассказу Неточки, которого она сразу «полюбила более всех других», был довольно пожилой, серьезный, смотревший на нее «с таким глубоким состраданием» человек. Его все в доме уважали и «даже, видно было, любили его», но он мало с кем общался, был странен, незаметен в доме, где царила кня-

гиня. О княгине же Неточка писала: «Происхождение и родство княгини было какое-то темное, первый муж ее был откупщик». Избегавший общества, окружавшего княгиню, князь обрисован как исключительно внимательный, сочувствующий детям. Избалованная самовластная Катя обожала отца, Неточка все время ощущала на себе его заботу и внимание. Но по отношению к жене и детям, когда дело касалось его взглядов и решений, князь становился «неуступчив и упрям до непоколебимости».

Допуская возможность, что жизнь сестры Вареньки после смерти родителей в доме Куманиных послужила исходным пунктом для соответствующего повествования о Неточке, мы имеем основание до какой-то степени видеть в А. А. Куманине прообраз князя Х., а в княгине с ее «темной родней» — какую-то связь с А. Ф. Куманиной, многочисленные родственники которой занимали бо́льшую часть дома.

Приступая к созданию своего первого романа, Достоевский «запасся», как поэт, «несколькими сильными впечатлениями, пережитыми им действительно», и, как он свидетельствовал впоследствии, «из этих впечатлений развиваются у него тема, план, строится целое. Тут дело уж художника, хотя художник и поэт помогают друг другу и в том и в другом, в обоих случаях».

IX

«Петербургская летопись»

1. Газета «Санкт-Петербургские ведомости» и атрибуция фельетона 13 апреля 1847 г.*

Выход в свет в октябре 1846 г. «Господина Прохарчина», а в январе 1847 г. «Романа в девяти письмах» вызвал неодобрительные отзывы критиков, которые до какой-то степени продолжали резко отрицательный разбор, встреченный в критике «Двойником». После пережитого успеха «Бедных людей» явная недоброжелательность рецензентов была особенно тяжела автору. Ему была необходима уверенность в себе, во вновь начатых работах, от которых зависело и восстановление авторитета своего имени в литературе, и самая возможность дальнейшего существования. Мучили долги, мучили сроки сдачи работы, деньги за которые уже были получены, а писание которых подвигалось медленно. В письме к брату выражается признание мучительного самочувствия, глубокого душевного надрыва — итог первых лет авторского существования: «Ты не поверишь. Вот уже третий год литературного моего поприща я как в чаду. Не вижу жизни, некогда опомниться; наука уходит за невременьем. Хочется установиться. Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Тут бедность, срочная работа — кабы покой!».

В начале апреля 1847 г. Достоевскому представилась возможность поправить свои материальные дела, согласившись на новую срочную работу: взять на себя обязанности фельетониста в солидной газете, издававшейся императорской Академией наук, — «Санкт-Петербургские ведомости». 11 апреля после кратковременной болезни скончался сотрудник газеты Эдуард Иванович Губер, писавший в отделе фельетона «Театральную хронику» и «Петербургскую летопись». Еще 6 апреля была помещена в газете «Пе-

---

* Этот фельетон не перепечатывался вместе с другими в Собрании сочинений Ф. М. Достоевского под редакцией А. С. Долинина (1930 г. — т. XIII). Для удобства его сопоставления с другими мы помещаем текст его в конце этой книги — в Приложении.

Мною этот фельетон был напечатан в книге «Ф. М. Достоевский. „Петербургская летопись“» (изд. «Эпоха», 1922).

тербургская летопись» за подписью К. Д. С. (как подписывал свои фельетоны Губер), а в № 81 от 13 апреля вместе с извещением о смерти Губера была помещена «Петербургская летопись», подписанная Н. Н., со следующим примечанием редакции: «Внезапная болезнь, а потом и кончина нашего даровитого, ревностного, незабвенного сотрудника Э. И. Губера явились причиной, что мы должны были обратиться на этот раз к одному из наших молодых литераторов...». Фамилия литератора не раскрыта, но следующая «Петербургская летопись» в № 93 от 27 апреля была подписана Ф. Д., т. е. принадлежала Достоевскому.

В цитированном выше письме к брату, условно датированном А. С. Долининым «апрелем 1847 г.», мы находим сведения о неосуществленных планах, которые строил Достоевский, принимаясь за фельетонную деятельность: «Мне придется писать едва ли два фельетона в неделю, т. е. уже не более как 250—300 руб. ассигнациями. И так как я должен уплачивать Майковым, которым я много задолжал (хотя они и не спрашивают), и за квартиру, то уж я и не знаю, сколько я тебе буду присылать; но буду присылать» [1].

Прежде чем говорить о фельетонной работе Достоевского, охарактеризуем издание, где он выступил на этом новом для него поприще. Издателем газеты с января 1847 г. стал крупный книгопродавец и издатель М. Д. Ольхин. Когда в 1842 г. в руки Ольхина перешло от Смирдина издание «Библиотеки для чтения» и когда Ольхин открыл большой книжный магазин на Невском проспекте, Белинский писал в «Литературных и журнальных заметках»: «Владея значительным капиталом и находясь в связях со всеми книгопродавцами, Ольхин действительно может многое сделать и от него многого можно надеяться, — в отношении к поддержанию упадавшего кредита публики книгопродавцам, но отнюдь не оживления мертвой русской литературы, как уверяет „Северная пчела“». Белинский указывал далее, что «польза русской литературе от деятельности Ольхина» будет зависеть от того, что́ будет он издавать, не попадет ли он в руки поставщиков литературного хлама и не станет ли «исключительным поборником какой-нибудь литературной партии». Особенно важен этот вопрос в связи с предполагавшимся Ольхиным изданием «толстого ежемесячного журнала». «Журнал составляет *мнение*, а не сбор случайно набранных статей. За мнение журнала может ручаться только имя редактора, а мы знаем наперечет имена всех русских литераторов... Кто же будет редактором журнала г. Ольхина? Это вопрос, без решения которого нечего и говорить о журнале. Пожалуй, найдется и редактор, и журнал будет с мнением, — но с *каким*? — вот еще вопрос!..» [2]

Взяв на себя издание «Санкт-Петербургских ведомостей» в 1847 г., Ольхин наименовал «редактором-издателем» прежнего редактора газеты А. Н. Очкина, журналиста и переводчика,

к тому же бывшего цензором. В 1844 г. Очкиным был переведен, а Ольхиным издан роман Е. Сю «Вечный жид», заслуживший краткую оценку Белинского: «Перевод слаб». Очкин и Ольхин напечатали в первом номере газеты за 1847 г. следующее заявление:

«С будущего года *Санкт-Петербургские ведомости* подвергаются совершенному преобразованию. Оставаясь по-прежнему собственностью императорской Академии наук, издаваясь под ее покровительством, *Санкт-Петербургские ведомости* поступают на десять лет в распоряжение частных лиц, которые употребят все средства, чтобы сделать газету полезною, разнообразною в занимательною, органом всех благонамеренных интересов, зеркалом современного движения, умственного и нравственного, политического и литературного, торгового и промышленного, — достойною и нашего времени и нашего отечества». Среди перечисленных лиц, «обещавших оказать содействие», были фамилии одиннадцати академиков, нескольких профессоров, генералов и титулованных лиц. Из литераторов были названы кн. Вяземский, кн. Одоевский, граф Соллогуб, барон Корф, Плетнев, Никитенко и некоторые другие.

В каждом номере на первом месте печатались распоряжения правительства и внутренние известия. Далее много места отводилось иностранным известиям, за которыми следовали страницы «объявлений» и «уведомлений», сперва «казенных», а потом «частных». Все это живо отражало современную петербургскую и отчасти провинциальную жизнь России. Кроме фельетона, занимавшего «подвалы» на первой и второй страницах, на них же помещались иногда статьи под заголовком «Библиография», «Критика» или «Литературные известия» с разбором научных или литературных трудов.

По истечении первого месяца издания преобразованной газеты в «Современнике» (№ 2) появился ее разбор Белинским, разбор чрезвычайно доброжелательный. Хотя до нас дошло его признание, что лестный отзыв был им несколько преувеличен с полемической целью («статья эта писана мною не для „С.-Петербургских ведомостей“, это удар рикошетом по „Пчеле“», — сообщал Белинский Боткину), несомненно, газета производила хорошее впечатление. Белинский похвалил редактора Очкина, обнаружившего «способность для редижирования большою политическою и литературною газетою», которая вместе с тем публикует «замечательные ученые статьи». Он отметил «богатство и полноту» как внутренних известий, так и заграничных, как политических, так и частных. Более детально он остановился на характеристике фельетона.

Что представлял собою фельетон газеты к началу февраля 1847 г., когда писал свою статью Белинский? В нем публиковался со многими продолжениями рассказ Е. Гребенки «Приключения синей ассигнации», «Театральная хроника» Э. И. (Губера), сообщения о концертах и театральной жизни В. Тунеева

(В. В. Чачков) и ряд мелких сообщений о петербургской жизни без подписи. В номерах 9 и 15 начат в фельетоне специальный раздел с названием «Петербургская летопись», подписанный буквой *С*. Современники легко разгадали автора — графа В. А. Соллогуба. Редакция, которая, очевидно, особенно высоко ценила его сотрудничество и раскрыла его криптоним в конце года, уже в № 81 (18 апреля), упомянув о подписи С., писала: «Как не узнать одного из знаменитейших наших писателей по слогу, блещущему остроумием, исполненному неподдельного юмора и запечатленному каким-то ароматом светскости? — *Ред.*»

В «Современных заметках» Белинский дал общую характеристику русского фельетона, которая нам интересна тем, что Достоевский, приступая в апреле к деятельности фельетониста, конечно, хорошо помнил февральскую статью Белинского, в которой речь шла именно о фельетоне «Санкт-Петербургских ведомостей», и, может быть, до какой-то степени руководился ею. Белинский писал: «Фельетон составляет существенную принадлежность всякой газеты. К сожалению, фельетон у нас пока еще не возможен. Что такое фельетон? Это — болтун, по-видимому добродушный и искренний, но в самом деле часто злой и злоречивый, который все знает, все видит, обо многом не говорит, но высказывает решительно все, колет эпиграммою и намеком, увлекает и живым словом ума и погремушкою шутки... Где же ужиться с фельетоном русской публике, которая так церемонна, серьезна, чопорна, с таким избытком одарена великодушною готовностью благоприлично скучать, так уважает, даже вчуже, благонамеренную наружность? Оттого наш русский фельетон, как и наш русский водевиль, так приторен в своей любезности, так скучен и вял в своем остроумии, а главное — так мало изобретателен на предметы разговора! Бедняжка вечно начинает или с того, что в Петербурге всегда дурная погода, или с того, как трудно ему, фельетонисту, писать по заказу, когда не о чем писать, а в голове пусто...».

Здесь Белинский обратился к фельетону Соллогуба «Петербургская летопись» в № 15 (19 января) газеты, где фельетонист описывает «нашествие журналов», ядовито цитирует его и ему отвечает: «Вот тут-то в припадке фельетонного отчаяния, желая быть остроумным во что бы то ни стало, восклицает он иногда: «Зачем у нас так много полуплохих журналов, а не один хороший журнал?» На что зевающий читатель может ответить ему: «Скажите-ка лучше, зачем все ваши фельетоны так положительно плохи; что бы вам написать хоть один порядочный?“» [3].

Это замечание Белинского чрезвычайно уязвило Соллогуба и «рассорило» с редакцией «Современника». Панаев писал Тургеневу, что Белинский дал оплеуху Соллогубу.

Говоря далее о фельетонах «Санкт-Петербургских ведомостей», Белинский ценил в них участие многих сотрудников и особенно выделял писания Э. И. Губера, в которых находил «много дельного и притом так умно, ловко, живо» сказанного. Он оста-

новил свое внимание на разборе статьи Губера, помещенной в фельетоне № 4 газеты и называвшейся «Русская литература в 1846 г.» Так как эта статья представляла собою общую позицию, занятую газетой в современной литературе, и прямо касалась Достоевского, то оценка ее Белинским особенно интересна.

Основной критике Белинского в статье Губера подверглись его нападки на «натуральную школу», на «молодую критику» (т. е. критику Белинского), которая якобы произвела новое направление в русской литературе. Белинский обличал отсутствие у Губера своих убеждений, принципов, преданность отжившим свой век немецким эстетикам, непонимание, что жизнь есть не покой и сон, а движение и борьба. Он учил, что сближение литературы с современной действительностью развивает в обществе самосознание, «главнейшую и важнейшую в настоящую минуту потребность».

Так как Губер привел Достоевского как пример вредного воздействия «новой критики» на талантливого писателя неумеренной похвалой его первого произведения, возведя его в гении и тем способствуя росту ошибок и недостатков в его следующих произведениях, Белинский решительно возражал Губеру. Он напомнил, что печатные похвалы «Бедным людям» появились тогда, когда «Двойник» уже был написан и появился в печати. Следовательно, похвалы критики не имели влияния на создание второй вещи. Возражал он и против самой возможности «убить похвалой или порицанием» истинный талант и приводил в пример Пушкина. Направленная против «натуральной школы» и критики Белинского, статья Губера сигнализировала о позиции, значительно обострившейся далее, которой придерживалась газета. В № 90 и 91 (24 и 25 апреля) в ней была помещена статья кн. П. А. Вяземского «Языков — Гоголь», в которой утверждалась значительность поэзии Языкова как яркого представителя пушкинской школы. В статье Вяземский выступил в защиту новой книги Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», видя в ней ответ Гоголя своим последователям, которые неверно истолковали его творчество. Статья пронизана враждебностью к «натуральной школе», к критике Белинского, встает на защиту «пушкинских традиций», якобы отвергаемых так называемой школой Гоголя.

В течение февраля—марта 1847 г. в фельетоне газеты печатались с бесконечными продолжениями перевод романа Ж. Санд «Валькрез» и письма Александра Дюма «Испания и Африка». Очень обильны были музыкальные известия (о концертах Берлиоза, Эрнста и др.), подписанные В. Одоевским, Губером и без подписи, сведения о выставке картин Айвазовского. 2, 16, 25 февраля и 2, 16 и 30 марта печаталась «Петербургская летопись», подписанная К. Д. С., т. е. Губером. Ее основная тема — светские развлечения, масленичные маскарады, живые картины, верховая езда в цирке, катание с гор, бега на Неве, концерты приезжих артистов. Попутно — легкая с юмором характеристика светской бол-

товни, causerie, которая легко скатывается к сплетням, клевете и является результатом «тяжелого бремени скуки», незнания и неумения о чем-нибудь говорить.

6 апреля, в № 75 газеты, был помещен последний фельетон «Петербургская летопись», принадлежавший Губеру. Так как через неделю после него, 13 апреля, появилась «Петербургская летопись», подписанная Н. Н., принадлежащая, по нашему мнению, Достоевскому, скажем несколько слов о последней губеровской «Летописи», которая, возможно, служила новому фельетонисту своего рода эталоном для его работы. Сообщаем бегло ее содержание:

«В городе грипп; весь Петербург чихает, сморкается и кашляет: по улицам грязь и длинные простуженные лица. Все больны, даже лошади у Лежара (владельца цирка. — *В. Н.*) начинают чувствовать влияние нашего климата и собираются уехать вместе с весной; весна к нам — они от нас, неблагодарные. Мы ли их не любили?». Далее речь о предстоящем разъезде петербургского общества, выражение зависти к тем, кто отъезжает на воды, за границу, в Италию. Губер мимоходом касается выхода новых журналов, жалуется на «скуку русских повестей» и отмечает основную тему в последних книжках журналов: «Если вы порядочный человек... то или браните Гоголя, или превозносите его до небес...». Заканчивает он замечанием об альманахе Неваховича «Ералаш», в котором все «умно, метко, весело». Но, замечает он, вы «задумаетесь не только над забавными фигурами, но и над самым значением карикатуры, которая часто производит на вас тяжкое, грустное впечатление, хотя вы и смеетесь невольно над остроумным сближением ее с действительной жизнью».

В № 80, от 12 апреля, редакция поместила краткое сообщение о смерти Э. И. Губера с самой сочувственной и хвалебной его характеристикой, а на следующий день, в воскресенье, 13 апреля была напечатана «Петербургская летопись», подписанная Н. Н. с приведенным нами выше примечанием. Прежде чем приступить к ее рассмотрению и атрибуции, кратко изложим дальнейшую историю этого раздела газеты.

В следующее воскресенье, 20 апреля, в фельетоне была напечатана статья Соллогуба «Э. И. Губер», излагавшая биографию и дававшая краткую характеристику его как поэта. В № 84 и 92 печаталась «Театральная хроника» за подписью В. Т. (В. Тунеев — псевдоним В. В. Чачкова), а в воскресенье, 27 апреля (№ 93), появилась «Петербургская летопись», подписанная Ф. Д., т. е. Достоевским. Вслед за ней вплотную в этом же фельетоне помещены «Петербургские заметки», подписанные К. П. (Ксенофонт Полевой), во многом дублирующие обычную тематику «Петербургской летописи». В начале мая (№ 98) «Петербургскую летопись» пишет Соллогуб в подчеркнуто светском тоне, а в № 104, 11 мая в отделе фельетона, после «Заметок» К. П. (Ксенофонта Полевого), вновь появляется «Петербургская

летопись» Ф. Д. В № 109 «Петербургскую летопись» вновь пишет Соллогуб и рядом с ней помещаются «Заметки» Кс. Полевого и его же «Заметки» в № 112 и 118.

Лишь в № 120, 1 июня, и в № 133, 15 июня, вновь появляется «Петербургская летопись», подписанная Ф. Д. Участие Достоевского в этом издании на этом заканчивается, в то время как «Петербургские заметки» К. А. Полевого печатаются в № 124, 130, 136, 142 и т. д. Кроме того, в № 128 и 129 напечатаны в том же фельетонном жанре о жизни Петербурга «Очерки, набросанные карандашом» Петра Медведовского (псевдоним П. И. Юркевича). «Петербургская летопись» появляется только в № 157, 15 июля, с подписью С. (Соллогуб), статья «Еще несколько слов о Э. И. Губере».

В августе «Петербургской летописи» нет, а в сентябре она переходит в руки Ф. Корфа и с 7 сентября (№ 203) правильно печатается еженедельно.

Итак, четыре подписанные Достоевским фельетона появились 27 апреля, 11 мая, 1 июня и 15 июня. Подписанный же буквами Н. Н. — 13 апреля. Публикации Достоевского дважды перемежались фельетонами Соллогуба, параллельно обильно печатались «Петербургские заметки» Кс. Полевого и «Очерки, набросанные карандашом» Медведовского, имевшие то же назначение, как и «Петербургская летопись».

Кто содействовал привлечению Достоевского в качестве фельетониста к работе в «Санкт-Петербургские ведомости», точно нам неизвестно. С большой долей вероятности можно предположить, что им был пользовавшийся особым уважением редакции и находившийся в приятельских отношениях с Ф. М. Достоевским граф Соллогуб, который с начала 1847 г. именно этот фельетон писал в газете.

Судя по недошедшему до нас письму Достоевского к брату, предполагалось, что Достоевский будет писать несколько фельетонов в неделю, так как он надеялся на значительный гонорар, из которого он будет выплачивать долги и посылать брату. Но в следующем, дошедшем до нас письме, цитированном нами выше, рисовались уже иные перспективы: писать придется «едва ли два фельетона в неделю». На самом деле работа оказалась еще менее интенсивной и скоро оборвалась.

В чем была причина этой неудачной попытки Достоевского? Можно предположить, что, занятый в это время планами и писанием «Хозяйки» и «Неточки Незвановой», Достоевский тяготился новой срочной работой, которая требовала от автора ежедневного внимания к текущей петербургской жизни, чтения прессы, посещения зрелищ и т. п. Возможно, что самый жанр фельетона, как он сложился к этому времени в русских периодических изданиях, был ему не по душе, и он, подобно Белинскому, ощущал всю трудность проводить у нас тот тип фельетона, который пленял его современников на страницах французской прессы. Но очень веро-

ятно, что написанные им фельетоны не «пришлись ко двору» в газете, где восхищались светским Соллогубом, где с легким юмором, но всегда доброжелательно и осторожно писал Губер и давал свои нейтральные, бесцветные оценки житейских и литературных фактов Ксенофонт Полевой.

Автор «Бедных людей», «Голядкина» и «Прохарчина» оказался случайным явлением в академической газете, которая недавно выступила в статьях Губера и Вяземского с осуждением критики Белинского и неприятием, отрицанием «натуральной школы». «Петербургская летопись», напечатанная Достоевским, своей всегда иронической, а иногда и саркастической оценкой петербургского общества никак не сливалась с тем тоном, который задали ей Губер и Соллогуб, с легким юмором говорившие о светских развлечениях, с восторгом о европейских знаменитостях в искусстве и литературе, чему отводилось в их фельетонах почетное место.

Прежде чем говорить о том, что представляли собой фельетоны Достоевского, необходимо изложить аргументацию, на основании которой я считаю фельетон 13 апреля, подписанный Н. Н., также полностью принадлежащим Достоевскому, тесно, органически связанным с четырьмя остальными, подписанными Ф. Д.

Публикуя в 1922 г.[4] обнаруженные мною неизвестные фельетоны Достоевского в «Санкт-Петербургских ведомостях», я начала публикацию с фельетона 13 апреля, так как не сомневалась в его принадлежности Достоевскому. В предисловии я писала так: «Псевдоним, поставленный Достоевским под первым фельетоном, может быть объяснен тем, что этот фельетон был как бы пробным, на что указывает приведенное раньше примечание редакции газеты: «Внезапная болезнь и потом кончина нашего даровитого, ревностного, незабвенного сотрудника Э. И. Губера... причиной, что мы должны были обратиться *на этот раз* к одному из наших молодых литераторов». Может быть также, что Достоевский, дорожа своим именем, не решился сперва связывать его с черной работой поденщика в газете, прямо противоположной по литературному направлению тем журналам, где он печатал свои произведения».

В предисловии я бегло указала на органическую связь первого фельетона со следующими, не имея возможности углубляться в анализ, да и не сомневаясь в единстве их автора — Достоевского.

В 1930 г. фельетоны «Петербургская летопись» были дважды перепечатаны. В. А. Комарович в книге «Фельетоны сороковых годов» под ред. Ю. Г. Оксмана («Academia», 1930) напечатал под именем Достоевского фельетоны от 27 апреля, 11 мая, 1 и 15 июня, а первый фельетон от 13 апреля поместил после них — как фельетон А. Н. Плещеева, оговорив это следующим образом: «По явному недосмотру (принадлежность фельетона А. Н. Плещееву была отмечена в редакционной заметке «С.-Петербургских ведомостей», 1847, № 230) В. С. Нечаева отнесла ссылку на «одного из наших молодых литераторов» к Ф. М. Достоевскому и

перепечатала в ряду фельетонов последнего не принадлежавшую ему вещь».

По этой ссылке В. А. Комаровича можно предположить, что в № 230 именно данный фельетон 13 апреля был скреплен редакцией с именем Плещеева. Однако дело обстояло иначе, и Б. В. Томашевский, перепечатавший в том же 1930 г. фельетоны Достоевского в томе XIII Полного собрания сочинений Достоевского и так же изъявший фельетон от 13 апреля, дал в примечании следующее объяснение: «В списке участников газеты и их статей, помещенном в № 230, указано при именах Губера, Достоевского, Соллогуба и Ф. Корфа по «несколько нумеров» «Петербургской летописи», при имени же А. Н. Плещеева стоит просто: «Петербургская летопись». Подобная формула в противоположность прочим, очевидно, говорит об одном фельетоне Плещеева. Между тем, вряд ли какой из нумеров «Петербургской летописи», кроме подписанного Н. Н., принадлежит Плещееву». Далее Томашевский указывает количество и номера газеты, в которых была напечатана «Петербургская летопись» с подписями Губера, Соллогуба и Корфа, и продолжает: «Только один фельетон в № 81 подписан буквами, не повторяющимися более. Следовательно, только он может принадлежать Плещееву, которого редакция имела все основания назвать «молодым литератором» (род. в 1825, в 1846 г. выпустил первый сборник стихов). Что же касается некоторой общности идей и настроений в фельетонах Плещеева и Достоевского, то это вполне объясняется их близостью в эпоху написания этих фельетонов. По мнению В. А. Комаровича, можно допустить участие Достоевского в данном фельетоне» [5].

Ни Томашевский, ни Комарович не сделали попытки установить автора фельетона 13 апреля путем сопоставления его стиля и содержания с другими фельетонами Достоевского и Плещеева. А между тем мы располагаем для этого нужным материалом. С сентября 1846 г. до начала 1848 г. Плещеев писал 3—4 фельетона в месяц в газете «Русский инвалид» под названием «Петербургская хроника», печатал их без подписи, но его авторство твердо установлено современными советскими исследователями [6].

Я поставила себе задачу сопоставить фельетон «Санкт-Петербургских ведомостей» от 13 апреля как с фельетонами Плещеева 1846—1847 гг., так и с подписанными фельетонами Достоевского. Для этого я прочла 27 фельетонов Плещеева в «Русском инвалиде» (с сентября 1846 до 1 июня 1847 г.), дающих полностью возможность судить о манере и направлении их автора. Первоначально я укажу, что́ в фельетоне 13 апреля говорит против авторства Плещеева, а далее что́ соединяет этот фельетон со следующими фельетонами Достоевского.

Сопоставление тематики фельетонов Плещеева с фельетонами Достоевского мало плодотворно. Общая задача — отразить жизнь столицы, дружеская связь и общее окружение привели к наличию у обоих авторов рассуждений о «мечтателе», «о кружках» с их

сплетнями, о господине, имеющем «новости», и т. д. Сопоставлять надо не темы, а характер, манеру, стиль в передаче общей тематики. Если фельетоны Достоевского Комарович назвал «исповедальными», т. е. глубоко пронизанными личным отношением и самопризнаниями автора, то фельетоны Плещеева в основном являются информационными. Это информация о том, что́ занимало последние две недели петербургское общество, какие вышли новые книги и что́ нового в области театра и концертов.

Первая информация дается в юмористическом плане, иногда в тоне столичного *фланера*, которым себя представляет автор. В новогоднем фельетоне с юмором говорится о традиции новогодних визитов и поздравлений, на масленицу — об увеселениях, фокусниках и т. д., очень часто и много об успехе у публики цирка, о лекциях по французской литературе графа Сюзора и Камилла Рюо, в отзывах о которых Плещеев выступает как авторитетный и знающий предмет критик. В описании же светских развлечений, изображая резвящуюся молодежь, Плещеев чужд иронии и ограничивается легким юмором.

Информируя о вышедших книгах, Плещеев пишет рецензии, составляя из них иногда всю хронику. Выбор книг случаен и очень пестр. То это детские подарочные издания, то «Памятная книжка», типа календаря, то сообщение о переводе на русский с французского «Эстетики» Гегеля, то книга Иславина о самоедах, то переводы Кетчером Шекспира. Принципиально, но мимоходом он отозвался о предисловии ко второму изданию «Мертвых душ» и о «Выбранных местах из переписки с друзьями», осудив позицию автора и сожалея о «прежнем Гоголе».

Свое подлинное лицо, интересы, пристрастия Плещеев отразил в информациях о театральном и концертном сезоне. Здесь перед нами молодой энтузиаст, не пропускающий ни одного спектакля во французском театре, ни одного концерта приезжих гастролеров. Он сообщает о репертуаре, бенефисах, излагает содержание французских пьес, восторгается актерами и совершенно пленен артисткой де Плесси, без похвал которой не обходится ни одна его хроника. Еще более места уделил он музыкальному миру, хотя считал должным сообщить читателям, что он не специалист. Он пишет горячие похвалы скрипачам Вьетану, Эрнсту, концертам Берлиоза, обращается к ним с благодарностью за удовольствие, которое они доставляют жителям Петербурга, принимающим их с энтузиазмом. Он признавался, что аплодировал Эрнсту «сколько у него доставало сил», вполне разделяя восторг публики.

Если под впечатлением двадцати семи фельетонов Плещеева в «Русском инвалиде», которое мы бегло здесь изложили, обратиться к фельетону 13 апреля в «Санкт-Петербургских ведомостях», то прежде всего обращает на себя внимание разница в интонациях авторов. Автор фельетона 13 апреля, объединяя себя с светской публикой («мы»), с глубокой иронией изображает скучающее, чуждое всякому интересу и увлечению общество, которое

с трудом несет обязанности, налагаемые на него европейской культурой, которое, зевая, слушает оперу, которое «научилось ничему не удивляться», а тем более приходить от чего-нибудь в восторг, энтузиазм. При чтении в этом фельетоне характеристики петербургского общества сейчас же вспоминаются недавно напечатанные и выше приведенные слова Белинского о фельетоне: «Где же ужиться с фельетоном русской публике, которая так церемонна, серьезна, чопорна, с таким избытком одарена великодушной готовностью благоприлично скучать, так уважает даже вчуже, благонамеренную наружность? ..».

О гастролях Эрнста, которого Плещеев называл гениальным, несравненным, рассыпаясь в восторгах и восхвалениях («Русский инвалид» от 12 марта, 3 и 24 апреля, 1 мая 1847 г.), в фельетоне 13 апреля в «Санкт-Петербургских ведомостях» автор лишь коротко упомянул: «...как сладко ни выпевали наши Борси, Гуаско и Сальви свои рондо и каватины и прочее, но мы оперу дотащили, как дрова; устали, потратились, и если бросали под конец сезона букеты, то будто благодаря, что опера подходит к концу. Потом был Эрнст... Насилу на третий концерт съехался Петербург. Сегодня мы с ним прощаемся, будут ли букеты, не знаем!».

Вполне закономерно от лица этой скучающей, ничему не удивляющейся публики автор фельетона сделал следующее признание:

«Мы скептики; нам очень хочется быть скептиками. И ворчливо и дико сторонимся от энтузиазма, бережем от него свою скептическую славянскую душу. Оно бы иной раз и порадовался, да ну как не тому, чему нужно: ну как промахнешься; что тогда скажут об нас? Не даром мы так полюбили приличия».

Нельзя представить себе, что старательно отбивавший ладони аплодисментами Плещеев мог вложить эти слова в уста той публики, с которой он полностью разделял театральные и концертные восторги. Между тем в фельетоне Достоевского от 27 апреля мы находим точное повторение приведенного выше признания из фельетона 13 апреля, когда одинокий светлый луч, прорвавшийся из мглы и тотчас исчезнувший, сравнивается им с «внезапным восторгом, *ненароком залетевшим в скептическую славянскую душу*, которого тотчас же и устыдится и не признает она». В его же фельетоне 15 июня еще раз встретим «*мертвящую досаду за минутное увлечение*», «*скептический взгляд и заднюю мысль*...».

Плещеев не раз в фельетонах «Русского инвалида» писал о филантропии. 15 января 1847 г. (№ 10) он сообщал о создании Общества посещения бедных, рассуждал о его организации, о необходимости статистики, об устройстве разных увеселений, и «завтраков» для сбора средств в пользу общества. 24 апреля (№ 89) он восхвалял принципы, положенные в основу дела, его планы, выражал твердую уверенность, что «действия общества принесут плод самый блистательный для наших ближних, которым природа и судьба, неровно разделяющая свои дары, отказала в возмож-

ности наслаждаться тем, на что каждый из них имеет полное право, как человек — благополучием». 8 мая (в № 100) он разбирал «Отчет» общества, составленный гр. В. А. Соллогубом, опять восхвалял деятельность и планы общества. Никакого намека на иронию или сомнения в этом предприятии он не высказал.

Совсем иначе подошел к отчету филантропов автор фельетона 13 апреля. В своем отзыве об «Отчете общества посещения бедных» он писал: «Мы особенно порадовались этому призыву к целой массе публики; мы рады всякому соединению, особенно соединению на доброе дело». Отметим, что в следующем фельетоне 27 апреля, подписанном Достоевским, повторена и развита та же мысль и почти в тех же словах о человеке с «добрым сердцем»: «Только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в уединении может отшлифоваться» доброе сердце.

Но, выразив похвалу «соединению на доброе дело», автор фельетона 13 апреля тотчас высказал плохо скрываемый ядовитый скепсис: «Самым интереснейшим фактом была для нас необыкновенная бедность кассы общества; но терять надежду не надобно: благородных людей много. Укажем на того деньщика, который прислал 20 руб. серебром; по его достатку это, вероятно, сумма огромная. Что если бы все прислали пропорционально?». Приведя далее выразительную цитату из «Современной песни» Дениса Давыдова и анекдот о помещике-«филантропе», автор ясно показал свое подлинное отношение к фальши предприятия, поставившего себе целью борьбу с социальным злом.

Интересно отметить, что отзывы автора фельетона 13 апреля о филантропии вызвали к себе особое внимание В. А. Комаровича, который в статье 1939 г. («Литературное наследство Достоевского за годы революции») хотя и продолжал считать, как и в 1930 г., автором фельетона Плещеева, но видел в нем «явные следы если не авторства, то по крайней мере авторского соучастия Достоевского». Он писал: «Чтобы убедиться в этом, надо припомнить статью в „Дневнике писателя“ 1876 г. (январь) „Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь“, где говорится, в плане уже ретроспективных воспоминаний, о „филантропическом обществе“, когда-то мечтавшемся Достоевскому, и о карикатурной „эмблеме“, т. е. точь-в-точь о том же, о чем говорит заключительная часть фельетона 1847 г.; больше того: стихотворение Дениса Давыдова, использованное в качестве указанной „эмблемы“ в фельетоне 1847 г., прямо цитируется в другой статье „Дневника писателя“ 1876 г.» («Несколько слов о Жорж-Занд») [7].

В фельетоне 13 апреля есть несколько сочувственных строк, посвященных «простому народу», его желанию на праздник «развернуться, распоясаться по-родному, по-своему». Ни в одном из фельетонов Плещеева мы не встретили какого-нибудь обращения или интереса к русской «народности». В фельетоне 1 ноября 1846 г.

он высмеял «сехтаторов», возражающих против «европейской цивилизации», и их любовь к «родной сермяге», их поиски народности в магазине «Русские изделия» и в театре. Между тем в фельетоне Ф. М. Достоевского от 11 мая мы находим обращение к «безбрежному долгому напеву русской унылой песни», которая звучит для него «родным призывающим звуком».

Мы просмотрели тематику фельетона 13 апреля в ее трактовке Плещеевым и Достоевским. Остановимся теперь на одной детали стиля, которая, по нашему мнению, очень значительна для авторской атрибуции фельетона. Это взаимоотношение автора со своими читателями. Весь фельетон 13 апреля — это или разговор с ними, или объединение себя с читателями словом «мы». Обращаясь к читателям, автор четыре раза употребляет слово *господа*, которое следует за вопросом или утверждением: «Я не отвечаю вам, господа». «Замечали ли вы, господа, как веселится простой народ наш...»; «Мне кажется, есть что-то похожее тут на нас, господа...»; «Куда мы поедем, господа?» Это обращение к читателям не встретилось нам ни в одном из 27 прочитанных фельетонов Плещеева, который редко, но употребляет в единственном числе обращение «мой читатель». Не встретилось обращение «господа» и в фельетонах Губера, Соллогуба, Кс. Полевого этого же 1847 г. Но в фельетонах Достоевского это обращение «господа» в той же ритмической последовательности встречается более пятнадцати раз. Приведем примеры:

Фельетон 27 апреля: «Этого господина вы очень хорошо знаете, господа»; «Куда это девались старинные злодеи, старинных мелодрам и романов, *господа*?»; «Но я фельетонист, *господа*, я должен вам говорить о новостях...»; «У него своего много такого... Но своего нет, *господа*, решительно нет!»; «Но про любовь я не люблю читать, *господа*, не знаю как вы...»; «Но вам это уже давно наскучило самим, *господа*»; «Я к тому заговорил, *господа*, об этой повести...».

Шесть раз обращение *господа* встречается в фельетоне 11 мая и три раза в фельетоне 15 июня. Интересно отметить, что в объявлении о «Зубоскале», предшествующем фельетонам, обращение *господа* употреблено четыре раза, в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе» («Время», 1861) так же четыре раза. Это обращение было обычно для Достоевского как особый речевой прием; укажем, например, что в «Двойнике», в беседе Голядкина с чиновниками-регистраторами в ресторане, менее чем на полутора страницах обращение Голядкина *господа* встречается 17 раз.

Указывая выше на несоответствие трактовки тех или иных тем в фельетоне 13 апреля с их трактовкой в фельетонах Плещеева, мы попутно отмечали их связь с фельетонами Достоевского. Позволим себе еще несколько развить и подкрепить мысль о внутренней близости фельетона 13 апреля со следующими за ним фельетонами, подписанными Ф. Д. По нашему мнению, в первом фельетоне Достоевский уже дал глубоко ироническую,

в духе Белинского, характеристику своего читателя как «благовоспитанного светского человека». Он прикрыл свою иронию объединением себя с ним — обращением «мы». Его читатели — это публика, принявшая европейскую цивилизацию, с трудом, ради приличия, несет груз тяжелых обязанностей «европеизма», зевая развлекается и зевая отдыхает.

Сопоставим цитаты из разных фельетонов, где проводится эта мысль.

Фельетон 13 апреля:

«Мы устали; нам пора отдохнуть. Мы все как будто работники, которые несут на себе какую-то ношу, добровольно взваленную на плечи, и рады-рады, что европейски и с надлежащим приличием донесут ее хоть до летнего сезона. Каких, каких занятий не задаем мы себе так, из подражания... Не знаю, отчего мне все кажется, что мы держим итальянскую оперу для тону, ну, как будто по обязанности. Если мы не зевали (мне кажется даже, что мы немножко зевали), то по крайней мере вели себя так благовоспитанно и чинно, так умно не высказывались, так не навязывали своего восторга другим, что право как будто скучали и чем-то очень тяготились».

Фельетон 11 мая:

«Мы искренно желаем петербуржцам веселиться на дачах и поменьше зевать. Уж известно, что зевота в Петербурге такая же болезнь, от которой еще долго не освободятся у нас никакими лечениями. Петербург встает зевая, зевая исполняет обязанности, зевая отходит ко сну. Но всего более зевает он в своих маскарадах и в опере. Опера между тем у нас в совершенстве... А между тем Петербург все-таки немножко скучает, и под конец зимы опера ему становится также скучна, как... ну, например, последний зимний концерт».

Фельетон 15 июня:

«Есть у меня, впрочем, приятель, который на днях уверял, что мы и полениться-то не умеем как следует, что ленимся мы тяжело, без наслаждения, с беспокойством, что отдых наш какой-то лихорадочный, тревожный, угрюмый и недовольный... Приятель отчасти и прав; мы как будто тянем наш жизненный гуж через силу, с хлопотливым трудом, по обязанности, и стыдимся только сознаться, что невмочь и устали».

Выше мы приводили почти буквальное повторение в фельетонах 13 и 27 апреля мысли о том, что «скептическая славянская душа» гасит проникший в нее луч энтузиазма. Можно еще привести близкое повторение одного наблюдения, сделанного в фельетонах 13 апреля и 1 июня. В первом из них читаем о петербургском жителе: «Каждое лето он, гуляя, собирается с мыслями: может быть, он и теперь надумывается, что бы ему сделать на будущую зиму». Во втором: «Всякий обдумывает будущую зиму и свою будущую деятельность, каково бы оно ни было и каким бы образом ни производилось это обдумывание».

Белинский в 1847 г. смеялся над фельетонистами, что они всегда начинают фельетон с жалобы на плохую петербургскую погоду. О том же с юмором писали сами фельетонисты, Губер и Соллогуб. Тем не менее три фельетона Достоевского именно и начинаются с петербургской погоды, причем в этих началах ясно отражается их связь между собой и преемственность. Начало фельетона 13 апреля с указанием на повальные болезни петербуржцев писалось, когда сам Достоевский болел несколько раз подряд. Он сообщал брату в апреле: «У меня маленькая лихорадка. Я вчера простудился, выйдя ночью без сюртука в одном пальто, а по Неве шел лед. У нас холодно, как в ноябре. Но уже я раз до шести простуживался — вздор! . .» [8]. Начало следующего фельетона 17 апреля, несомненно, продолжает начатую тему; а начало фельетона 1 июня как бы подводит итоги прежним рассуждениям. Приводим эти три фельетонных начала.

13 апреля:

«Говорят, что в Петербурге весна. Полно, правда ли? Впрочем, оно может быть и так. Действительно, все признаки весны. Полгорода больны гриппом, у другой по крайней мере насморк. Такие дары природы вполне убеждают нас в ее возрождении. Итак, весна! . .».

27 апреля:

«Еще недавно я никак не мог себе представить петербургского жителя иначе как в халате, в колпаке, в плотно закупоренной комнате, и с непременною обязанностию принимать что-нибудь через два часа по столовой ложке. Иным болеть запрещали обязанности. Других отстаивала богатырская их натура. Но вот наконец сияет солнце, и эта новость, бесспорно, стоит всякой другой. Выздоравливающий колеблется, нерешительно снимает колпак. . .».

1 июня:

«Теперь, когда уже мы успокоились совершенно насчет неизвестности, в которой находились относительно времени года, и уверились, что у нас не вторая осень, а весна, которая решительно наконец перевернулась на лето; теперь, когда первая изумрудная зелень выманивает мало-помалу петербургского жителя. . .».

В заключение отметим еще одну деталь в фельетоне 13 апреля, которая может быть свидетельством об авторстве Достоевского. Заканчивая светскую беседу с читателями и желая им «хорошего лета», автор спрашивает: «Куда мы поедем, господа? В Ревель, в Гельсингфорс, на юг, за границу или просто на дачи?». В этом перечне вызывает некоторое недоумение предположение о поездке на лето из Петербурга на север, в Гельсингфорс. Ревель был модным курортом: Плещеев в «Петербургской хронике» 1 мая расхваливал купальни и удобства для отдыхающих

в Ревеле. Об отъезжающих за границу ежедневно в газетах печатались списки. Дачи и юг были наиболее популярными и доступными местами летнего отдыха.

Упоминание Гельсингфорса становится понятным, если обратиться к планам на лето Достоевского. В крепости Свеаборг, вблизи Гельсингфорса, по службе должен был находиться с весны 1847 г. М. М. Достоевский; и Ф. М. Достоевский, который в 1845 г. и 1846 г. ездил летом к брату в Ревель, писал в феврале 1847 г. о предстоящем лете: «В Гельсингфорс уже вряд ли приеду рано... приеду разве в июле». В апреле он писал: «Не знаю, где застанет тебя письмо мое...», а 9 сентября сообщал: «Письмо мое, может быть, застанет тебя накануне отъезда. Я напишу москвичам, но ты напишешь тоже еще из Гельсингфорса...» [9].

В 1847 г. Достоевский не ездил ни в Ревель, ни в Гельсингфорс, но мысль об этой поездке его не покидала весной, и он в своих вопросах читателям фельетона мог назвать место, куда сам надеялся отправиться в июле.

Как объяснить, что редакция газеты в № 230 указала на Плещеева как автора «Петербургской летописи»? Прежде всего отметим, что там напечатано так: «Критика. (Очерки Рима) Майкова. Петербургская летопись А. Н. Плещеева». Критическая статья Плещеева о книге Майкова с подписью А. П.....въ была напечатана в № 95 (29 апреля) «Санкт-Петербургских ведомостей» не в отделе фельетона, где печаталась «Петербургская летопись». Но «Петербургская летопись» не всегда занимала полностью два «подвала» (с. 1 и 2 газеты), отведенные для фельетона. Когда оставалось свободное место, то сейчас же вплотную после подписи автора «Петербургской летописи» печатались без подписи, а иногда и без заголовка разные петербургские новости, которые собственно выполняли ту же функцию, что и подписанный текст, т. е. давали летопись петербургской жизни. Так, например, в № 37 (16 февраля), тотчас после «Петербургской летописи», подписанной К. Д. С. (т. е. Э. И. Губер), была напечатана без подписи информация: «Лекции графа де Сюзора», а за ней «Музыкальные лекции» и «Концерт г. Роллера». В № 43 (25 февраля) также после фельетона Губера напечатана без подписи информация о концерте Бласа. Тема этих и других безымянных дополнений «Петербургской летописи» как раз была особенно близка Плещееву, и не значит ли упоминание редакцией рядом с его именем в № 230 «Петербургской летописи» это безымянное участие в ней в виде дополнений к основному фельетону? Плещеев был постоянным сотрудником другой газеты, где вел фельетон на аналогичную тему, и не мог афишировать свое участие в другой газете с параллельными сообщениями. Если так, то понятно, что редакция, не указывая число нумеров, где участвовал Плещеев, ограничилась при сообщении о публикации ею критических заметок упоминанием: «Петербургская летопись».

Только изучение фельетонов Достоевского параллельно с фельетонами Плещеева позволяет утверждать, что те и другие отделены огромной дистанцией, какая отделяла в это время двадцатилетнего Плещеева, получившего прекрасное домашнее французское образование и учившегося потом в школе гвардейских подпрапорщиков, от двадцатишестилетнего Достоевского, автора «Бедных людей» и «Двойника». Писать вместе фельетон в газету не было никакой надобности, да и вряд ли это было возможно.

2. Петербург Достоевского

«Я думаю так: если бы я был не случайным фельетонистом, а присяжным, всегдашним, мне кажется, я бы пожелал обратиться в Эженя Сю, чтобы описывать петербургские тайны. Я страшный охотник до тайн, я фантазер, я мистик, и, признаюсь вам, Петербург, не знаю почему, для меня всегда казался какой-то тайною. Еще с детства, почти затерянный, заброшенный в Петербурге, я как-то все боялся его», — писал Достоевский в 1861 г. в «Петербургских сновидениях в стихах и прозе». Но еще в 1847 г., став фельетонистом петербургской газеты, он начал разгадывать эту «тайну» — Петербург и его обитатели в своем взаимодействии, единстве. Это составляет главную тему его статей, в которые вплетается весь разнородный материал отдельных эпизодов: жанровые сцены, психологические зарисовки, глубоко личные признания и саркастические оценки и суждения. Близкое присутствие загадочного города ощущается все время: то в сырое, туманное утро встает он, злой и сердитый, готовый со всеми своими мраморами, колоннами и статуями навсегда убежать с Ингерманландского сурового болота, то в трогательном, наивном расцвете летней природы очаровывает своей пустынной пышностью. Лучшие по глубине лиризма строки статей посвящены именно Петербургу.

Если исключить фельетон 1 июня, то остальные четыре объединены общим глубоко пессимистическим, безотрадным тоном автора, его мрачным, часто подавленным настроением. «Я вот шел по Сенной да обдумывал, что бы такое написать. Тоска грызла меня...», «Мне стало как-то тоскливо, досадно...», «Тоска и сомнение грызут и надрывают сердце...» — пишет он в разных местах своих статей. Случайный эпизод окутывается им в зловещие, мрачные тени, весенний пейзаж наводит мысль о тоскливой осени, одинокий солнечный луч лишь подчеркивает постоянный мрак окружающего.

Общее впечатление тяжелого душевного состояния Достоевского, получаемое при чтении статей, вполне согласуется с многочисленными его признаниями в письмах 1846—1847 гг. Это результат и его физического нездоровья и переживаний, связанных с охлаждением критики к его произведениям после «Бедных

людей», с уходом из кружка Белинского и «Современника», с сомнениями в новых, начатых работах. Но было бы неверно объяснять пессимистический тон фельетонов только личными авторскими переживаниями и неудачами. Этот тон диктовался его оценкой тех наблюдений, которые он собирал для «Петербургской летописи», выводами, к которым приводила его работа над нею. Не легкий юмор, как у Губера и Плещеева, а безжалостная ирония, сатира, сарказм преобладают в изображении им петербургских читателей его фельетонов, к которым он обращается, объединяя себя с ними: «Мы, господа...».

Изображая петербургское общество, Достоевский проводит в фельетонах как бы его подразделение на два слоя: представителя одного из них он уже в первом фельетоне характеризует как «благовоспитанного, светского человека». Именно характеризуя светскую публику, он писал о постоянно скучающем, как бы с трудом несущем свои обязанности, налагаемые на него европейской культурой, обществе, чуждом всякому энтузиазму, увлечению. В применении к нему он развивал короткое определение, данное Белинским «русской публике», чопорной, церемонной, «благоприлично скучающей» и уважающей «даже вчуже благонамеренную наружность». Ранее мы приводили ряд цитат из фельетонов, где с глубокой иронией изображается постоянно скучающий, зевающий посетитель итальянской оперы, концертов иностранных артистов, маскарадов, точно «по обязанности» и благовоспитанности несущий тяжелый груз и развлечений, и даже отдыха. Позволим себе еще привести несколько цитат, в которых сатира Достоевского направлена против светской, наиболее обеспеченной и наиболее ему далекой петербургской публики:

«Закроются скоро салоны, уничтожатся вечера; дни сделаются длиннее, и мы уже не будем так мило зевать в душных оградах, возле щегольских каминов, слушая повесть, которую вам тут же прочтут или расскажут, воспользовавшись вашей невинностью...»;

«Далеко от меня мысль порицать наше уменье жить в свете; опера принесла в этом отношении публике большую пользу, естественно рассортировав меломанов на энтузиастов и просто любителей музыки; одни убрались в верх, отчего там сделалось так жарко, как будто в Италии; другие сидели в креслах и, поняв значение образованной публики, значение тысячеглавой гидры, имеющей свой вес, свой характер, свой приговор, ничему не удивлялись, зная уже заранее, что это главная добродетель благовоспитанного, светского человека...»;

«Мы не потребуем чего-нибудь больше; мы очень хорошо знаем, что мы за наши 15 р. получили европейское наслаждение; и с нас довольно. И к тому же к нам ездят такие патентованные знаменитости, что роптать мы не можем. Мы же научились ничему не удивляться...».

Ирония этих попутно брошенных замечаний вырастает в саркастическую картину, когда Достоевский берется за характери-

стику светских разговоров, отражающих интеллектуальный уровень салонных бесед, светской causerie, над которой посмеивался в своих фельетонах и Плещеев. Но выпад Достоевского был убийственно зол и вряд ли мог располагать к новому фельетонисту редакцию, восторгавшуюся «каким-то ароматом светскости», которой благоухали фельетоны графа Соллогуба. В фельетоне 11 мая Достоевский писал:

«Вы не можете себе представить, господа, какая приятная обязанность говорить с вами о петербургских новостях и писать для вас „Петербургскую летопись". Скажу более: это даже не обязанность, а высочайшее удовольствие. Не знаю, поймете ли вы всю мою радость. Но, право, приятно этак собраться, посидеть и потолковать об общественных интересах. Я даже иногда готов запеть от радости, когда вхожу в общество и вижу преблаговоспитанных, солидных людей, которые собрались, сидят и чинно толкуют о чем-нибудь, в то же время нисколько не теряя своего достоинства. Об чем толкуют, это второй вопрос, я даже иногда забываю вникнуть в общую речь, совершенно удовлетворяясь одной картиной, приличною общежитию. Сердце мое наполняется самым почтительным восторгом.

Но вникнуть в смысл, в *содержание* того, об чем у нас говорят общественные *светские* люди, люди — *не кружок,* я как-то до сих пор не успел. Бог знает, что это такое! Конечно, бесспорно что-нибудь неизъяснимо прелестное, за тем, что все это такие солидные и милые люди, но все как будто непонятно. Все кажется, как будто начинается разговор, как будто настраиваются инструменты; часа два сидишь и все начинают. Слышится иногда, что все будто говорят о каких-то серьезных предметах, о предметах, вызывающих на размышление; но потом, когда вы спросите себя, об чем говорили, то никак не узнаете, об чем именно: о перчатках ли, об сельском ли хозяйстве, или о том, «продолжительна ли женская любовь? ..“».

Достоевский не делал попытки сколько-нибудь углублять психологический анализ этой категории петербургского обитателя, но, дав по пути анекдотически карикатурную зарисовку одного его представителя, поставил вопрос о социальных корнях, которые питали, на которых вырос этот общественный слой. Анекдот он поместил уже в первом фельетоне, рассказав о господине, «который никак не мог решиться надеть галош, какая бы ни была грязь на улице, равно как и шубу, какой бы ни был мороз: у этого господина было пальто, которое так хорошо обрисовывало его талию, давало ему такой парижский вид, что никак нельзя было решиться надеть шубу, равно как и уродовать панталоны галошами. Правда, у этого господина весь европеизм состоял в хорошо сшитом платье, он оттого и Европу любил за просвещение; но он пал жертвою своего европеизма, завещав похоронить себя в лучших своих панталонах».

В фельетоне 11 мая Достоевский вернулся к вопросу о модной

толпе на Невском и в Летнем саду и раскрыл тот источник, который делал возможным ее существование:

«Боже! Об одних встречах на Невском проспекте можно написать целую книгу. Но вы так хорошо знаете обо всем этом по приятному опыту, господа, что книги, по-моему, не нужно писать. Мне пришла другая идея: именно то, что в Петербурге ужасно мотают. Любопытно знать, много ли таких в Петербурге, которым на все достает, т. е. людей, как говорится, совершенно достаточных? Не знаю, прав ли я, но я всегда воображал себе Петербург (если позволят сравнение) младшим, балованным сынком почтенного папеньки, человека старинного времени, богатого, тароватого, рассудительного и весьма добродушного. Папенька, наконец, отказался от дел, поселился в деревне и рад-рад, что может в своей глуши носить свой нанковый сюртук, без нарушения приличия. Но сынок отдан в люди, сынок должен учиться всем наукам, сынок должен быть молодым европейцем, и папенька, хотя только по слухам слышавший о просвещении, непременно хочет, чтобы сынок его был самый просвещенный молодой человек. Сынок немедленно схватывает верхи, пускается в жизнь, заводит европейский костюм, заводит усы, эспаньолку, и папенька, вовсе не замечая того, что у сынка в то же время заводится голова, заводится опытность, заводится самостоятельность, что он, так или не так, хочет жить сам собою и в двадцать лет узнал даже на опыте более, нежели тот, живя в прадедовских обычаях, узнал во всю свою жизнь; в ужасе видя одну эспаньолку, видя, что сынок без счету загребает в родительском широком кармане, заметя наконец, что сынок немного раскольник и себе на уме, — ворчит, сердится, обвиняет и просвещение, и Запад, и, главное, досадует на то, что „курицу начинают учить ее же яйца“. Но сынку нужно жить, и он так заспешил, что над молодой прытью его невольно задумаешься. Конечно, он мотает довольно резво».

Закончив эту характеристику сведениями о публикации в газетах «длинных столбцов» с именами уезжающих за границу в связи с «расстроенным здоровьем», Достоевский сделал вывод, что «кошелек провинциала папеньки еще довольно туг и широк».

«Папенька», живущий в глуши и обладающий тугим кошельком, — это, конечно, крупный помещик, владелец многих сотен крепостных душ. Но этой базы «светского» общества Достоевский коснулся лишь раз, предложив в первом фельетоне в альбом Неваховича анекдот о помещике-филантропе, который с «большим жаром» говорил о любви к человечеству, но у себя в поместье не нашел ни одного достойного филантропии крепостного, так как все «мерзавцы, мошенники и всякие воры», которых надо «учить по субботам нравственности. Собакам и житье собачье!».

Фальшь, пронизывающая жизнь светского общества, достойно завершается картиной «пышных похорон» одного из его членов, связанного, вероятно, с военной или бюрократической верхушкой.

«Шляпа с плюмажем, помещенная на гробе, этикетно гласила прохожим о чипе сановника. Регалии текли вслед за ним на подушках. Возле гроба плакал навзрыд неутешный, уже весь поседевший полковник, должно быть зять умершего, может быть и двоюродный брат. В длинном ряду карет мелькали, как водится, натянуто-траурные лица, шипела неумирающая сплетня, и весело смеялись дети в белых плерезах».

Иронический, иногда саркастический тон, которым Достоевский повествует о жизни светского общества, сатирически изображая отдельные эпизоды, лишь один раз изменяет ему, и он с отвращением и гневом разоблачает «грязь», скрытую за фальшивой «благовоспитанностью», приличиями и условностями. Говоря о «неслыханном великолепии», довольстве и счастии тех, кто заселит летом дачные местности, автор якобы смиренно, но глубоко саркастически добавляет: «Я даже совершенно уверен, что и бедный человек сделается немедленно доволен и счастлив, смотря на общую радость. По крайней мере увидит даром такое, чего ни за какие деньги не увидишь ни в каком городе нашего обширного государства...».

Но тут и последовал взрыв негодования, который лишь подспудно ощущался во всех якобы похвалах Достоевского «светскому» образу жизни:

«А кстати, о бедном человеке. Нам кажется, что из всех возможных бедностей самая гадкая, самая отвратительная, неблагородная, низкая и грязная бедность — светская, хотя она очень редка, та бедность, которая промотала последнюю копейку, но по обязанности разъезжает в каретах, брызжет грязью на пешехода, честным трудом добывающего себе хлеб в поте лица, и, несмотря ни на что, имеет служителей в белых галстуках и в белых перчатках. Это нищета, стыдящаяся просить милостыню, но не стыдящаяся брать ее самым наглым и бессовестным образом. Но довольно об этой грязи!».

Характеристика светского общества в фельетонах Достоевского перемежается его обращением к другому слою петербургской публики, несомненно ему более близкой и хорошо знакомой. Если, говоря о салонной болтовне, он назвал ее участников — «общественные светские люди, люди — не *кружок*», то он противопоставил им общество, все состоящее из «*кружков*»: «Даже известно, что весь Петербург есть не что иное, как собрание огромного числа маленьких кружков, у которых у каждого свой устав, свое приличие, свой закон, своя логика и свой оракул».

Типичное явление для русской интеллигенции 1830—1840 гг. в биографии ряда деятелей этого времени, оно было хорошо знакомо автору фельетонов в своих разновидностях. К лету 1847 г. у него был уже немалый опыт связей с «кружками». Еще в Инженерном училище вокруг него образовался *кружок*, с которым, возможно, он продолжал общаться, служа в канцелярии. Он близко сошелся с братьями Майковыми и бывал в *кружке*, кото-

рый собирался в их семье. Он сблизился с Бекетовыми, поселился с ними, и здесь образовался *кружок единомышленников*. Но, конечно, самым впечатляющим стал для него *кружок*, который возглавлял *Белинский* и где протекали самые для него знаменательные годы выхода на писательский путь. В то время, когда он писал фельетоны, он уже бывал в *кружке Петрашевского* и уже организовался более близкий ему *кружок Дурова*. Возможно, что, говоря о жизни кружков в фельетонах, Достоевский имел в виду и другие, ему известные. Но можно предположить, что недавно разорванные связи с кружком Белинского и речи в кружке Петрашевского и Дурова нашли некоторое отражение в фельетоне о *кружках*.

О социальном составе *кружков* Достоевский ничего не говорит, но по ряду замечаний, хотя и иронических, можно понять, что участники кружков не чужды общественным интересам, что их объединяют заботы интеллектуального порядка. Но для автора фельетона ясна вся бесперспективность их встреч и разговоров.

Достоевский нарисовал два типа кружков: в одних тянут «свою полезную жизнь между зевком и сплетнею», вопрос: «что нового?» — звучит пронзающе уныло; «коренной петербуржец, знающий заранее, что ему ничего не ответят, что нет нового, что он уже без малого или с небольшим тысячу раз предлагал этот вопрос совершенно безуспешно и потому давно успокоился, — но все-таки спрашивает, как будто интересуется, как будто какое-то приличие заставляет его тоже участвовать в чем-то общественном и иметь публичные интересы».

Кружку «сплетен и зевоты» Достоевский противопоставляет другой, который, казалось бы, интенсивно живет общественными интересами, но это не спасает его от пошлости, свойственной первому:

«В иных кружках, впрочем, сильно толкуют о деле; с жаром собирается несколько образованных благонамеренных людей, с ожесточением изгоняются все невинные удовольствия, как-то: сплетни и преферанс (разумеется, не в литературных кружках) и с непонятным увлечением толкуется об разных важных материях. Наконец, потолковав, поговорив, решив несколько общеполезных вопросов и убедив друг друга во всем, весь кружок впадает в какое-то раздражение, в какое-то неприятное расслабление. Наконец, все друг на друга сердятся, говорится несколько резких истин, обнаруживается несколько резких и размашистых личностей и — кончается тем, что все расползается, успокаивается, набирается крепкого житейского разума, и мало-помалу сбивается в кружки первого вышеописанного свойства».

Достоевский зарисовывает отдельные типы, порождаемые кружками. Один — это «господин, имеющий *доброе сердце*, и ничего не имеющий, кроме *доброго сердца*». Автор показывает его в разных житейских ситуациях, как бы готовясь воплотить его в одного из героев своих повестей. Другой «господин, всегда

имеющий у себя в запасе какую-нибудь новость, еще никому не известную», один из «наших доморощенных занимателей, прихлебателей и забавников». Художественное изображение «человечка» с новостями из фельетона Достоевский вскоре дал в рассказе «Ползунков», о чем будем говорить далее.

Насмешливо характеризуя жизнь кружков, которые засасывает пошлость и безделье, он противопоставляет их ограниченным интересам уже без иронии, с глубоким убеждением иное понимание смысла жизни, ее назначения и цели. Достоевский разоблачает «господина с добрым сердцем», этот «образец нашего сырого материала», и пишет следующие знаменательные строки: «Забывает, да и не подозревает такой человек в своей полной невинности, что жить значит сделать художественное произведение из самого себя; что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее прямым, непосредственным требованиям, а не в дремоте и уединении может отшлифоваться в драгоценный, неподдельный блестящий алмаз его клад, его капитал — его доброе сердце!»

В этих строках слышны отголоски идей, настроений, которые шли из «кружков» Белинского и Петрашевского, которые звали к «обобщенным интересам», «сочувствию массе общества».

Очень интересно сопоставить описание жизни кружков в фельетоне Достоевского 27 апреля с фельетоном Плещеева в «Русском Инвалиде», появившемся 1 мая (№ 95 1847 г.). Указывая, что сплетни — «комеражи» — распространены не только в провинции, но и в столице, Плещеев пишет: «Сплетничанье сильно развито в Петербургской молодежи; самые искренние друзья, живущие, кажется, душа в душу, сплетничают друг на друга. В так называемых *кружках* (их немало в Петербурге) тоже не прочь посплетничать; наговорившись о предметах, вызывающих на размышления о *современных интересах,* уничтожив в счастливом воображении все, что, по их мнению, служит к бедствиям человеческого рода, останавливает прогресс и проч. и проч., члены кружка принимаются обсуждать дела мирские, нисходят в сферу действительности. . .

Некоторые сознаются сами в своей мании комеражничать и прибавляют, что „ведь без сплетен ей богу было бы скучно!“. . .». И далее Плещеев набрасывает примерные образцы сплетников.

Проходит неделя, и в фельетоне 11 мая Достоевский подхватывает эту тему и дает свой тип разносителя сплетен и новостей: «Сплетня вкусна, господа! Я часто думал: что если б явился у нас в Петербурге такой талант, который бы открыл что-нибудь такое новое для приятности общежития, чего не бывало еще ни в каком государстве, — то, право, не знаю, до каких бы денег дошел такой человек. Но мы все пробиваемся на наших доморощенных занимателях, прихлебателях и забавниках. Есть мастера! Чудо как создана человеческая натура!. .» И далее идет описание

«столичного человечка», прообраз будущего Ползункова в рассказе того же названия.

Эта перекличка фельетонов Достоевского и Плещеева — отклик на их посещение одних и тех же кружков, общего отрицательного отношения к переходу от важных общественных проблем, об обсуждении которых яснее говорит Плещеев, к «делам мирским», а вернее, к сплетням. Но Плещееву чуждо прямое осуждение людей «с добрым сердцем», призыв к «обобщенным интересам» и сочувствию «к массе общества», о чем писал Достоевский, строки которого мы цитировали выше.

Если в фельетоне 27 апреля этот призыв как глубокое авторское признание прорвался сквозь ироническое изображение «светской публики» и массовых посетителей «кружков», т. е. изображения реального Петербурга, окружавшего в 1847 г. Достоевского, то в фельетоне 1 июня ему противопоставлен совсем иной Петербург, Петербург, призванный к «новой жизни», Петербург будущего, который заменит старый — «искурившийся паром к темно-синему небу». Может быть, в это же время или несколькими месяцами позднее написал Достоевский «видение» Аркадия Нефедевича на берегу Невы («Слабое сердце»): в морозном воздухе в поднимавшихся «столпах дыма» с кровель домов он видел, как над исчезнувшим городом с его «приютами нищих» и «раззолоченными палатами» «новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе [10].

Фельетон 1 июня вылился в страстную защиту этого будущего Петербурга и в хвалу его творцу, его идее, его «великой мысли», в признание его колоссальной роли для всей страны, всего народа, его будущего. После изображения Петербурга в виде злого и «гневливого» господина, готового сосредоточить «всю тоскливую досаду свою на каком-нибудь подвернувшемся постороннем третьем лице, поссориться, расплеваться с кем-нибудь окончательно, распечь кого-нибудь, на чем свет стоит, а потом и самому куда-нибудь убежать с места» (27 апреля), в фельетоне 1 июня мы находим апофеоз Петербурга как центра современной жизни страны, как ее вдохновителя и двигателя [11].

«Здесь что ни шаг, то видится, слышится и чувствуется современный момент и идея настоящего момента. Пожалуй, в некотором отношении здесь все хаос, все смесь; многое может быть пищею карикатуры; но зато все — жизнь и движение. Петербург и глава и сердце России... И до сих пор Петербург в пыли и в мусоре; он еще созидается, делается; будущее его еще в идее: но идея эта принадлежит Петру I, она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом. Уже все почувствовали на себе силу и благо направления Петрова, и уже все сословия призваны на общее дело воплощения великой мысли его. Следственно все начинают жить. Все: промышленность, торговля, наука, литература, образованность, начало и устройство

общественной жизни, все живет и поддерживается одним Петербургом. Все, кто даже не хочет рассуждать, уже слышат и ощущают новую жизнь и стремятся к новой жизни».

Горячей защитой идей Петра, роли Петербурга, торжества современности над преданиями старины, над «почтенными предметами, имеющими антикварное значение», Достоевский откликнулся на разгоревшуюся в эти годы в журнальном мире борьбу с мировоззрением славянофилов. Уже в первом фельетоне он иронизировал над ними, упомянув, что читавший курс лекций по современной французской литературе граф де Сюзор поехал в Москву «смягчить нравы славянофилов», а вслед за ним «с той же целью» отправился цирк Гверра. В фельетоне 1 июня Достоевский, противопоставляя Москву и Петербург, использовал книгу французского «туриста», сближая суждение иностранца с учением славянофилов и горячо вставая на защиту северной столицы, которая «напоминает историю европейской жизни Петербурга и целой России».

Выступление Достоевского против славянофилов в защиту европеизма, западничества тесно связывает фельетон 1 июня со статьями Белинского 1846 и 1847 гг., а также говорит о его близости к идеям, с которыми он в это время знакомился в кружке Петрашевского [12].

Вывод, который сделал Достоевский из своих рассуждений в фельетоне о прошлом России и ее современности, о русском народе и национальности, чрезвычайно оптимистичен и по настроению резко контрастирует со всеми предшествующими фельетонами.

«Мы не спорим: никакой русский не может быть равнодушен к истории своего племени, в каком бы виде ни представлялась эта история; но требовать, чтобы все забыли и бросили свою современность для одних почтенных предметов, имеющих антикварное значение, было бы в высочайшей степени несправедливо и нелепо... И кто же, скажите, обвинит тот народ, который невольно забыл в некоторых отношениях свою старину и почитает и уважает одно современное, т. е. тот момент, когда он в первый раз начал жить. Нет, не исчезновение национальности видим мы в современном стремлении, а торжество национальности, которая, кажется, не так легко погибает под европейским влиянием, как думают многие. По-нашему, цел и здоров тот народ, который положительно любит свой настоящий момент, тот, в который живет, и он умеет понять его. Такой народ может жить, а жизненности и принципа станет у него на веки веков».

Через две недели, в своем последнем фельетоне 15 июня, Достоевский вновь упомянул о реформе Петра Великого, «создавшей на Руси свободную деятельность», и о «жажде деятельности, которая доходит у нас до какого-то лихорадочного, неудержимого нетерпения». Но это уже не гордость, не восхваление отличительной черты своего времени и народа, а размышления о возмож-

ности этой деятельности, ее качестве, анализ данных, которые ей способствуют и препятствуют. И мажорный тон фельетона 1 июня постепенно переходит в минор, в признание трагедийных результатов этого общего устремления к деятельности, ее невозможности и подмены уходом от общества, от действительности в одиночество, в область грез и мечтаний.

«Все хотят серьезного занятия, многие с жарким желанием сделать добро, принести пользу, и начинают уже мало-помалу понимать, что счастье не в том, чтоб иметь социальную возможность сидеть сложа руки и разве для разнообразия побогатырствовать, коль выпадает случай, а в вечной неутомимой деятельности и в развитии на практике всех наших наклонностей и способностей. А много ли, например, у нас занятых делом, как говорится con amore, с охотою?» — задает Достоевский вопрос.

Он решительно отвергает распространенное обвинение русских в лени как «в незавидном национальном свойстве нашем». Резко вызывающе он отвечает обвинителям, и за этим вызовом ясно ощущается, что о подлинной причине бездеятельности он сказать не может, но ее знают те, кто обвиняет русское общество в «лени»:

«Но попробуйте сами ступить первый шаг, господа, на *лучшую и полезную деятельность* и представьте ее нам хоть в какой-нибудь форме, покажите нам дело, а главное, *заинтересуйте* нас к этому делу, дайте нам сделать его самим и пустите в ход наше собственное индивидуальное творчество. Способны ли вы сделать это или нет, господа-понукатели? Нет, так и обвинять нечего, только напрасно слово терять!».

Достоевский видит другие причины бездействия. Он признает «самой естественною необходимостью человеческой сознать, осуществить и обусловить свое *Я* в действительной жизни», но «не имея средств высказаться и проявить то, что получше в нем», гибнет от неудовлетворенности, от «амбиции», нежелания пользоваться малым, предпочитая ему полное отсутствие действия. Он доходит до заключения «почти несправедливого, даже обидного, но очень *кажущегося вероятным*, что в нас мало сознания собственного достоинства, что в нас мало необходимого эгоизма и что мы, наконец, не привыкли делать доброе дело без всякой награды». Но эти причины только «кажутся» вероятными. Поиски психологического объяснения бездействия русского человека при свойственной ему «жажде действия» вновь приводят Достоевского к той причине, о которой открыто сказать в фельетоне он не мог, но которая ясно слышится за следующими вопросами, с которыми он вновь обращается к «господам понукателям», прежде чем сделать свой глубоко пессимистический вывод:

«А много ли нас, русских, имеют средства делать свое дело с любовью, как следует: потому что всякое дело требует охоты, требует любви в деятеле, требует всего человека. Многие ли, наконец, нашли свою деятельность? А иная деятельность еще тре-

бует предварительных средств обеспеченья, а к иному делу человек и не склонен, — махнул рукой, и, смотришь, дело повалилось из рук».

Причина бездействия русских не в личных их качествах, а в тех общественных условиях, в которые они поставлены, от которых зависят. И именно они вызывают ту реакцию у определенной категории неудавшихся деятелей, которая оборачивается трагедией:

«Тогда в характерах, жадных деятельности, жадных непосредственной жизни, жадных действительности, но слабых, женственных, нежных, мало-помалу зарождается то, что называют мечтательностью, и человек делается, наконец, не человеком, а каким-то странным существом среднего рода — *мечтателем*. А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками, — и мы говорим это вовсе не в шутку».

Беспощадно рисуя далее внешний вид, образ жизни, поведение мечтателя, характер его фантазий, их источник, развитие и полный уход от действительной жизни, от общественных интересов, от деятельности, Достоевский, негодуя, обличает уродство такого существования и восклицает: «И не трагедия такая жизнь! Не грех и не ужас! Не карикатура! И не все мы более или менее мечтатели! ..».

Последнее восклицание знаменательно: оно не только говорит об автобиографическом признании, но и подтверждает признание общей причиной явления те общественные условия, в которые были поставлены современники Достоевского. Мечтательство — результат строя, который сковывает рвущегося и способного к деятельности члена русского общества.

Мечтатель стал центральным персонажем художественных произведений, законченных Достоевским после работы в газете («Хозяйка», «Белые ночи», «Неточка Незванова»). Он стал центральным персонажем, меняясь в соответствии с исторической эпохой, и в его романах 60—70-х годов.

В «Петербургской летописи», изображая население столицы, Достоевский дал характеристику светской публики, объединяя в ней титулованную и придворную знать, крупнопоместное дворянство, военную и бюрократическую верхушку. Обрисовал он столичные «кружки», состоявшие, как можно предполагать, из служащей интеллигенции, чиновников и офицеров, лиц, связанных с научной и педагогической деятельностью, литературой и журналами: из этой категории выходили изображенные им «мечтатели».

Но он не остановил внимания ни на мещанской массе города, занятой ремеслами и мелкой торговлей, ни на крепостной и некрепостной рабочей нищете, которая также стягивалась сюда, ни

на том слое, который именно в эти годы рос, креп, готовясь к предстоящему господству, — деловой промышленно-капиталистической буржуазии. Вернее, он лишь попутно, одним-двумя штрихами отметил специфику ее существования. В первом фельетоне он поместил мимоходом такую картину:

«Замечали ли вы, господа, как веселится простой народ наш на своих праздниках? Положим, дело в Летнем саду. Сплошная огромная толпа движется чинно и мерно; все в новых платьях. Изредка жены лавочников и девушки позволят себе пощелкать орешков. В стороне гремит уединенная музыка, и главный характер всего: все чего-то ждут, у всех на лице весьма наивный вопрос; что же далее? Только? Разве разгуляется где-нибудь пьяный сапожник-немец; но и то ненадолго. И как будто досадно этой толпе на новые нравы, на столичные забавы свои. Ей мерещится трепак, балалайка; нараспашку сибирка; вино через край и не в меру; одним словом все, в чем бы можно было развернуться, распоясаться по-родному, по-своему. Но мешает приличие, несвоевременность, и толпа чинно расходится по домам; не без того разумеется, чтобы не завернуть в „заведение"...».

Смысл этой картинки — показать, как фальшь, искусственность светского Петербурга воздействует на оторванную от массы частицу русского народа, заражая ее своим требованием «чинности», приличия, вытравляя присущую ей естественность, непосредственность, что сам автор и подтверждает в следующих далее словах: «Мне кажется, есть что-то похожее тут на нас, господа, мы, конечно, не выкажем наивно нашего удивления, мы не спросим: только-то? Мы же научились ничему не удивляться».

Если петербургское мещанство все же получило здесь какую-то очень проникновенную, хотя и беглую характеристику, то наличие низшего, а может быть, нищего рабочего человека в столице Достоевский лишь отметил двумя тяжелыми словами и, конечно, не случайно тотчас же противопоставил ему преуспевающего дельца-капиталиста. Заканчивая фельетон 11 мая картиной холодного ненастного Петербурга, который составлял такой контраст с «народным русским праздником семиком», когда «народ встречает весну и по всей безбрежной русской земле завивают венки», Достоевский писал:

«Кажется мне, что прохожим на улице не до праздников и общественных интересов, что там мокнет лишь одна костяная забота, да бородатый мужик, которому, кажется, лучше под дождем, чем под солнцем, да господин с бобром, вышедший в такое мокрое и студеное время разве только для того, чтобы поместить капитал... Одним словом, нехорошо, господа!..».

Тип «господина с бобром» намечен более отчетливо в лице Юлиана Мастаковича в фельетоне 27 апреля, но о нем будем говорить в следующей главе.

В своей книге «Личность Достоевского» Б. И. Бурсов написал: «В литературе о Достоевском, как я думаю, не оценен по

достоинству его цикл „Петербургская летопись"». Как же оценил его Б. И. Бурсов в своем труде? Согласно с темой, внимание автора было поглощено психологией фельетониста, которая очень остро, хотя и бегло охарактеризована им. Он прекрасно сказал об основной специфике этих фельетонов: «На все, что только видит фельетонист, он смотрит не столько внешним, сколько, так сказать, внутренним взглядом. Иначе сказать, на первый план выдвигается не происходящее, а собственная реакция на все, что происходит. Всюду видится он сам. На нем все наше внимание. За всеми деталями его довольно невеселого рассказа мы чувствуем, как в болях корчится удивительно чуткая на всякую несправедливость душа...». И еще: «Видя разные Петербурги в одном и том же Петербурге, мы нисколько не теряем из поля зрения единого Петербурга. Потому что нас интересует не только город сам по себе, — еще с большей жадностью следим мы за подвижностью мысли того лица, которое рассказывает нам об этом городе...».

Но мы никак не можем согласиться с характеристикой Б. И. Бурсовым автора фельетонов и с его противопоставлением Толстому в их отношении к зарисованным персонажам. Б. И. Бурсов пишет: «Видимо, единственная в своем роде особенность Достоевского — быть ровным в отношении ко всем изображаемым лицам, в каждом человеке видеть человека. У него нет неприязни и к самым неприятным лицам, не идет он и на то, чтобы обнаружить свое сочувствие особенно приятным лицам. Он, как бог, со всеми одинаков. Я бы даже сказал, что он не делит изображаемых лиц на приятных и неприятных ему. Толстой без этого никак не может обойтись, потому мерит человека целями, к которым тот стремится...».

В фельетонах Достоевского невозможно не увидеть «неприязнь» к светской черни, к «светской бедности», грязными брызгами кареты пачкающей идущего труженика-пешехода, не заметить презрения к болтунам из «кружков», сменивших «дело» на карты и сплетни, не понять, что трагедия мечтателя — результат строя, который не позволяет ему отдаться любимому делу. Наконец, в книге Б. И. Бурсова нет ни слова о мажорном фельетоне 1 июня — о строящемся Петербурге, в котором Достоевский видит его иное, светлое будущее. Ноты осуждения, протеста, признаки надежды — вся эта реакция по поводу наблюдаемого не позволяет говорить о том, что «в „Петербургской летописи" преобладает психологическое освещение темы, а в статьях „Времени" и „Эпохи" психологизм более наполняется исторической проблематикой» (Б. Бурсов). Сквозь «психологизм» «Петербургской летописи» отчетливо просвечивают конкретные социально-исторические проблемы, занимавшие автора и его отношение к ним.

Трудно принять также утверждение Б. И. Бурсова, что Достоевский в фельетонах представлялся публике в качестве фла-

нера, что ему «в сущности нравится роль гаера и забавника», что эта маска устраивала его». Мы не видим этой «маски»: сквозь обычный скептический тон с редкими интонациями лирической меланхолии у Достоевского прорывались жестокая ирония и сарказм, свидетельствовавшие о глубоком осуждении окружавшей автора петербургской действительности [13].

3. Литература в фельетонах и связь их с творческой работой автора

Естественно ожидать, что литература займет значительное место в фельетонах Достоевского. Действительно, он заговорил о ней в первом столбце первого фельетона. Но его фельетоны не превратились, как было не раз у Плещеева, в объединение коротких рецензий на вновь вышедшие книги. У Достоевского это общие, иногда иронические замечания о современной литературной жизни. Мимоходом брошенные намеки на ее повседневные явления, намеки, особенно ясные для тех, кто сам, как автор фельетонов, жил интересами литературных направлений, журнальной полемики и деятельности критиков. Он начал «весенний» фельетон прощанием с «книжным сезоном», ознаменовавшимся расцветом «натуральной школы»:

«Прощайте, стихи, прощай, проза, прощайте, толстые журналы, с направлением и без направления, прощайте, газеты, *взгляды, нечто,* прощай и прости нас, литература! Прости нас, в чем мы пред тобой согрешили, как мы прощаем твои согрешения! Но каким образом заговорили мы о литературе прежде другого чего? Я не отвечаю вам, господа. Тяжелое прежде всего, самое тяжелое с плеч. Кое-как дотащили книжный сезон — и правы! Хотя говорят, что это очень натуральная ноша» [14].

В «мажорном» фельетоне от 1 июня Достоевский, подводя итоги закончившегося сезона, дал общую характеристику особенно близких ему явлений в литературной жизни. Здесь отклики не только на жанр анализирующих «физиологий», психологических «исповедей», но и на те нападки, которые вызывала новая литература в читающей публике, у журнальных критиков. Последние «ударили тревогу, поднялись, затрубили, засуетились, закричали и, наконец, до того дошли, что самим совестно стало своего же крика». Вот как Достоевский ощущал и изображал отражение аналитической мысли и психологизма в современной литературе:

«Современная мысль не мчится вдаль без оглядки; да она еще и побаивается слишком быстрого ходу. Напротив, она как будто приостановилась в известной средине, дошла до возможного своего рубежа и осматривается, роется кругом себя, сама осязает себя... Иные думали, что нападки идут от людей безнравственных, беспокойных, даже негодяев, вследствие какой-то затаенной

злости и ненависти. Думали, что нападения преследуют только известные классы общества, клеветали, обвиняли, наушничали публике, но теперь рухнуло и это заблуждение; обижаются реже, поняли и взяли в толк, что анализ не щадит и самих анализирующих и что лучше, наконец, знать самих себя, чем сердиться на господ сочинителей, которые всё народ самый смирный и обижать никого не желают» [15].

Достоевский обрисовал далее разные типы «рассерженных» современной литературой и даже считал «чрезвычайно интересным составить физиологию господ обижающихся». Но в заключение он все же констатировал, что «теперь это случается реже».

В том же фельетоне 1 июня Достоевский отметил успехи науки и литературы в истекшем сезоне, которые выразились в выходе ряда новых книг, журналов, статей и брошюр; похвалил издание русских классиков Смирдиным, издание иллюстраций к «Мертвым душам» Агина и Бернардского. Но только на одном издании он несколько задержался и связал его с вышеизложенным мнением о современной анализирующей литературе. Это «Ералаш» Неваховича. О нем писали все фельетонисты, и сам Достоевский в первом же фельетоне одобрил изображенного в нем филантропа, процитировав «Современную песню» Дениса Давыдова и предложив карикатуристу анекдот, который мог бы послужить темою для сатирического рисунка. Фельетон 1 июня он закончил рассуждением о современном моменте, способствующем сатирическому воплощению идей, «выработанных и прожитых обществом». Он как бы защищал направление своих сатирически заостренных фельетонов в следующем высказывании о привлекшем всеобщее внимание альманахе Неваховича:

«Трудно себе представить более удобное время, как теперь, для появления карикатуриста-*художника*. Идей много, и выработанных и прожитых обществом; ломать головы над сюжетом нечего, хотя мы часто слышали: да об чем бы, кажется, говорить и писать? Но чем более таланта в художнике, тем богаче он средствами провести свою мысль в обществе. Для него не существует ни преград, ни обыкновенных затруднений, для него сюжетов тьма, всегда и везде, и в этом же веке художник может найти себе пищу, где ни пожелает и говорить обо всем. К тому же у всех потребность как-нибудь высказаться, у всех потребность подхватить и принять к сведению высказанное... Мы подробно поговорим в другой раз о карикатурах г-на Неваховича... Предмет важнее, чем кажется с первого взгляда».

Лишь о трех литературных произведениях, занимавших внимание русского читателя в начале 1847 г., Достоевский конкретно говорил в фельетонах. Это была книга Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями», роман Гончарова «Обыкновенная история» и повесть А. Кудрявцева (Нестроева) «Сбоев». Заканчивая фельетон 27 апреля, Достоевский доброжелательно отозвался об

«истекшем литературном сезоне» и увидел успех в литературной жизни: «Мы слышали, что многие очень довольны зимним литературным сезоном. Крику не было, особенной бойкости и споров зуб за зуб тоже; хотя явилось несколько новых газет и журналов. Все как-то делается серьезнее и строже; во всем более стройности, зрелости, обдуманности и согласия. Правда, книга Гоголя наделала много шуму в начале зимы. Особенно замечателен единодушный отзыв о ней почти всех газет и журналов, постоянно противоречащих друг другу в своем направлении.»

Достоевский имел в виду осуждение книги Гоголя, которое она встретила в статье Белинского в №.2 «Современника», в язвительном письме Н. Ф. Павлова в «Московских ведомостях» (март—апрель 1847 г.), у Плещеева в «Русском инвалиде» и в других изданиях. Но осуждение не было единодушно. Булгарин в январских номерах «Северной пчелы» расхвалил книгу, обвиняя друзей и поклонников Гоголя. В газете, в которой писал Достоевский, тоже не было «единодушия». За два дня до его фельетона появилась в «Санкт-Петербургских ведомостях» статья Вяземского «Языков — Гоголь»: автор приветствовал книгу Гоголя, в которой Гоголь отрекался от толкований его творчества многочисленными поклонниками и осудил их. Вяземский обвинял подражателей Гоголя, не понявших, по его мнению, мрачной скорби, которая пронизывает его произведения.

После этой статьи Достоевский мог ограничиться только указанием на массовое осуждение книги, говоря о преобладающем «единодушии оценки», не высказывая лично своего отношения к ней.

Но в своих фельетонах он неоднократно обращался к творчеству Гоголя, «Мертвым душам», драматическим наброскам, цитатами из них подкрепляя свое сатирическое изображение петербургской жизни.

О романе Гончарова Достоевский высказался в первом фельетоне (13 апреля), т. е. тотчас после появления романа в «Современнике» (№ 3 и 4, 1847 г.). Очень вероятно, что он, если не читал, то слышал о нем ранее, так как Гончаров первоначально дал роман в сборник, подготовлявшийся Белинским в 1846 г., куда Достоевский готовил свои «Сбритые бакенбарды».

Достоевский писал брату 1 апреля 1846 г.: «Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров. 1-й печатался, второй начинающий и не печатался нигде. Их ужасно хвалят».

Белинский 17 марта, когда вышла из печати лишь первая часть романа, но зная весь текст, писал Боткину: «Повесть Гончарова произвела в Питере фурор — успех неслыханный! Все мнения слились в ее пользу... Действительно, роман замечательный. У Гончарова нет и признаков труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный рассказ. А какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный

удар романтизму, мечтательности, сентиментализму, провинциализму!»[16].

Возможно, зная эту оценку Белинским «Обыкновенной истории» (в печати Белинский о ней еще не говорил), Достоевский писал 13 апреля о романе Гончарова свое несколько иное мнение. Рекомендуя читателям взять с собой, уезжая на лето, два тома «Современника», где помещен роман Гончарова, он так характеризовал его: «Роман хорош. В молодом авторе есть наблюдательность, много ума; идея кажется нам немного запоздалою, книжною, но проведена ловко. Впрочем, особенное желание автора сохранить свою идею и растолковать ее как можно подробнее придало роману какой-то особенный догматизм и сухость, даже растянуло его. Этого недостатка не выкупает и легкий, почти летучий слог г-на Гончарова. Автор верит действительности, изображает людей, как они есть. Петербургские женщины вышли очень удачны».

Достоевский признает достоинства легкости слога Гончарова, идея же романа, которую ценил Белинский, — «удар по романтизму...» — ему кажется запоздалой, чрезмерно растолкованной.

Но главное возражение его ощущается в словах о том, что «Гончаров верит действительности, изображает людей, как они есть». Лишь много позднее, в 1869 г. в письме к Страхову, он резко противопоставил свое понимание реализма взгляду Гончарова, хотя, несомненно, и в 1847 г. он остро почувствовал это различие, но еще не мог объяснить его. Страхову же он писал об отличии своего понимания действительности: то, что для других «фантастическое и исключительное», для него *факты*. «Обыденность явлений и казенный взгляд на них, по-моему, не есть еще реализм, а даже напротив...» «Ну что же это будет, если глубина идеи наших художников не пересилит в изображениях их глубину идеи, например, Райского (Гончарова)? ...И какая мелочь и низменность воззрения и проникновения в действительность. И все одно, да одно. Мы всю действительность пропустим этак мимо носу. Кто же будет отмечать факты и углубляться в них?»[17]

Повесть Кудрявцева «Сбоев» была напечатана в «Отечественных записках» в 1847 г., № 3, за подписью А. Нестроев. Белинский высоко ценил более ранние повести своего московского друга и в том же марте 1847 г. поместил в «Современнике» высокую оценку его предшествующей повести «Без рассвета». Но прочтя «Сбоева» он дал отрицательный отзыв в письме к Боткину 4 марта 1847 г., восклицая: «Что за узкое созерцание, что за бедные интересы, что за ребяческие идеалы, что за исключительность типов и характеров». В печати Белинский высказался о «Сбоеве» лишь в 1848 г.

Достоевский же писал о ней 27 апреля 1847 г., проявив к ней не столько художественно-критический интерес, сколько автобиографический[18].

Описав ненастное «северное» утро на улицах Петербурга, Достоевский перешел к изложению своих впечатлений от только что прочитанной повести Кудрявцева.

Если об автобиографическом значении этого обращения к «Сбоеву» мы говорили в начале книги, то здесь интересно привести заключительные строки Достоевского о повести: «В Петербурге тоже очень много таких семейств. Я лично знал одного Ивана Кирилловича. Да и везде их довольно. Я к тому заговорил, господа, об этой повести, что сам намерен был вам рассказать одну повесть... Но до другого разу». Не отозвалось ли здесь воспоминание Достоевского о его текущей работе над «Неточкой Незвановой», где судьба Александры Михайловны и характер ее мужа до какой-то степени близки персонажам повести Кудрявцева?[19]

Отметим, что когда Белинский в начале 1848 г. писал в «Современнике» о «Сбоеве», то он, как и Достоевский, особое внимание оказал тому же эпизоду в повести, который, в сущности, далеко не является центральным.

В. А. Комарович вторую часть своей статьи «Петербургские фельетоны Достоевского» посвятил сопоставлению фельетонов 1847 г. с художественным творчеством Достоевского следующих лет, указывая, что фельетоны предвосхищают «Хозяйку», «Слабое сердце» и другие произведения — «...словом все (за исключением „Неточки Незвановой"), что было напечатано со II половины 1847 г. до самого ареста 1849 г.» В. А. Комарович на с. 106—124 высказывает интересные наблюдения и сопоставления фельетонов и рассказов Достоевского и делает общий вывод о важности для исследователя изучения ранних фельетонов: «Сделанные сближения не только убеждают окончательно в литературном значении созданного Достоевским фельетона, но и прямо ставят вопрос о его месте и функциях вообще в творчестве Достоевского». По мнению Комаровича, Достоевский, не желая повторяться и следовать за «натуральной школой», искал после Прохарчина и Голядкина новых форм, «где бы могла найти себе место подлинная исповедь и где по крайней мере сюжет и приемы стиля не противоречили бы личным признаниям. Новая форма сказа была теперь его очередной литературной задачей».

Принимая эти соображения В. Л. Комаровича, не повторяя его наблюдений, но продолжая его изучение фельетонов параллельно с позднейшим художественным творчеством Достоевского, мы хотим обратить внимание не столько на формальные, сколько на социально-психологические поиски Достоевского.

Работа Достоевского над фельетонами не могла не быть связана с одновременными замыслами и выполнением художественных произведений. Когда в апреле 1847 г. он взялся за труд фельетониста, у него была начата «Хозяйка», задумана «Неточка Незванова». Связанные с ними размышления могли влиять на тематику фельетонов, так же как фельетонные наблюдения и те-

матика способствовать зарождению новых художественных созданий. Рассмотрим эту двойную связь фельетонов, подтверждением которой может служить приведенное выше признание Достоевского: о «Сбоеве» он заговорил в фельетоне потому, что «сам намерен был рассказать одну повесть».

Достоевский писал «Хозяйку» с центральным героем «мечтателем», образ, характер и поведение которого он довольно близко запечатлел в фельетоне 15 июня. Но содержание «мечтаний» и отношение автора к «мечтателю» в фельетоне и повести были различны. Изображая в Ордынове якобы «ненасытимую» страсть к науке, автор, в сущности, по его же словам, воплощал «первый восторг, первый жар, первую горячку художника», ощутившего «еще темный образ идеи» и искавшего для нее новую «просветленную» форму, т. е. писал о себе, сперва о первых творческих поисках, а в конце о сомнениях в своих силах, о крушении разработанных планов. В «мечтателе» фельетона отсутствует движущее творческое начало, он любит «все ленивое, легкое или возбуждающее ощущение», его мечты в погоне за «наслаждением», и, хотя автор сурово осуждает его за оторванность от действительной жизни, его драма иная, чем драма Ордынова, в которой мы видим автобиографические признания Достоевского.

Характерной чертой повести «Хозяйка» стало то, что Белинский называл «лаком русской народности», ему автор единственный раз дал место в своем творчестве. Задачей его было не изображение «простого народа», а воплощение русской национальной стихии в образе Катерины, околдованной мрачным наследием старины в лице Мурина. Катерина — не крестьянка, не купеческая дочка, так же как Мурин — не купец-самодур, они — образы из русской сказки и песни.

В одной детали повести Достоевский подчеркнул свое намерение воплотить в Мурине и Катерине русскую стихию, противопоставив им другую пару — немца Шписа с дочерью Тинхен. В первый вечер поисков квартиры Ордынов увидел в церкви Катерину и Мурина и сопровождал их до дома, на другой же день «почти насильно стараясь думать о насущных заботах своих, отправился в сторону, противоположную вчерашнему своему путешествию, наконец, он отыскал себе квартиру где-то в светелке у бедного немца, по прозвищу Шпис, жившего с дочерью Тинхен. Шпис, получив задаток, тотчас снял ярлык, прибитый на воротах и приглашавший наемщиков, похвалил Ордынова за любовь к наукам и обещал сам усердно позаняться с ним. Ордынов сказал, что переедет к вечеру. Оттуда он пошел было домой, но раздумал и поворотил в другую сторону». Он повторил вчерашний путь в церковь, последовал вновь за русской парой, почти насильно вселился к ним, где пережил и радостную, и грозную духовную катастрофу.

Заканчивая повесть, Достоевский вновь как бы противопоставляет две пары. Мурин решительно отказался от вознаграж-

дения за квартиру и стол и проводил уезжавшего жильца с богатым подарком от Катерины. Шпис «самодовольно» встретил Ордынова, показав, что «только что хотел идти к воротам и снова налепить ярлычок, затем что сегодня аккуратно в копейку вышел задаток его, высчитывая из него каждый день найма. Причем старик не преминул дальновидно похвалить немецкую аккуратность и честность».

Жизнь Ордынова потекла «однообразно, покойно». «Немец был без особого норова: хорошенькая Тинхен, не трогая нравственности, была всем чем угодно».

Противопоставление двух «хозяйских» пар в повести сделано почти мимоходом, но оно осмысленно использовано автором как штрих для обрисовки русского характера. И именно это противопоставление наций нашло обильное отражение в фельетонах. В фельетоне 15 июня, почти целиком посвященном анализу национальных особенностей русского человека, Достоевский все время противопоставляет им характерные особенности немца, его стремление к «системе», отсутствие системы у нас, замененной «жаждой непосредственной естественной жизни».

Высмеивая немца, который «заметил в дорожной книжке своей: „В проезд через город Нюренберг не забыть жениться“», Достоевский писал: «У немца, конечно, прежде всего была в голове какая-нибудь система, и он не почувствовал безобразия факта из благодарности к ней; но действительно нельзя не сознаться, что и системы-то в наших поступках иногда никакой не бывает, а так как-то делается, точно по какому-то предопределению восточному...».

В том же фельетоне Достоевский писал: «Дайте, например, какое-нибудь дело аккуратному систематическому немцу, дело, противное всем его стремлениям и наклонностям, и растолкуйте только ему, что эта деятельность выведет его на дорогу, прокормит, например, и его и семейство его, выведет в люди, доведет до желаемой цели и т. д., и немец тотчас примется за дело, даже беспрекословно окончит его, даже введет какую-нибудь особенную новую систему в свое занятие. Но хорошо ли это? Отчасти и нет; потому что в этом случае человек доходит до другой, ужасающей крайности, до флегматической неподвижности, иногда совершенно исключающей человека и включающей на место его систему, обязанность, формулу и безусловное поклонение дедовскому обычаю, хотя бы дедовский обычай был и не в мерку настоящему веку». Приводя далее сведения о немце, до пятидесяти лет сколачивающего копейку для женитьбы на своей «геройски верной Минхен», Достоевский замечает: «Русский не выдержит, уже скорее разлюбит или *опустится,* или сделает что-нибудь другое — здесь можно довольно верно сказать наоборот известной пословице — что немцу здорово, то русскому смерть».

Так мимоходом брошенное в «Хозяйке» противопоставление русской и немецкой пары в фельетоне перерастает в принци-

циальное противопоставление двух наций, сопровождаемое яркими образными иллюстрациями.

Песенно-сказочная стихия, которой окружена в «Хозяйке» русская пара, дважды прорвалась в фельетонах сквозь петербургские туманы и столичную суету. 13 апреля, рассказывая о толпе «простого народа», чинно гуляющей в Летнем саду, Достоевский отметил, как мы говорили выше, ее досаду: «Ей мерещится трепак, балалайка; нараспашку сибирка; вино через край и не в меру; одним словом, все, в чем бы можно было развернуться, распоясаться по-родному, по-своему». В этих кратких строках видится что-то от Мурина в его «кафтане на меху, надетом нараспашку», с его требованием вина чару за чарой, «чтобы резала головушку буйную с плеч, чтоб вся душа от нее замертвела». В фельетоне 11 мая звучат как бы напевные речи Катерины, в авторском признании слышатся переживания Ордынова: «Тоска и сомнение грызут и надрывают сердце, как та тоска, которая лежит в безбрежном долгом напеве русской унылой песни и звучит родным призывающим звуком:

Прислушайтесь... звучат иные звуки...
Унынье и отчаянный разгул...
Разбойник ли там песню затянул,
Иль дева плачет в грустный час разлуки?
Нет, то идут с работы косари...
Кто ж песнь сложил им? как кто? посмотри
Кругом: леса, саратовские степи..[20]

На днях был семик. Это народный русский праздник. Им народ встречает весну, и по всей безбрежной русской земле завивают венки».

«Хозяйка» была закончена в июле-августе 1847 г., а в сентябре-октябре напечатана в №№ 9, 10 «Отечественных записок».

Нашла ли отражение в творчестве молодого Достоевского та тема, которая занимает видное место в фельетонах, — сатирическое изображение «светского» столичного общества, т. е. верхушка поместного, бюрократического и военного строя николаевской России? Еще до фельетонной деятельности им был написан «Роман в девяти письмах», высмеивающий околосветскую публику, двух шулеров и ловкого донжуана из богатой поместной среды. После окончания работы фельетониста Достоевским были написаны рассказ «Чужая жена», напечатанный в № 1 «Отечественных записок» 1848 г., и «Ревнивый муж» в № 11, в том же журнале, в том же году. Для издания в 1860 г. оба рассказа автором были соединены в одно произведение «Чужая жена и муж под кроватью».

Центральный персонаж обоих рассказов, Иван Андреевич, соблюдающий инкогнито, несомненно крупный чиновник, возможно генерал. Он преисполнен амбиции, которая прорывается и

выдает его, когда грубые реплики собеседника уязвляют его привычный к лести и восхвалениям слух.

Вероятно, по цензурным соображениям автор не мог в печати открыто назвать высокий чин Ивана Андреевича, попадающего в глупейшее и унижающее его положение. Но уже в самом начале первого рассказа автор дал ясно понять читателям, с кем они будут иметь дело в лице «господина в енотах»:

«Его сморщенное лицо было довольно бледненько, голос его дрожал, мысли, очевидно, сбивались, слова не лезли с языка, и видно было, что ему ужасного труда стоило согласить покорнейшую просьбу, может быть, к своему низшему в отношении степени или сословия лицу, с нуждою непременно обратиться к комунибудь с просьбой. Да и, наконец, просьба эта во всяком случае была неприличная, несолидная, странная со стороны человека, имевшего такую солидную шубу, такой почтенный, превосходного темно-зеленого цвета фрак и такие многознаменательные украшения, упещрявшие этот фрак».

Иван Андреевич мог только намекать на свое звание, приглашал взглянуть, очевидно, на свои ордена: «...посмотрите, вы увидите по некоторым знакам и признакам, что я не могу быть вором...»; «Если б вы только знали, с кем вы говорите...» и др.

Разоблачение всего ничтожества, трусости, умственного и вообще человеческого убожества этого высокого чиновника Достоевский поручает его молодому собеседнику, который грубыми откровенными репликами заставляет Ивана Андреевича то вдаваться в амбицию, то унижаться до пресмыкательства, и в быстрых диалогах двух рассказов обнаруживается полное отсутствие человеческого достоинства и крайняя глупость основного героя. Но, не ограничиваясь выражением в диалогах психологического ничтожества этого персонажа, автор вскрывает однажды его служебную деятельность и дает ей оценку. Собеседник, любовник его жены, догадываясь, с кем он имеет дело, называет его фамилию: «— Шабрина знаете? — быстро сказал молодой человек. — Шабрина!!! — Да, Шабрин! а!!!... Поняли дело?.. Нет-с, какой же Шабрин! — отвечал оторопевшей господин в енотах, — совсем не Шабрин; он почтенный человек!.. — Мошенник он, продажная душа, взяточник, плут, казну обворовал! Его скоро под суд отдадут! — Извините, — говорил господин в енотах, бледнея, — вы его не знаете совершенно, как я вижу, он вам неизвестен. — Да, в лицо-то не знаю, а из других очень близких ему источников знаю. — Милостивый государь, из каких источников... — Дурак! ревнивец! за женой не усмотрит! Вот он какой, коль приятно вам знать! — Извините, вы в ожесточенном заблуждении, молодой человек...».

Так же разбросанными штрихами рисует Достоевский в обоих рассказах супругу Ивана Андреевича, модную светскую даму Глафиру Петровну, то в Итальянской опере на фоне блестящей

публики в ложе бенуар, то ловко маневрирующей лживыми репликами, оказавшись перед мужем с двумя любовниками, то в качестве капризной балованной супруги, распекающей старого мужа. Водевильные по содержанию, насыщенные каламбурным остроумием рассказы от начала до конца полны злого сарказма, который сближает их с установками фельетона в изображении «светского, благовоспитанного» общества [21].

Но не этот отходящий в прошлое общественный слой привлекает пристальное внимание писателя. Как психолога его занимает не Иван Андреевич, этот «господин в енотах», задобривающий «его превосходительство», величая его «сиятельством», и все его окружение — изолгавшиеся или изжившие себя «светские» люди. Его внимание уже в фельетонах обращено на того «господина с бобром», который в непогоду вышел для того, чтобы поместить свой капитал и который нашел образное воплощение в лице Юлиана Мастаковича. В фельетоне 27 апреля, где впервые упоминается этот персонаж, перед его появлением имеется знаменательное введение. Достоевский подходит к изображению своего будущего героя как бы его противопоставлением отошедшей литературной традиции, но вместе с тем и давая определенное направление вниманию читателя:

«Господи, боже мой! Куда это девались старинные злодеи старинных мелодрам и романов, господа?». В них злодей так и рождался злодеем, олицетворением злодейства: «И уж по одной фамилии вы слышали, что̀ этот человек ходит с ножом и режет людей так себе, ни за копейку режет... Как будто бы он был машиной, чтоб резать и жечь». А рядом с ним в этих романах и мелодрамах был «самый добродетельный человек, который, наконец, защищал невинность и наказывал зло».

Этим ушедшим в прошлое литературным персонажам на смену пришли новые создания сочинителей, которые трудно понять: «Теперь, вдруг, как-то так выходит, что самый добродетельный человек, да еще какой, самый неспособный к злодейству, вдруг выходит совершенным злодеем, да еще сам не замечая того». Никто ему об этом не скажет, и он живет в почестях и восхвалениях. И как пример такого персонажа появляется в фельетоне фигура Юлиана Мастаковича, «с слоенной улыбочкой на сахарных устах».

Как объяснить странное имя, данное ему автором? Как будто исследователи не ставили этого вопроса. Не очень обычно в русском быту имя Юлиана, но все же возможно, хотя и напоминает о католическом западе, а может быть, об исторических и романтических традициях. Но отчество? Святого Мастака, конечно, нет в святцах, а в словаре Даля — мастак: «мастер, дока, искусник, смышленный ремесленник или дошлый делец». Последнее определение, конечно, соответствует образу Юлиана Мастаковича, но Достоевский не мог же сочинить ему отчество, производное от его характерной житейской особенности. По нашему мнению, объяс-

нение надо искать в том введении, о котором мы писали выше, где есть такая фраза о злодее:

«Он был еще злодеем в чреве матери; мало того: предки его, вероятно, предчувствуя его появление в мир, с намерением избрали *фамилию*, совершенно соответственную социальному положению будущего их потомка».

Новый герой Достоевского был сыном Мастака, а широкому кругу русских читателей 40-х годов это имя много говорило. В 1844 г. вышел перевод романа Е. Сю «Парижские тайны», в котором страшный злодей, бежавший с каторги, носил кличку «Le maître d'école», которую переводчик Строев перевел словом Мастак. С Мастаком ассоциировались у русского читателя самые гнусные преступления, это изверг, которому недоступны человеческие чувства. В апрельском номере «Отечественных записок» 1844 г. Белинский поместил большую статью о переводе Строевым романа Сю, и в фельетоне Достоевского мы как бы слышим отголоски рассуждений Белинского о специфике мелодраматических романов с их добродетельным героем и целой шайкой злодеев, предателей и убийц. Главой их был Мастак, но был там и Резака, о котором, конечно, вспоминал Достоевский, когда писал: «И уж по одной фамилии вы слышали, что этот человек ходит с ножом и режет людей так себе, ни за копейку режет» [22].

Белинский высмеивал добродетельного героя, принца Родольфа, который защищает слабых и невинных, наказывая порок и награждая добродетель. Суд над Мастаком возмущал бы душу, «если бы не был смешною мелодрамою, пошлым театральным эффектом...

Что ни черта — то мелодраматический фарс. Монолог Родольфа к Мастаку — пародия на любой монолог Шиллерова Карла Моора». Белинский подчеркивал, что Сю не постарался никак объяснить появление и обилие действующих в его романах злодеев: «Мастак, Сычиха, Полидори, Сесили — лица неестественные и невыдержанные». Называя все мелодраматические лица романа «сшитыми на живую нитку», Белинский выделяет Феррана: «Лучше всех этих извергов очерчен Жак Ферран. Самая мысль — изобразить гнусного злодея, пользующегося в обществе репутацией нравственного человека, достойна внимания...». Этого же «нравственного человека» Белинский очертил в самом начале статьи, связывая роман Сю с эпохой Луи Филиппа, эпохой торжества общества, «обоготворившего золотого тельца» и осудившего народ «на невежество и нищету... на порок и преступления! В наше время слова «нравственность» и «безнравственность» сделались очень гибкими, и их теперь легко прилагать по произволу к чему вам угодно. Посмотрите, например, на этого господина, который с таким достоинством носит свое толстое чрево, поглотившее в себя столько слез и крови беззащитной невинности, — этого господина, на лице которого выражается такое довольство самим собою, что вы не можете не убедиться с первого взгляда в полноте его глубо-

ких сундуков, схоронивших в себе и безвозмездный труд бедняка и законное наследство сироты».

Этот гневный портрет буржуа, как и его воплощение в романе Сю в мелодраматических извергах Ферране и Мастаке, Достоевский помнил, создавая своего нового героя, давая ему имя Юлиана Мастаковича и делая его таким образом сыном и наследником злодейств своего отца[23].

В фельетоне отдельными штрихами прекрасно дается внешний официальный образ Юлиана Мастаковича с его «париком, белым жилетом и регалиями», человека, «в цвете преклонных лет», т. е. «под пятьдесят», которого характеризуют «оседлость, приличие, округленность физическая и нравственная». Как акт «благоразумия» трактуется предстоящее «злодейство» — женитьба на семнадцатилетней девушке, «только месяц вышедшей из пансиона», «полной невинности совершенного неведения зла». Он ездит «нравиться» своей невесте с цветами и конфетами, с улыбкой предвкушая удовольствия, ждущие его в союзе с «невинностью», и только озабочен сохранением связи с молодой вдовой, которой «вид очень приятен».

Лишь через год в рассказе «Елка и свадьба» Достоевский расскажет читателям, как было задумано «злодейство» и как оно совершилось. Он отбросит наигранный одобрительный тон, в котором ведется повествование в фельетоне, и с ядовитым сарказмом обрисует внешний и внутренний облик Юлиана Мастаковича, крупного чиновника-генерала и не менее крупного дельца, поставив его в унизительное положение комического «злодея», преследователя жалкого мальчика, нечаянно помешавшего его планам: «Юлиан Мастакович, весь покраснев от досады и злости, пугал рыжего мальчика, который, уходя от него все дальше и дальше, не знал — куда забежать от страха... Наконец, он почти остервенился, так велико было в нем чувство негодования и, может быть, (кто знает) ревности. Я захохотал во все горло. Юлиан Мастакович оборотился и, несмотря на все значение свое, сконфузился в прах».

Но этой водевильной сцене предшествовал показ, как зарождалось подлинное злодейство, как окруженный всеобщим почтением Юлиан Мастакович, услышал о сотнях тысяч, предназначенных в приданое одиннадцатилетней дочери откупщика, обрек ее себе в жертву и повел свою отвратительную игру с ребенком и любезно-деловые разговоры с ее родителями. «Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица», — пишет автор, ощутив веяние надвигающейся трагедии. Трагическая развязка коротко дана в заключительном эпизоде—свадьбе, где вульгарному облику жениха Юлиана Мастаковича противопоставлен глубоко волнующий образ его жертвы, которой «едва минуло шестнадцать лет». «Античная строгость каждой черты лица ее придавала какую-то важность и торжественность ее красоте. Но сквозь эту строгость и важность, сквозь эту грусть просвечивал еще первый детский,

невинный облик, сказывалось что-то донельзя наивное, неустановившееся, юное и, казалось, без просьб само за себя молившее о пощаде».

«Боже мой!» — вырвалось у автора, поспешившего покинуть церковь. И в этом восклицании беспощадный суд Достоевского над злодеем и убийцей, сыном Мастака, порожденным новой эпохой.

Интересно, что в фельетоне, где говорилось о предстоящей женитьбе Юлиана Мастаковича на семнадцатилетней девушке, невеста названа Глафирой Петровной. Исследователи указывают, что это же имя Достоевский дал молодой жене Ивана Андреевича в рассказе «Ревнивый муж». Ситуация этой пары (большая разница в возрасте, год как поженились) могла у читателя связаться не только с фельетоном, но и с рассказом «Елка и свадьба». Однако, думаем, что здесь общность имен не позволяет предполагать общности персонажей. Приведенный выше, глубоко трагический облик юной невесты Достоевский не мог снизить в следующем рассказе до уровня пошлой светской дамы, ловко обманывающей мужа. Да и образ Ивана Андреевича, как мы указывали выше, принадлежит иной и социальной, и психологической категории, чем Юлиан Мастакович.

Между фельетоном и «Елкой и свадьбой» Достоевский написал «Слабое сердце», где Юлиан Мастакович выступает в роли «его превосходительства» в своем департаменте. В фельетоне автор отрекомендовал его как «своего хорошего знакомого, бывшего доброжелателя и даже немножко покровителя». Указал он между прочим и на сидевшего в углу кабинета Юлиана Мастаковича чиновника, «пристроенного к стопудовому спешному делу». Это мимоходом брошенное замечание развито в «Слабом сердце», где Юлиан Мастакович выступает как «покровитель» несчастного Васи, гибнущего из-за «стопудового спешного дела» (буквальное повторение), порученного ему начальством.

О Юлиане Мастаковиче как начальстве мы составляем себе представление по разбросанным репликам его подчиненных, положительно его характеризующих, но из которых ясно вырисовывается облик эксплуататора, жесткого и беспощадного. Чиновники «с умилением» говорили о привязанности к Васе его превосходительства: «Некоторые пустились объяснять, почему именно пришло в голову Васе и он на том помешался, что его отдадут в солдаты за то, что не кончил работы. Говорили, что бедняк недавно из податного звания и только по ходатайству Юлиана Мастаковича, умевшего отличить в нем талант, послушание и редкую кротость, получил первый чин» [24].

Талант Васи — «во всем Петербурге не найдешь такого почерка, как твой почерк», — говорил ему его товарищ — был важен Юлиану Мастаковичу, так же как его «послушание и редкая кротость». Работал он не по департаментским, а по каким-то другим делам генерала. Когда Нефедевич «выведывал о деле», порученном Васе, «никто не знал ничего. Знали только, что

Юлиан Мастакович изволил занимать его особыми поручениями, — какими, не знал никто». Ценил Юлиан Мастакович не только талант, но «послушание и редкую кротость», с которой Вася выполнял эту неслужебную работу, очевидно, вечерами и ночами, получая время от времени денежные подачки: «Ведь я все исполняю рачительно; ведь он такой добрый, ведь он мне, Аркаша, ведь он мне сегодня дал пятьдесят рублей серебром! — Неужели, Вася? так тебе награждение? — Какое награждение! Из своего кармана. Говорит: уж ты, брат, пятый месяц денег не получал; хочешь, возьми; спасибо говорит, тебе, спасибо, доволен... ей-богу! Не даром же ты мне, говорит, работаешь, — право! так и сказал».

Но, конечно, кроткий и чувствительный Вася всегда находился под гнетом тех соображений и сомнений, которые со всей откровенностью высказал ему Нефедевич: «Юлиан Мастакович! да ведь это дело, братец, неверное; это не то, что триста рублей верного жалованья, где всякий рубль, как друг неизменный. Юлиан Мастакович, конечно, ну даже великий он человек, я его уважаю, понимаю его, даром что он так высоко стоит, и, ей-богу, люблю его, потому что он тебя любит и тебе за работу дарит, тогда как мог бы не платить, а командировать себе прямо чиновника... но вдруг, боже сохрани! ты не понравишься, вдруг ты не угодишь ему, вдруг у него дела прекратятся, вдруг он другого возьмет — ну да, наконец, мало ли что может случиться! Ведь Юлиан-то Мастакович был да сплыл, Вася...».

Если Прохарчин погибал от своей неуверенности в прочности канцелярии, дающей ему средства к существованию, то насколько сомнительнее был доход, зависивший от благополучия и благоволения частного лица. А оно, это лицо, было требовательно и сурово: «Юлиан Мастакович только и говорит, и требует: четко, четко и четко!.. И ведь сам ты знаешь, он строгий, суровый такой, даже ты несколько раз на замечанье к нему попадал...», — говорит Вася другу.

По рассказу «Елка и свадьба» мы представляем себе, ка́к мог быть разгневан Юлиан Мастакович и преследовать даже несчастного мальчишку, случайно помешавшего ему. Робкого Васю возможность такой перспективы за невыполненную работу сводит с ума. И тем отвратительнее та маска благодетеля, которую надевал Юлиан Мастакович в обращении с покорным ему подчиненным, так как именно она заставляла еще более страдать чувствительного Васю:

«Сегодня Юлиан Мастакович был такой нежный, такой внимательный, такой вежливый; он со мной редко говорит; подошел: „Ну что, Вася (ей-богу, так-таки Васей и назвал), кутить пойдешь на праздниках, а? (Сам смеется.)“ — „Так и так, говорю, ваше превосходительство, дело есть, — да тут же ободрился и говорю: — и повеселюсь, может быть, ваше превосходительство“, — ей-богу, сказал. Он мне тут денег дал, потом еще сказал мне два слова. Я, брат, заплакал, ей-богу, слезы прошибли, а он тоже,

кажется, тронут был, потрепал меня по плечу да говорит: „Чувствуй, Вася, чувствуй всегда так, как теперь это чувствуешь..."».

И хотя маска «сильного огорчения» и даже слеза, выкатившаяся из глаз Юлиана Мастаковича в последней сцене должны были сохранить ему глубокое уважение подчиненных, тем более что он отрекся от утверждений в спешности и важности порученного им Васе дела. Вася принял свой приговор именно от него, ответив на его распоряжение увести его: «— Лоб! — сказал Вася вполголоса, повернулся налево кругом и вышел из комнаты».

Мы не знаем, не сыграла ли роль цензура в изображении драмы Васи (как это было с «Прохарчиным»), не принужден ли был Достоевский облагородить образ Юлиана Мастаковича в «Слабом сердце» по сравнению с фельетоном и «Елкой и свадьбой». Но даже имеющиеся в повести разбросанные отдельные замечания говорят о том, что и здесь перед нами новая вариация злодеяния под маской гуманности и благоразумия, в духе времени, когда, по словам Белинского, «слова „нравственность" и „безнравственность" сделались очень гибкими, и их теперь легко прилагать по произволу, к чему вам угодно».

Исследователи видят в Юлиане Мастаковиче развитие образа, намеченного в Быкове в «Бедных людях». Но эти образы объединяет лишь роль «отрицательных персонажей», из-за которых страдают «персонажи положительные». Их социальные корни, их психика глубоко различны. Быков — это тот «господин, имеющий доброе сердце», которого Достоевский изобразил в фельетоне, это — «*образец нашего сырого материала*, как говорят американцы, на который не пошло ни капли искусства, в котором все натурально, все чистый самородок, без узды и без удержу». Сломав жизнь Вареньке, он пришел к ней «с громким смехом», назвал себя подлецом, впрочем оговорившись, «что это дело житейское», и сделал ей предложение, чтобы насолить наследнику — племяннику и завести своих детей. Он степной помещик, богат, предпочитает травить зайцев, чем жить в Петербурге, а жена его нарядами и образованием должна «утереть нос всем помещицам». Его «натуральная» грубость сказывается и в его откровенном признании, что прежде чем прийти с предложением он «разузнал со всею подробностию о теперешнем поведении» Вареньки и роли Макара Девушкина. Но вместе с тем он откровенно осудил Анну Федоровну, назвав ее «преподлой женщиной» и еще одним «неприличным словом», сказав Вареньке: «Совратила она и двоюродную вашу сестрицу с пути, и вас погубила». По дневнику Вареньки мы знаем о его заботах о студенте Покровском, очевидно его сыне. «Он ни в чем не знает ни узды, ни удержу. У него все нараспашку, все откровенно», — писал Достоевский о «господине с добрым сердцем».

Быков — результат векового феодально-крепостнического строя, Юлиан Мастакович — нового, нарождающегося буржуазного, ка-

питалистического. Он еще крепко связан с бюрократической николаевской машиной, но его основные интересы — это накопление, рост денег, это добывание их через эксплуатацию, через ловкие махинации и маскировку, вплоть до преступления. Зная по биографии Достоевского его резко отрицательное отношение к опекуну, мужу его сестры Вареньки, П. А. Карепину, что отразилось и в письмах Достоевского к нему и в переписке с братом, исследователи неоднократно указывали на П. А. Карепина как на прототип отрицательных персонажей в его ранних повестях, губящих его более слабых героев. Видели, например, возможность сближать его с Быковым из «Бедных людей», для чего нет никаких оснований [25].

О Петре Андреевиче Карепине очень ценные сведения оставил А. М. Достоевский, и если эти сведения не позволяют видеть в Карепине прототип Быкова, то в них много данных для сближения с образом Юлиана Мастаковича. Ничего «помещичьего» в Карепине не было, так как, по словам мемуариста, «он вышел из народа, достигнул всего своим умом и своею деятельностью». Его брат был частным приставом в Москве, а в Петербурге он имел влиятельного родственника по первой жене генерал-лейтенанта Кривопишина и сам выслужил звание дворянина. К моменту сватовства к Вареньке Достоевской Карепину было 44 года, он был вдовец и имел маленькую дочь. В своей исключительно обильной деятельности он соединял службу важного правительственного чиновника с обширной выгодной частной деятельностью и, кроме того, исполнял ряд обязанностей в благотворительных обществах, которые открывали ему двери в высшие светские круги. Вот как перечисляет служебные обязанности Карепина А. М. Достоевский: «Служил Петр Андреевич во многих местах и везде получал солидное содержание... Во-первых, он служил правителем канцелярии московского военного генерал-губернатора, во-вторых, аудитором при каком-то военном учреждении...

В-третьих, он был секретарем в дамском комитете, то есть при дамском попечительном о тюрьмах комитете, где между тогдашними патронессами города играл видную роль, прельщая всех своим чисто парижским французским языком; в-четвертых, он был секретарем в попечительном комитете о просящих милостыню. И, в-пятых, главнейшая и самая доходнейшая его служба была частная, а именно, он был главноуправляющим над всеми имениями, кажется, князей Голицыных, и одна канцелярия его, как главноуправляющего, помещалась в его квартире, занимая несколько комнат».

Так как Куманины, выдавая сестер Достоевских замуж, давали за каждою 25 000 руб. приданого и, конечно, все другое, что полагалось в богатом купеческом быту, то женитьба этого вдовца «в цвете преклонных лет своих» на восемнадцатилетней, вышедшей из пансиона Вареньке очень напоминает Юлиана Мастаковича в фельетоне и «Елке и свадьбе». Самое эффектное появле-

ние Карепина в доме Куманиных для сватовства девушки, ярко описанное А. М. Достоевским, возможно, также было описано им брату Федору в 1840 г., когда он приехал из Москвы в Петербург. Оно очень напоминает рассказ Достоевского в фельетоне о визите Юлиана Мастаковича, когда он, надев «свой белый жилет, парик, регалии, покупает букет и конфеты и ездит нравиться» своей семнадцатилетней невесте. А. М. Достоевский описал, как жених «произвел на всех самое выгодное о себе впечатление, или лучше сказать обворожил всех». «В комнату вошел мужчина лет сорока или с лишечком, видный, выше среднего роста, стройный, очень красивый и развязный. Видно было, что ему не впервые входить в большой и богатый дом и что он постоянный и желанный гость как богатых, так и знатных многочисленных своих знакомых... он ловко раскланивался со всеми», «подошел к ручке хозяйки, конечно проиграл обоим своим партнерам» за карточным столом и расплатился новенькими ассигнациями из туго набитого бумажника. Все эти детали сливаются с образом Юлиана Мастаковича, как сливается с ним стиль одного дошедшего до нас письма Карепина к Ф. М. Достоевскому. Это письмо было написано по всем правилам канцелярской витиеватой грамоты, полно официальной самоуверенности, пренебрежения и к дерзостям и к жалобам юношеского отчаяния и высокомерных наставлений ему.

Высмеянные Ф. М. Достоевским в письме к брату Михаилу упоминания Карепина о Шекспире обнаруживают претензии Карепина на какое-то осуждение своего корреспондента за его «мечтательность» и преданность литературе и свидетельствуют о грубости и невежестве этого преуспевающего дельца[26].

Еще в 1922 г., перепечатывая забытые фельетоны Достоевского, в вводной статье я отметила среди «значительных совпадений и прообразов» в фельетонах и позднейшем творчестве Достоевского связь характеристики «угодливой, но не теряющей своего достоинства души...» с личностью Ползункова в рассказе того же названия. Этот рассказ был написан Достоевским по заказу Некрасова для предполагавшегося «Иллюстрированного альманаха», который редакция хотела дать в приложении к 10-му и 11-му номерам «Современника» за 1847 г.[27] Писался рассказ в последние месяцы 1847 г., т. е. после фельетонов, где 11 мая был изображен «столичный человечек» с новостями. Что соединяет этот первый набросок типа с его художественной разработкой в рассказе и что нового внес автор в облик героя, которому предстояло в зрелом творчестве Достоевского неоднократное воплощение и усложнение?

В фельетоне «столичный человечек» отнесен к категории «наших доморощенных занимателей, прихлебателей и забавников» и дается его изображение с точки зрения той толпы, которую он забавляет. Описывается его внешность и поведение, сходное с «моськой, ожидающей подачки», указывается на впечатление,

которое производит его превращение в мопку, — человечек делает это не из подлости, не теряет достоинства, «сохраняет его свято и неприкосновенно, даже в вашем собственном убеждении, и все это происходит натуральнейшим образом». Дальше объясняется причина такого впечатления: «Дело в том, что он хвалит вас, господа. Оно, конечно, нехорошо, что вас хвалит в глаза, это досадно, это гадко; но, наконец, вы замечаете, что человек умно хвалит, именно указывает на то, что вам самим очень нравится в вашей особе...». Слушателя покоряет ловкая лесть человечка, который этим путем добивается не только своей цели, но и самой благоприятной оценки своей особы: «И опять-таки вовсе не из подлости действует столичный наш человечек. Зачем громкие слова! Вовсе не низкая душа — душа умная, душа милая, душа общества, душа, желающая получить, ищущая душа, светская душа, правда немного вперед забегающая, но все-таки душа, — не скажу, как у всех, как у многих».

Так передает Достоевский впечатление тех, кого развлекает человечек и кто, очевидно, податлив на этакую забаву и лесть, но заключает оценку он от себя таким суровым приговором: «Двуличие, изнанка, маска — скверное дело, согласен, но если б в настоящий момент все бы явились как они есть, налицо, то ей-богу было бы хуже».

Рассказ Достоевский озаглавил фамилией действующего лица, которая сперва была «Плисмыльков», потом «Ползунков», т. е. производилась от поведения персонажа, его «пресмыкательства» или «ползанья» в угоду публике. Но основная задача рассказа не в демонстрации этого свойства, а в стремлении вскрыть сложную психологию «смешного человечка». Ползунков унаследовал от фельетонного персонажа роль шута «и с покорностью подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом», «с удовольствием позволял засмеяться над собой во все горло и неприличнейшим образом, в глаза...», «вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погримасничав и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал, что имеет некоторым образом право занять...». Но за этими унизительными свойствами Ползункова Достоевский видел и тотчас раскрывал читателю ту душевную драму, которую переживал его жалкий герой. «В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его... его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно жестокосерды, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностью, над всею его плотью и кровью». В нем зарождался временами протест против своих мучителей: «Чудак был самолюбив и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не щадя себя, следовательно с риском, почти с геройством кого-нибудь из своих *покро-*

вителей, уже донельзя его разбесившего. Но это было минутами...».

Этих свойств не было у «человечка» из фельетона, и заключение Достоевского о его маске и двуличии никак не подходит к Ползункову. История с Федосеем Николаевичем подтверждает характеристику Ползункова, данную Достоевским в начале рассказа: «Само собою разумеется, что очерстветь и заподличаться вконец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо! Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек на свете, но с маленькою слабостию: сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется, человек-тряпка вполне». Эта характеристика подтверждается судьбой Ползункова, когда он попадает в руки подлинного завзятого мошенника, Федосея Николаевича[28].

Последний фельетон Достоевского, 15 июня, в своей заключительной части посвящен образу «мечтателя», теме чрезвычайно популярной в 1830—1840 гг., имеющей однако много различных вариаций. В фельетоне Достоевский как бы поставил себе задачей дать «физиологию» петербургского мечтателя, охарактеризовав сперва его внешний вид, особенности его поведения, его жилище. Он рассказывает об источниках, которые будят его фантазию, рождают мечты, описывает мечтателя в период его экстаза и отрезвления, причем «физиология» играет в описании значительную роль, а содержание мечтаний намечено бегло и односторонне. Выше мы говорили, что такой мечтатель, как Ордынов в «Хозяйке», не соответствует описанию фельетона, в котором мечтатели «очень любят все ленивое, легкое, созерцательное, все действующее нежно на чувства или возбуждающее ощущения». Мечтатель в фельетоне — это массовый мечтатель, каким были называющие себя мечтателями Варенька Доброселова, Неточка Незванова и каким создал Достоевский рассказчика «Белых ночей», следуя в его изображении шаг за шагом вслед за своей «физиологией» в фельетоне. Но создатель этого анализа мечтательства в то же время был автором мажорного фельетона от I июня, видевшим будущий Петербург. Он не мог не осудить беспощадно мечтателя, бегущего от действительной жизни, а осуждая, не показать причины «мечтательства». В этом жестоком приговоре, приведенном выше (с. 217—218), приговоре современной русской действительности, и связанном с влиянием идей утопического социализма, Достоевский обнаружил свою близость с Плещеевым, которому посвятил «Белые ночи».

Плещеев в фельетоне 11 декабря 1846 г. («Русский инвалид», с. 1101) так изобразил идейного мечтателя, в котором можно видеть членов кружка Петрашевского, Дурова: «У меня есть один добрый приятель, ужасный утопист, или как называют его знакомые — мечтатель. Каждая неудача, каждая вещь, которою он недоволен, заставляя его доискиваться до первоначальных причин,

ее породивших, заставляя желать лучшего положения, приводит его в то же время к построению разных теорий. Он очень добр, *излиятелен* (если можно так передать слово expansif), и эти-то качества в соединении с его мечтаниями выказывают его, в глазах многих, каким-то Маниловым». Плещеев находит, что «истина всегда просвечивает в его мечтаниях, но эта истина не всем, что называется, по нутру». Не давая, подобно Достоевскому, категорических оценок и не осуждая мечтательства, Плещеев переходит к вопросам быта, к рассуждениям мечтателя о существующем обычае разносить свои визитные карточки в день Нового года, юмористически обыгрывая его.

Образ мечтателя-утописта, ищущего причины отрицательных явлений и экспансивно излагающего свои соображения, характерный для фельетона Плещеева, оказался близок творчеству Достоевского этого времени. В феврале 1848 г. Достоевский напечатал «Слабое сердце», написанное, очевидно, вскоре после фельетонной работы. Мы говорили выше об этом рассказе в связи с характеристикой Юлиана Мастаковича, здесь же изложим свои соображения в связи с темой «мечтательства».

Казалось бы, что Вася Шумков, подобно Макару Девушкину, «собственными силами» вышедший из «низшего сословия» и учившийся «даже не на медные деньги», совсем не сходен с мечтателем из фельетона и «Белых ночей», чья фантазия питается чтением литературных и исторических сочинений, чьи мечты, как и Ордынова, связаны с высоким интеллектуальным развитием. Хотя, по словам сослуживцев, Шумков «старался учиться, был любознателен, стремился образовать себя», но не в книгах он находил материал и идеи своих мечтаний. Он черпал их из наблюдений над окружающим миром, из своего жизненного опыта, который сделал для него страдание, несчастие более естественными, чем благополучие, любовь, дружбу. Его тонкая психическая организация не могла примириться с глубокой несправедливостью распределения счастья между людьми. «Торжественно» поверяет он другу о переживаемом им конфликте, готовящем его катастрофу: «Мое сердце так полно, так полно, Аркаша! Я не достоин счастья! я слышу, я чувствую это, за что мне... что я сделал такое, скажи мне! Посмотри, сколько людей, сколько слез, сколько горя, сколько будничной жизни без праздника! А я!..». Шумков открыл здесь источник своих переживаний, а его друг, Нефедевич, назвав его «мечтателем», как бы объясняет ему и читателям, в чем его страдание:

«Видишь, я понимаю тебя: я знаю, что́ в тебе происходит. Ведь уж мы пять лет вместе живем, слава богу. Ты добрый, нежный такой, но слабый, непростительно слабый... Ты, кроме того, и мечтатель, а ведь это тоже нехорошо: свихнуться, брат, можно! Послушай, ведь я знаю, чего тебе хочется! Тебе хочется, например, чтоб Юлиан Мастакович был вне себя и еще, пожалуй, задал бы бал, от радости, что ты женишься. Ну, постой, постой! Ты

морщишься. Но уж ты меня не оспоришь и не откажешь мне думать, что ты бы желал, чтоб не было даже и несчастия на земле, когда ты женишься... Да, брат, ты уж согласись, что тебе бы хотелось, чтобы у меня, например, твоего лучшего друга, стало вдруг тысяч сто капитала; чтоб все враги, какие ни есть на свете, вдруг бы ни с того ни с сего помирились, чтоб все они обнялись среди улицы от радости и потом сюда к тебе на квартиру, пожалуй, в гости пришли. Друг мой! Милый мой! Я не смеюсь, это так: ты уж давно все почти такое же в разных видах представлял. Потому что ты счастлив, ты хочешь, чтобы все решительно сделались разом счастливыми».

«Маниловские» мечты Васи о всеобщем счастье контрастируют, но и тесно связаны с иными мечтами его друга Нефедевича, которые устремлены на разгадку того, «отчего сошел с ума его бедный Вася». Они также обнаруживают — в его «видении» на Неве исчезающего старого Петербурга и «нового города, складывающегося в воздухе» — «мечтателя-утописта», о чем мы писали выше в «Петербурге Достоевского». Наконец, силуэт еще одного возможного мечтателя-утописта Достоевский набросал мимоходом, рисуя волнение среди сослуживцев Васи при известии о его «сумасшествии».

«В особенности, из потрясенных, заметен был один, очень маленький ростом сослуживец Васи Шумкова. И не то чтобы таки был совсем молодой человек, а примерно лет уже тридцати. Он был бледен как полотно, дрожал всем телом и как-то странно улыбался — может быть, потому, что всякое скандалезное дельце или ужасная сцена пугает и вместе с тем как-то несколько радует постороннего зрителя». Он обегал весь кружок «и все говорил, что он знает, отчего это все, что это не то, чтобы простое, а довольно важное дело, что так оставить нельзя... В своем кружке он слыл за отчаянного вольнодумца».

Последняя фраза, бывшая в тексте «Отечественных записок», была снята (автором?) при перепечатке «Слабого сердца» в издании 1863 г., и далее текст печатается без нее. Между тем она проливает свет на поведение этого чиновника. Фраза позволяет предполагать, что волнение чиновника, его понимание Васиного сумасшествия, которое он, очевидно, пытался разъяснить сослуживцам, как-то связано с его «вольнодумством», т. е. с его отношением к окружающей действительности и критике ее. Он близок был к истинной разгадке гибели Васи и менее всего был «посторонним зрителем скандалезного дельца». Без этой фразы эпизод получает жанрово-комический оттенок, который, конечно, не имел в виду автор, изображая «бледного как полотно», «дрожавшего всем телом» свидетеля несчастья.

Цитированный фельетон Плещеева о мечтателе, который В. Комарович не упоминал и, вероятно, даже не знал о нем, подтверждает и укрепляет вывод, сделанный Комаровичем из последнего фельетона Достоевского, посвященного проблеме «мечтательства»,

У Плещеева мечтатель не только ищет причин, которые препятствуют осуществлению его «маниловских» мечтаний, он «излиятелен», т. е. стремится экспансивно делиться своими переживаниями и объяснениями с другими. «Так за литературной формой газетного фельетона, в виде ее исторической перспективы развертывается идеология социальных утопий, русское «мечтательство» 40-х годов, и таким образом посвящение Плещееву „Белых ночей“, этого завершения ранних фельетонов и фельетонных повестей Достоевского, приобретает новую выразительность. Это прямое свидетельство самого Достоевского о причастности его друга не только „мечтательству“ героя „Белых ночей“, но и тем литературным исканиям, которые от фельетона привели Достоевского к роману-исповеди».

Первым романом-исповедью должна была быть «Неточка Незванова» — «История одной женщины», — как это неоконченное произведение называлось в журнальной публикации. В осуществленной части замысла целая галерея мечтателей — Ефимов и мать Неточки, Александра Михайловна и автор письма к ней, найденного Неточкой, и, конечно, сама Неточка, которую обстановка и окружение ее с детства как бы готовят к жизни в мечтах, к отрешению от действительности. Ее рассказ о вступлении на этот путь — дальнейшая разработка темы фельетона и признание мечтателя из «Белых ночей». Свое проникновение в библиотеку, начало жадного тайного чтения и «мечтательства» Неточка описала так: «И вот в это время судьба внезапно и неожиданно повернула мою жизнь чрезвычайно странным образом. Мое внимание, мои чувства, сердце, голова — все разом, с напряженною силою, доходившею даже до энтузиазма, обратились вдруг к другой, совсем неожиданной деятельности, и я сама, не заметив того, вся перенеслась в новый мир; мне некогда было обернуться, осмотреться, одуматься; я могла погибнуть, даже чувствовала это; но соблазн был сильнее страха, и я пошла наудачу, закрывши глаза. И надолго отвлеклась я от той действительности, которая так начинала тяготить меня и в которой я так жадно и бесполезно искала выхода...».

«Я начала читать с жадностью, и скоро чтение увлекло меня совершенно. Все новые потребности мои, все недавние стремления, все еще неясные порывы моего отроческого возраста, так беспокойно и мятежно восставшие было в душе моей, нетерпеливо вызванные моим слишком ранним развитием,— все это вдруг уклонилось в другой, неожиданно представший исход надолго, как будто удовлетворившись новою пищею, как будто найдя себе правильный путь. Скоро сердце и голова моя были так очарованы, скоро фантазия моя развилась так широко, что я как будто забыла весь мир, который доселе окружал меня. Казалось, сама судьба остановила меня на пороге в новую жизнь, в которую я так порывалась, о которой гадала день и ночь, и, прежде чем пустить меня в неведомый путь, взвела меня на высоту, показав

мне будущее в волшебной панораме, в заманчивой перспективе. Мне суждено было пережить всю эту будущность, вычитав ее сначала из книг, пережить в мечтах, в надеждах, в страстных порывах, в сладостном волнении юного духа...»

Неточка дает далее интимный, углубленный анализ переживаний мечтателя в его поисках «какого-то главного закона жизни человеческой, который был условием спасения, охранения и счастия», его отрешенности от действительности и погруженности в мир поэзии и искусства. Заключает она этот анализ восклицанием: «И такая жизнь, жизнь фантазии, жизнь резкого отчуждения от всего меня окружавшего, могла продолжаться целые три года!».

Мечтатели, созданные Достоевским до Неточки Незвановой, не могли бы хронологически определить срок своего увлечения мечтами: оно поглощало их полностью и вело или к гибели через полный разрыв с действительностью, или к гибели без борьбы — от столкновения с ней. Гибель ждала Вареньку в замужестве за Быковым, Васю Шумкова, верившего в «благодетеля» Юлиана Мастаковича, к гибели скатывался Ордынов, мечтатель «Белых ночей», мечтатели, окружавшие Неточку. И в «физиологическом» очерке о мечтателе, в фельетоне 1847 г., Достоевский так определил судьбу мечтателя: «А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми неистовыми ужасами, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками...». Заканчивая его изображение, Достоевский вновь говорил: «И не трагедия такая жизнь! Не грех и не ужас! Не карикатура! И не все ли мы более или менее мечтатели...».

Но иначе должно было закончиться мечтательство Неточки, поскольку мы можем судить по написанной части романа. Она сама фиксирует время и состояние, вызвавшее новый поворот в ее душевной жизни: «Теперь я расскажу одно странное приключение, имевшее на меня слишком сильное влияние и резким переломом начавшее во мне новый возраст. Мне минуло тогда шестнадцать лет, и вместе с тем в душе моей вдруг настала какая-то непонятная апатия; какое-то нестерпимое, тоскливое затишье, непонятное мне самой, посетило меня. Все мои грезы, все мои порывы вдруг умолкли, даже самая мечтательность исчезла как бы от бессилия. Холодное равнодушие заменило место прежнего неопытного душевного жара... В эту странную минуту странный случай потряс до основания всю мою душу и обратил это затишье в настоящую бурю. Сердце мое было уязвлено...».

Рассказывая далее о найденном письме и приведя его текст, Неточка пишет, что «с этой минуты как будто переломилась» ее жизнь, она была «потрясена и испугана» и сама так определила причину пережитого кризиса: «Действительность поразила меня врасплох, среди легкой жизни мечтаний, в которых я провела уж три года!».

На смену поры мечтаний, жизни в грезах приходит острое восприятие действительности, понимание в ней того, что ранее было недоступно, «от неопытности, от непривычки принимать внешние впечатления». Если «в мире фантазии» «самое несчастье, если и было допускаемо, то играло роль пассивную, роль переходную, роль необходимую для сладких контрастов и для внезапного поворота судьбы к счастливой развязке... головных восторженных романов», то действительность поставила Неточку лицом к лицу с подлинной трагедией, которая развертывалась рядом с нею, среди близких ей людей. Она ощутила ненависть к тому, в ком увидела тирана больной беззащитной женщины, и смело вступила в борьбу с ним, не жалея себя. Ее обличающие речи, обращенные к Петру Александровичу, обвинения в «тиранстве, бесстыдстве, низости», фарисейском притворстве и страстная защита от «несправедливости приговора людского» «разбитого сердца» делают из недавней мечтательницы подлинного борца за правду и счастье людей.

Так в первом романе-исповеди Достоевским был намечен выход из страшного тупика, в котором, как он показал в фельетоне 15 июня 1847 г., страдали и гибли мечтатели его ранних повестей.

X

М. М. Достоевский — беллетрист конца 1840-х годов

В жизни Ф. М. Достоевского не было более длительной и крепкой дружеской связи, чем та, которая соединяла его со старшим братом Михаилом. Еще в 1849 г. на вопрос следственной комиссии по делу Петрашевского, «с кем он имел близкое и короткое знакомство и частые сношения», Достоевский ответил, подчеркнув первые слова: «*Совершенно откровенных* сношений не имел ни с кем, кроме как с братом моим, отставным инженер-подпоручиком Михайлой Достоевским». В день чтения приговора на Семеновском плацу, возвращенный в Петропавловскую крепость, Федор Михайлович написал одно из самых своих поразительных писем по глубокой вере в великое счастье жизни, по осознанию своего «сердца, плоти и крови», которые дадут ему возможность далее жить, «любить и страдать, и жалеть и помнить», и по неиссякаемой надежде на возможность будущего творчества. Это письмо не только обращено к Михаилу Михайловичу, но все пронизано мыслями о нем, о их общем прошлом, страстной надеждой на встречу в будущем:

«Береги себя, доживи, ради бога, до свидания со мной. Авось, когда-нибудь обнимем друг друга и вспомним наше молодое, наше прежнее золотое время, нашу молодость и надежды наши, которые я в это мгновение вырываю из сердца своего с кровью и хороню их».

Самым решительным свидетельством того, как велико значение брата для этого первого периода жизни Ф. М. Достоевского, остается его «предсмертное» признание, запечатлевшееся в этом письме: «...жить мне оставалось не более минуты. Я вспомнил тебя, брат, всех твоих; в последнюю минуту ты, только один ты, был в уме моем, я тут только узнал, как люблю тебя, брат мой милый!».

Несколько лет спустя после смерти М. М. Достоевского, благодаря А. Н. Майкова за дружескую помощь, вспоминая брата, Ф. М. Достоевский восклицал: «А ведь вы не знаете, чем всю жизнь, с первого моего сознания, был для меня этот человек! Нет, вы этого не знаете!» [1].

Все эти признания Ф. М. Достоевского дают право исследователю его раннего творчества отнестись с особым вниманием

к личности и деятельности его старшего брата. Знать верного спутника писателя, сопровождавшего большую часть его жизни, интересно даже тогда, когда этот спутник сам по себе лицо малозначительное. Несомненная же талантливость, незаурядность натуры М. М. Достоевского делает внимание к нему еще более законным. Между тем, кроме нескольких некрологов и небольших заметок (с рядом фактических ошибок), о нем нет никакой литературы.

Если публикация связанных с М. М. Достоевским материалов по делу петрашевцев проливает свет на этот эпизод его биографии, книги о журналах «Время» и «Эпоха» освещают его деятельность как журналиста 60-х годов и защищают его от некоторых возводимых на него недоказанных обвинений, снижающих его моральный облик[2], то его жизнь и журнальная работа конца 40-х годов, протекавшая в постоянном общении с Ф. М. Достоевским, не была предметом специального изучения. Мною предполагалось на основе ряда архивных материалов, частично не опубликованных, а также сведений, сообщенных мне его дочерью, Екатериной Михайловной, проследить в этой книге его деятельность 1847—1850 гг. как переводчика поэзии, драматургии и философско-теоретических произведений Шиллера и Гёте, как критика и рецензента журналов «Репертуар и Пантеон» и «Отечественные записки». Несомненно, что высказанные уже в эти годы его суждения имели большое значение для направления будущих журналов «Время» и «Эпоха» и, в частности, для критических статей Ф. М. Достоевского в этих журналах. Однако объем данной книги не позволил мне поместить это исследование, и я ограничусь в ней лишь рассмотрением беллетристической деятельности М. М. Достоевского конца 40-х годов и ее несомненной связи с художественным творчеством его гениального брата.

Достаточно с внешней стороны проследить историю недолгой беллетристической деятельности М. М. Достоевского, чтобы убедиться в том, что она была случайным явлением в его жизни: всего четыре года (1848—1852) посвящает он ей и потом сознательно отказывается сам от несвойственного ему жанра. За восьмилетнюю жизнь его в Ревеле, до переезда, в конце 1847 г. в Петербург, мы не знаем ни одной попытки его художественной прозы. Сперва лирик-поэт, потом переводчик Шиллера и Гёте, он и в Петербург привез поэтическую продукцию в виде готовых переводов «Дон-Карлоса» и «Рейнеке-Лиса».

В августе 1848 г. М. М. Достоевский дебютировал в «Отечественных записках» значительной по объему повестью «Дочка», в том же журнале в октябре появилась еще более обширная повесть «Господин Светелкин», а в ноябре — небольшой рассказ «Воробей». Трудно предположить, что эти произведения были написаны еще в Ревеле. В повестях нашло отражение хорошее знание петербургского быта мелкого чиновничества, а до переезда в столицу М. М. Достоевский прожил в Петербурге всего не-

сколько месяцев в 1837—1838 гг., готовясь к поступлению в инженерные юнкеры.

В следующем, 1849 г., М. М. Достоевский напечатал одну повесть «Два старичка» («Отечественные записки», ноябрь), затеял писать большой роман и заполнил черновую тетрадь рядом набросков и планов для будущих повестей. В 1850 г. напечатал также одну только повесть «Пятьдесят лет» («Отечественные записки», август) и продолжал работу над романом, три главы которого поместил в 1852 г. в журнале «Пантеон» (март). В это же время он попробовал свои силы в области драматического творчества, написал комедию «Старшая и меньшая» («Отечественные записки», 1851, июнь), начал и бросил неоконченными две другие, которые должны были называться «Мачеха» и «Приживальщики». Не кончил он и наполовину написанный роман. Неудовлетворенный своими произведениями, он расстался с художественным творчеством и лишь после восьмилетнего перерыва, в 1860 г., выступил вновь в печати, но не как беллетрист, а как переводчик и критик.

В статье «Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском» Федор Михайлович дал следующую оценку художественным произведениям умершего брата:

«Когда-то, в молодости своей, он занимался даже художественной литературой. Он написал несколько повестей и рассказов. Их хвалили, и в них действительно были признаки таланта, особенно в одном небольшом рассказе, помещенном в «Отечественных записках» в 1848 г. Но некоторый успех, приобретенный им с первого раза, не соблазнил Михаила Михайловича. Всегда строгий и требовательный к самому себе и не признавая в себе решительного творчества, он перестал писать. Этот трезвый, даже несколько гордый взгляд на свои литературные труды весьма редко встречается в молодых, начинающих писателях; а Михаил Михайлович, по моему личному мнению, был уж слишком строг к трудам своим».

Сказав далее несколько слов о М. М. Достоевском как переводчике, Федор Михайлович заключил так: «Впрочем, брат мой никогда и ни с кем не заговаривал сам о литературных трудах своих» [3].

Если художественное творчество М. М. Достоевского не представляет значительного интереса само по себе, то для исследователей созданий его гениального брата он все же заслуживает особого внимания не только как продукт явного влияния повестей Ф. М. Достоевского, но в некоторых случаях и каких-то иных связей, ощущаемых в их созданиях.

1848 год, когда появились первые повести М. М. Достоевского, был первым годом его жизни в Петербурге совместно с братом. Ф. М. Достоевский был в это время не только одним из выдающихся молодых писателей, но и главой целого литературного кружка, особое направление которого стало отчетливо намечаться

к концу 40-х годов. Это было время торжества «натуральной школы» с ее излюбленной формой небольшой повести и наиболее распространенной темой «бедного чиновника». «Чиновник» заполнил собою литературу наперекор и враждебной и дружественной критике, указывавшей, что такое однообразие содержания безвкусно и надоело читателям. Ф. М. Достоевский внес в ее обработку, по выражению критики того времени, «сентиментально-фантастический стиль», который позднее Ап. А. Григорьев характеризовал как продукт «сентиментально-желчно-болезненных отношений к действительности» [4]. Достоевскому не замедлили подражать его поклонники, и к 1849 г. для постороннего наблюдателя стало очевидным особое направление в литературе, вдохновляемое автором «Двойника» и «Хозяйки». В «Современнике» 1849 г. по поводу произведений М. М. Достоевского и Буткова дается пространная характеристика особенностей этого направления.

«В „Отечественных записках", — пишет Анненков, — образовался круг молодых писателей, создавших уже довольно давно какой-то фантастически-сентиментальный род повествований, конечно не новый в истории словесности, но по крайней мере новый в той форме, какая теперь ему дается возобновителями его... Ф. Достоевский положил ему основание повестями „Двойник" и „Хозяйка" и, как видно, собирался дать ему важное значение, прерванное, однако ж, всеобщим неодобрением. Отсюда выходит круг писателей, преимущественно занимающийся психологической историей помешательства... Они уже любят сумасшествие не как катастрофу... но сумасшествие для сумасшествия. В прошлом году, однако, автор „Хозяйки" как будто вышел на свет после долговременной болезни. Фантастический элемент заметно ослабел в новых его произведениях, зато с вящею силою выступил другой — сентиментальность... Мы с намерением остановились так долго на последних трудах г. Достоевского, потому что они служат ключом к объяснению всего, что есть ложно — блестящего и просто ложного в произведениях его подражателей. Как почти всегда случается, легкие погрешности оригинала обратились у списчиков в крупные черты: наклонности, осужденные вкусом, чем глубже сходили вниз, тем решительнее делались постоянными законами, и, наконец, все, что г. Достоевский по инстинкту таланта еще закрывал оговоркой, выставилось у свиты его наголо. К числу подражателей г. Достоевского мы относим, во-первых, г. Буткова, а во-вторых, г. Достоевского-брата (М. М.)» [5].

Итак, по приезде в Петербург М. М. Достоевский вошел в кружок молодых беллетристов, почитателей и подражателей его брата. Исключительное богатство творческой фантазии Ф. М. Достоевского позволяло ему бросать своим подражателям многие сюжеты и темы повестей, от которых он сам почему-либо отказывался. Под его руководством эти сюжеты разрабатывали такие начинающие писатели, как Плещеев, Крешев и, конечно, более

всего М. М. Достоевский, находившийся в постоянном тесном общении с братом. Что это не праздный домысел, доказывает следующее место из «Воспоминаний» доктора Яновского, относящееся к 1847—1849 гг.:

«Я не помню ни одного из известных мне товарищей Ф. М., который не считал бы своей обязанностью прочесть ему свой литературный труд. Так поступали А. У. Порецкий, Я. П. Бутков, П. М. Цейдлер; о А. Н. Плещееве, Крешеве и о М. М. Достоевском я уже не говорю, так как последние, и в особенности А. Н. Плещеев, получали от Ф. М. темы для работ и даже целые конспекты для повестей. Если решение полученных задач оказывалось неудовлетворительным, то таковые рассказы тут же самими авторами торжественно уничтожались» [6]. Такие случаи, вспоминает Яновский, были с Плещеевым и Бутковым. Что касается М. М. Достоевского, то он, почти неразлучный с братом в это время, имел возможность советоваться с ним в более интимной обстановке, без присутствия других лиц.

Весной 1849 г. дружная жизнь братьев была нарушена арестом, потом ссылкой Ф. М. Достоевского. Распался литературный кружок его друзей и поклонников. В ближайшие же три года, постепенно ослабевая, точно иссякая, замерла и беллетристическая деятельность его брата. Самоосуждение автора, которым она закончилась, подвело под ней черту и придало ей характер какой-то неудавшейся попытки.

Если от наблюдений над внешней историей художественного творчества М. М. Достоевского перейти к анализу его произведений, то тесная внутренняя связь их с ранними повестями его брата станет несомненной. Любимые образы молодого Достоевского, может быть, задуманные им сюжеты, волновавшие его идеи отраженно угадываются в слабых созданиях его брата и придают им особый интерес.

Рецензент «Современника» отнес произведения М. М. Достоевского к «фантастико-сентиментальному» жанру, введенному автором «Двойника». Под фантастикой он подразумевал более фантастические переживания и психопатологию, чем фантастику событий. Любовь к изображению «сумасшествия для сумасшествия», по его мнению, — отличительная черта последователей Ф. М. Достоевского. Особое внимание последнего к исключительным душевным переживаниям и часто патологическим явлениям душевной жизни было уже отмечено в 40-х годах. Ту же наклонность мы видим и в повестях его брата. В них нет, конечно, ничего близкого по силе изображения ни к мучительному раздвоению Голядкина, ни к экстазным восторгам и падениям Ордынова, но тот же особый интерес к ненормальным явлениям душевной жизни проходит красной нитью через все беллетристическое наследство М. М. Достоевского.

Еще в Ревеле он задумал план драмы, герой которой после достижения всеобщей любви и благоволения сходит с ума [7]. В по-

вести «Господин Светелкин» выводится семья Уховерткиных, где из пяти человек двое оказываются душевнобольными людьми: идиотка-тетка, к подробному описанию которой автор то и дело возвращается, прерывая рассказ, и старик отец, выживший из ума от старости, с сознанием, почти не реагирующим на окружающее. В повести «Пятьдесят лет» в центре рассказа старый помещик Блеклов — дряхлая развалина, еле поддерживаемая усилиями окружающих. В неоконченном романе «Деньги» — шестидесятилетняя старуха, младенческое состояние сознания которой явилось следствием постоянной зависимости и запуганности, омрачивших рассудок. Там же выведен молодой человек, «мнительность которого граничит с сумасшествием». Мнительность, черта, так характерная и для героев Ф. М. Достоевского, доводит до болезненного состояния чиновника в рассказе «Воробей».

Несмотря на обилие приведенных примеров, все же нужно отметить, что изображение психопатологических явлений менее свойственно М. М. Достоевскому, чем описание более обычных душевных движений и повседневных событий жизни. Вообще психологическому анализу он отводит менее места, чем бытовым сценам и деталям. В этом отношении ему очень близка та армия второстепенных писателей «натуральной школы», которая в точном копировании действительности видела путь к реализму в литературе.

Влияние этих многочисленных мелких авторов на М. М. Достоевского рядом с основным влиянием брата несомненно и велико. М. М. Достоевский был хорошим знатоком современной повести: как специальный рецензент «Пантеона и Репертуара» и «Отечественных записок» он был обязан внимательно следить за всеми новинками, появлявшимися в этой области.

Как и большинство второ- и третьеразрядных повестей «натуральной школы», повести М. М. Достоевского отяжелены обилием бытовой живописи, старательным выписыванием внешних подробностей, по большей части совершенно неважных для целого. Стремясь точно воспроизвести быт, М. М. Достоевский старался снабдить разговорный язык своих героев характерными местными или сословными особенностями. В его черновой тетради сохранилась запись многих простонародных выражений под общим заглавием «Речи и обороты, подслушанные у народа». Вероятно, он предполагал их внести в будущие повести. В романе «Деньги» многочисленные диалоги действующих лиц дают богатый лексикон мещанского языка мелких столичных обывателей с его специфической смесью народных и испорченных книжных выражений.

Перегруженность повестей описательно-бытовым элементом отрицательно сказалась на их композиции. Вследствие частых отступлений по поводу внешних подробностей действие развертывается в них вяло и по большей части вполне подчиняется тому шаблону, который к этому времени прочно установился в зауряд-

ной «чиновничьей» повести. Выше цитированный критик «Современника» дает следующую характеристику этого распространенного шаблона:

«При постоянном осуществлении одних и тех же типов место свободного творчества должна была заступить, наконец, работа чисто механическая; действительно так и случилось. Мы заметили, например, что добрая часть повестей в этом духе открывается описанием найма квартиры — этого трудного условия петербургской жизни — и потом переходит к перечету жильцов, начиная с дворника [8]. Сырой дождик и мокрый снег, опись всего имущества героя и, наконец, изложение его неудач, происходящих столько же от внешних обстоятельств, сколько и от великого нравственного его ничтожества, — вот почти все пружины, которые находятся в распоряжении у писателя... С первого взгляда читатель имеет удовольствие видеть всю перспективу романа, знать, что будет говорить герой его, чем он кончит, как сложатся вокруг него происшествия. Самый талант в писателе делается ненужным. Можно сбить рассказ, как сбивается карета из готовых частей, и потом навести на составные его принадлежности лак мыслей и заметок более или менее произвольно. То ли думали замечательные люди, писавшие у нас о реализме. Нельзя не упомянуть о страсти к подробностям, на которой собственно и зиждутся все требования псевдореализма на основательность и значение. Лучшая повесть г. Достоевского „Господин Светелкин“ может служить образцом того насильственного и механического распространения сюжета, о котором было говорено».

Упрек в шаблонности беллетристических приемов М. М. Достоевского вполне им заслужен. Отсутствие оригинальности иногда замещалось психологически интересным образом героя или сложной интригой действия, но при изображении незамысловатых событий и более обыденных характеров явно выступала вся немощь дарования. У М. М. Достоевского совершенно отсутствовало то свойство, которое придавало особую эффектность повестям брата, вне зависимости от сложности фабулы или тонкости психологического анализа. Страстность, горячая заинтересованность самого автора и отсюда особая стремительность повествования, так свойственная Ф. М. Достоевскому, брату его была чужда уже в силу его более уравновешенного и спокойного темперамента. Его постоянный тон — тон постороннего юмористически настроенного наблюдателя. Он готов с одинаковым вниманием и безразличием выписать и случайные детали внешней обстановки действия и решающий поступок героя. Его повести не волнуют и не захватывают читателя, что было отмечено еще журнальными критиками того времени.

М. М. Достоевский отлично сознавал слабость своих произведений и порой готов был их уничтожить. Так, о повести «Два старичка» он писал брату в крепость 1 октября 1849 г.: «Этот месяц я писал все маленькую повесть листа в три. Надеюсь скоро кон-

чить и сбыть куда-нибудь. Выходит что-то очень нехорошо, и я с удовольствием разорвал бы ее, если б было можно...». Именно эта повесть вызвала довольно ядовитую, но не лишенную справедливых упеков рецензию Дружинина в «Современнике» [9].

Насколько в шаблонной компоновке сюжета, в однообразии и сухости изложения, в нагромождении бытовой живописи М. М. Достоевский далек от повестей своего брата, настолько в образах выводимых им героев они целиком его создание. Кажется, что действующие лица «Бедных людей», «Двойника» и «Белых ночей» так глубоко запечатлелись в его воображении, что ему оставалось лишь вновь и вновь повторять их, слегка видоизменяя, варьируя, но не отходя далеко от оригинала. Сентиментально-нежный, чудаковатый, стареющий Макар Девушкин и юная, но уже глубоко обиженная жизнью Варенька Доброселова рядом с ним — вот образцы для большинства героев повестей М. М. Достоевского. То сочувственно-трогательно, то с веселым юмором, то с холодной насмешливостью повторяет он эту пару, делая героя или нежным отцом девушки («Дочка», «Деньги»), или преданным рыцарем-защитником («Светелкин»), иногда чуть намечая его в положении безнадежно влюбленного жениха («Старшая и меньшая»), иногда удваивая его образ («Два старичка»).

Самым интересным героем М. М. Достоевского является Светелкин, как по тонкости обработки, так и по близости к повестям брата. Повесть «Господин Светелкин» вообще была признана читателями и критиками-современниками лучшей из повестей М. М. Достоевского [10]. В образе Светелкина выступает вновь так хорошо знакомый по творчеству Ф. М. Достоевского чиновник-мечтатель. Невидный на службе, одинокий, замкнутый, он живет, не замечая действительной жизни, почти не сталкиваясь с нею.

«Никто не ходил к нему, да и сам он никого не звал к себе. Одна Макарьевна, старуха лет пятидесяти... являлась к нему каждое утро и каждый вечер убирать в комнате, слать постель и чистить платье. Все остальное время оставался он один-одинешенек: то смотрел в окна и предавался мечтам своим, то шел бродить куда глаза глядят по городу или за город и также мечтал... Часто также он занимался чтением и читал стихи, баллады, поэмы, романы, ученые сочинения, что ни попадалось; всего же чаще ничего не делал, не писал и не читал, а сидел у окна или лежал на диване... Господину Светелкину стоило только о чем-нибудь хоть ненадолго задуматься, и фантазия уносила его за тридевять земель от действительности».

В молодости Светелкин пережил увлечение хорошенькой Женни, племянницей квартирной хозяйки. Оно кончилось неудачей. В сорок лет он задумал жениться на воспитаннице Уховерткиных, Наташе, и в разных осложнениях этой свадьбы проявил душевную чуткость, деликатность, готовность к самопожертвованию, которые его сближают и с преданным Макаром Девушкиным и с трогательным Васей Шумковым из «Слабого сердца».

Но по своему социальному положению и интеллектуальному развитию он выше их, а по трагическим переживаниям катастрофы, которая угрожала его любви, напоминал господина Голядкина, его скитания по улицам Петербурга, когда «холодный дождь, как сквозь сито, сеялся на мокрые, грязные тротуары и густой туман стоял над городом», а Светелкин спотыкаясь, почти бессознательно шел из улицы в улицу, смахивая слезы и стараясь собрать мысли, «обступившие его рассудок». В Светелкине показаны переживания мечтателя, столкнувшегося с подлинной действительной житейской драмой. Повесть «Господин Светелкин» сближает с «Двойником» (в журнальной редакции) краткое изложение содержания, предпосланное началу каждой главы повести.

Еще более чем тип «мечтателя» и «старого чиновника» повести М. М. Достоевского сближают с повестями брата очаровательные женские образы. Все его Лизаньки, Наташи, Наденьки — родные сестры Вареньки Доброселовой, Настеньки из «Белых ночей», Лизаньки из «Слабого сердца» и Неточки Незвановой. Все они от природы живые, непосредственные, наделенные горячим любящим сердцем, в ранней молодости уже обижены жизнью и живут с надрывом, с затаенной обидой в душе. Такова сперва бойкая и веселая, а потом холодная, насмешливая «дочка», первая любовь которой так жалко и смешно кончилась по ее признанию; такова хорошенькая живая Наденька; ее рассказ о первом романе почти буквально повторяет рассказ героини «Белых ночей» — та же скучная, зависимая жизнь, тот же герой в лице «жильца» и тот же наивный приход ночью с узелком в комнату жильца для совместного бегства.

Гордая прекрасная Наташа из «Господина Светелкина» во многом напоминает Неточку Незванову и другую Наташу из «Униженных и оскорбленных», Наташа из повести о Светелкине — «девушка без имени, бог знает какого, по всей вероятности, низкого происхождения» — была ребенком взята богатой княгиней за свое «выразительное лицо». После смерти княгини, ничего ей не оставившей, она попала в семью княжеского управителя, отличавшегося склонностью к «благодеяниям» и роли благодетеля. Из быстрого живого ребенка она превратилась во внешне холодную и покорную благодетелям воспитанницу, но в глубине души осталась натурой страстной, неудержимой в своих порывах, неспособной на сделку с совестью. Она несомненно ближе всех других женских образов к героиням Ф. М. Достоевского.

Любопытно, что М. М. Достоевский заставляет ее сделать признание, которое однажды в письме к нему сделал брат Федор, который 1 января 1840 г. ему писал: «Я изобрел для себя нового рода наслажденье — престранное — томить себя. Возьму твое письмо, перевертываю несколько минут в руках... и насмотревшись, налюбовавшись им, запечатанный конверт кладу... в карман... И таким образом жду иногда с 1/4 часа; наконец с жадностью нападаю на пакет, рву печать и пожираю твои

строки...»[11]. Наташа говорит своему жениху Светелкину: «Вы видите, я поступила с вашим подарком, как иногда поступаю с дорогими и редкими письмами: до тех пор не распечатываю, покуда уже сил не достанет от нетерпения. О, я умею наслаждаться!».

Если это совпадение легко объяснимо подсказавшей его памятью М. М. Достоевского, то наличие следующей параллели журнальной редакции «Неточки Незвановой» и «Господина Светелкина» заставляет задуматься. Речь пойдет о двух персонажах, обрисованных в этих повестях. В «Господине Светелкине» это глава семейства, где воспитывалась Наташа, — Филипп Филиппович, который считает себя благодетелем всех окружающих, требует их постоянной лести, благодарности, а в противном случае негодует и мстит, лишая необходимого. Вне этой «слабости» Филипп Филиппович якобы вовсе не являлся плохим человеком. Той же «манией» одержим некий Федор Ферапонтович, отец семьи, которая приютила сироту Ларенькy, рассказавшего Неточке историю своей жизни и описавшего своего «благодетеля», тоже якобы неплохого человека. Интересно отметить, что «Господин Светелкин» был напечатан в сентябрьской книжке «Отечественных записок» за 1848 г., а рассказ Лареньки в «Неточке Незвановой» — в февральской книжке того же журнала за 1849 г. При следующих перепечатках «Неточки Незвановой» Ф. М. Достоевский, как известно, изъял из текста неконченного романа эпизоды, связанные с Ларенькой[12].

Если учесть, что в 1848 г., когда писались обе повести, братья постоянно общались, имели общих знакомых, делились впечатлениями, то какая-то близость в обрисовке задуманных второстепенных персонажей не очень удивительна. Труднее объяснить значительное сходство в построении образов и композиции сюжетов двух повестей братьев, написанных в отдалении друг от друга и хронологически разделенных. Это напечатанная в августе 1850 г. М. М. Достоевским в «Отечественных записках» повесть «Пятьдесят лет» и задуманная в 1855 г., а написанная в Семипалатинске в 1856—1858 гг. и напечатанная в «Русском слове» в 1859 г. повесть Ф. М. Достоевского «Дядюшкин сон». В комментариях Полного собрания сочинений приводится ряд предполагаемых источников, послуживших Достоевскому при создании повести, литературных и исторических, но не упоминается о чрезвычайной близости сюжета и отдельных образов и эпизодов в названных повестях обоих братьев. Между тем эта близость заслуживает внимания и может быть полезна для изучения сибирской повести Достоевского[13].

В центре обеих повестей — фигура богатого старого помещика, полупомешанного от дряхлости, развалины, как в физическом, так и в психологическом отношении. Князь К. в повести «Дядюшкин сон» «был еще не бог знает какой старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту

развалится; до того он обветшал или, лучше сказать, износился. Говорили даже, что старичок помешался... Узнали, что князь слушается Степаниду Матвеевну во всем, как ребенок, и не смеет ступить шагу без ее позволения...».

О Семене Семеновиче Блеклове, герое повести «Пятьдесят лет» — общее мнение, что он помешался. Его лакей говорит о нем: «Стар, голубчик мой! Совсем состарился, а ведь не из лет, ей-богу, не из лет; все от забот да от горя; из ума чуть не выжил. Младенец он стал сущий; ведь вот только меня и слушается. Ведь и вправду говорят: старость, что младенчество...».

Князь К. исключительно богат, но живет затворником в своем имении Духанове: «Всем казалось особенно странным, что помещик четырех тысяч душ, человек с известным родством, который бы мог иметь, если б захотел, значительное влияние в губернии, живет в своем великолепном имении уединенно, совершенным затворником...».

О Блеклове читаем: «Это существо жило в небольшом и не совсем казистом своем Приютине, — не потому, что у него не было других лучших сел, у него их было несколько в разных губерниях с каменными огромными барскими домами, была великолепная подмосковная, и мало ли чего у него не было. Но старик с некоторого времени особенно полюбил Приютино и уже другой год проживал в нем летом».

У Блеклова есть старый камердинер Козырь, пользовавшийся, в отличие от прочей дворни, любовью и доверием барина и один имевший право присутствовать в кабинете старика при его туалете. Старик очень щеголеват, проводит много времени за одеванием, скрываясь тщательно при этом от взоров своих домашних. «Гриша на цыпочках подкрался к плотно затворенной двери, отворявшейся в дядин кабинет. Там было также тихо, только по временам слышалось, что гомозилось в кабинете какое-то существо и кой-когда резкий старческий голос покрикивал на кого-то, очевидно, на Козыря, потому что вслед за старческим голосом слышалось и его беззубое болтанье. „Старик одевается", — подумал Гриша, отходя от двери. Это значило, что, кроме Козыря, никто из домашних не смел входить в очарованный кабинет, в котором жило и прозябало капризное и дряхлое существо, называвшееся дядюшкой Семеном Семеновичем Блекловым».

Есть в повести и другие упоминания о «таинственной двери» кабинета и о долгом процессе одевания.

При князе К. неразлучен с ним любимый камердинер Пахомыч. Мозгляков говорит о нем: «Князь поправляет теперь наверху свой туалет с помощью своего камердинера, которого никогда, ни в каком случае, не забудет взять с собою, потому что согласится скорее умереть, чем явиться к дамам без некоторых приготовлений... Я думаю, он еще пять часов будет там одеваться». В деревне все дни князя К. проходят почти сплошь за туалетом, в примеривании париков и фраков. Когда однажды Мозгля-

ков без спросу вошёл в кабинет дяди во время одеванья, князь К. сделал выговор камердинеру за то, что дверь не была заперта.

Оба старика очень любят модно одеваться. О Блеклове говорится: «Одет он был по-дачному, но очень кокетливо: на нем было серенькое летнее пальто, цветной шелковый галстучек на шее с отложными воротничками от рубашки, огромный бриллиантовый перстень на пальце и очень изящные ботинки. Он был очень мил и весел за столом».

Князь К. «одет совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка, или что-то подобное, ей-богу, не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстух, жилет, белье и все прочее — все это ослепительной свежести и изящного вкуса».

И Блеклов, и князь К. по своей дряхлости не должны долго прожить. Им предсказывают скорую смерть, первому через несколько месяцев, второму «много года через два».

На этой возможности скорой смерти, на их богатстве и старческом слабоумии местные светские дамы строят планы их женитьбы. В обеих повестях старики делаются жертвами тонких расчетов, интриг и почти становятся женихами очаровательных женщин — Зинаиды Афанасьевны в «Дядюшкином сне» и вдовы баронессы Роненберг в повести «Пятьдесят лет». Первая является мало активной в этом деле; за нее все устраивает ее мать, Мария Александровна Москалева, ловко завлекающая князя любезностями и хитрыми уловками. Баронесса Роненберг, не менее, чем Зина, видная и пышная красавица, сама устраивает атаку на старого Блеклова, но постоянно действует в сообщничестве с доктором Адамом Адамовичем, помогающим ей из корыстных целей. Она соседка Блеклова по имению, который знал ее родителей; пользуясь этим, она старается стать с ним на дружескую ногу. Мать Зины также ссылается на старые дружеские связи с князем К., помогающие ей удерживать его в своем доме. Баронесса кокетством доводит Блеклова до смешной сентиментальной влюбленности: старик пишет ей послания и, наконец, объяснившись в любви, на коленях просит ее руки. Подобная же сцена, по наущению матери, с пением романсов происходит между князем К. и Зиной.

Планы баронессы, как и Зины с матерью, расстраивают племянники, которые спасают стариков. В повести Ф. М. Достоевского это делает один Мозгляков, именующий князя «дядюшкой» и вполне им завладевший. У Блеклова два действительных племянника, между которыми как бы делится роль Мозглякова. Гриша, живущий у дяди, и Валентин, щеголь, приехавший из Петербурга. По типу именно он соответствует Мозглякову. Он — «молодой человек лет двадцати восьми, удовлетворительного роста, таковой же наружности, с удовлетворительно длинными белоку-

рыми волосами и весьма удовлетворительно одетый». Мозгляков описан так: «Ему двадцать пять лет, он отлично белокур, не дурен собой». Как Валентин Блеклов, так и Мозгляков не слишком обеспечены и надеются на дядюшкины деньги. Однако действовать против дядюшкиной женитьбы их вызывает не денежный расчет, а оскорбленное самолюбие. Мозгляков влюблен в Зину, совершенно теряется перед ней, уничтожается, но все же надеется ее завоевать. У Валентина Блеклова был раньше роман с баронессой, и он до сих пор не свободен от ее обаяния. Он также робок перед ней, даже боится ее и готов превратиться в игрушку в ее руках. Она обещает ему, так же как мать Зины Мозглякову, свое влияние на князя и даже самый предполагаемый брак обратить в его пользу.

Козни баронессы раскрывает другой племянник Блеклова, который вместе с дядей подслушивает разговор баронессы с Адамом Адамовичем, ее хитрые планы, связанные с браком и ожидаемым после смерти старика наследством. Старый Блеклов, убедившись в заговоре против него, порывает с баронессой и спешно покидает имение.

Мозгляков также подслушивает разговор Зины с матерью, узнает об их планах в связи с женитьбой князя и, оскорбленный, задумывает мщение и увоз князя из дома Москалевых, которому предшествует скандал, позорящий женщин и делающий невозможным их дальнейшую жизнь в городе.

Действие обеих повестей, в отличие от других повестей 40-х годов Ф. М. и М. М. Достоевских, протекает не в столицах России, а где-то в ее помещичьей глуби. Обе начинаются с приезда столичного светского щеголя в провинциальную глушь с ее сплетнями и интригами, и обе одинаково заканчиваются.

У М. М. Достоевского после подслушанного разговора «на другой день в селе Приютине не осталось ни одной барской души. Все Блекловы чем свет уехали в подмосковную, оставив Козыря и лишних слуг с приказом забрать все нужные пожитки и потихоньку следовать за ними». В «Дядюшкином сне» Мария Александровна после скандала «в тот же вечер решила переехать в деревню, с дочерью и Афанасием Матвеевичем, а через месяц узнали в Мордасове, что подгородная деревня Марии Александровны и городской дом продаются».

Несмотря на сюжетную близость повестей и отдельных ситуаций, в них есть и отличия, например, в центральных образах, вокруг которых организуется действие. Прежде всего образ Зины — образ трагический, который как бы собирает в себе черты Вареньки Доброселовой, женщин из «Неточки Незвановой», Наташи Ихменевой. Он никак не может быть сопоставлен ни с лживой баронессой, хитро использующей свое обаяние и кокетство в корыстных целях, ни с наивной воспитанницей Блеклова Софи, еще одним повторением Женни, Наденьки, Лизаньки — девушек из ранних повестей М. М. Достоевского. Главное же отличие по-

востей (мы, конечно, не имеем в виду различие творческих возможностей братьев) — в характерах героев, двух старичков, князя К. и Семена Семеновича Блеклова. В физической «изношенности» первого, его изощренном внимании к туалетам и «омоложению», в его слабоумной болтовне нашло явное отражение его прошлое богача-аристократа, причастного к французской культуре предшествующего столетия. Достоевский с исключительной тщательностью передает речь князя, его внешность, его манеру держаться, и вполне закономерны многочисленные литературные, исторические и жизненно бытовые параллели, о которых вспоминают исследователи, изучавшие «Дядюшкин сон»[13].

Совершенно иным рисуется жизненный путь старика Блеклова, приведший его к преждевременной дряхлости. Это путь энергичного дельца, которому везло во всех предприятиях. Оставшись без копейки после смерти родителей, «после многих неудач и передряг», он вышел на торную дорогу, был предприимчив, и вот «вдруг как будто золотая руда открылась перед ним, и счастие полилось за ним золотою рекою всякой благостыни — червонцев, рублей, акций... являются дорогие гости — денежки и нужные человечки и разные делишки, и жизнь начинает вырабатываться, вылупаться из разных скорлуп и становиться гладенькою, кругленькою...». Этой «жизненной философии» он учил племянников. Несмотря на его болезненную расслабленность, еще «много энергии виднелось на широком, хотя и худощавом лице его». В обращении он был желчен, капризен и часто сердит.

Три года назад, до действия повести, Валентин Блеклов, тогда увлекавшийся поэзией и писавший стихи, просил у старика руку его воспитанницы Софи, но был высмеян дядей за его поэтические увлечения и выгнан вон из дома. Презрение к искусству, издевательское отношение к его поклонникам — характерная черта старого Блеклова. И, хотя Валентин за три истекшие года бросил былое увлечение, «давно образумился, давно умненько смотрел на жизнь и на свою будущность», дядя продолжал его язвить и обещал ему смерть «где-нибудь с голоду и холоду» и памятник с надписью: «Здесь лежит дурак в стихах и прозе».

Можно предположить, что в этом мотиве повести М. М. Достоевского отразились его автобиографические воспоминания. Мы писали выше, что в 1840 г. М. М. Достоевский, предполагая жениться на Э. Ф. Дитмар, ездил в Москву просить денег и получил отказ у дяди Куманина и опекуна Карепина. Мало того, молодой поэт был высмеян ими и еще ранее отцом, с которым пытался делиться своими поэтическими опытами. Резкие насмешки над поэтическими увлечениями позволял себе Карепин и в письме к Федору Михайловичу, чем вызвал язвительный ответ начинающего писателя[14].

М. М. Достоевский писал повесть в первую половину 1850 г., а в конце 1848 г. Карепин был разбит параличом, временами терял память и лишался речи. В 1850 г. он скончался. Отрывки из

писем 1849 г. его жены Варвары Михайловны брату Андрею Михайловичу рисуют картину его состояния, сперва небезнадежного, по тяжелого. О положении П. А. Карепина мог знать М. М. Достоевский, по письмам сестры, а может быть, и лично наблюдая, посетив сестру в Москве [15]. И не его ли, П. А. Карепина, он описал в словах Валентина Блеклова, который в ответ на насмешки дядюшки в связи с его бывшим увлечением поэзией так охарактеризовал прожитую жизнь старика и результат, которым она заканчивалась: «Она ничтожна, жалка, смешна, карикатурна! Жизнь была ему привычна, и сам он был олицетворенная привычка! Дряхлый, старый, больной с параличом, брюзга, капризный, по привычке он двигался, ел, пил, спал, бранился...». О состоянии Карепина до своего ареста весной 1849 г. мог знать от родных и Ф. М. Достоевский.

Если при создании образа старого Блеклова М. М. Достоевский вспоминал о презрительном отношении П. А. Карепина к литературным опытам братьев Достоевских, то нелишне отметить, что и в «Дядюшкином сне» эта тема также нашла отражение, только ее развивает не дядюшка, а Мария Александровна Москалева, с презрением говоря о любви Зинаиды к школьному учителю, «кропателю дрянных стишков... и умеющему только толковать об этом проклятом Шекспире». Она предполагает то же увлечение в Мозглякове, «погрузившемся в этого Шекспира». Несомненно, что высмеивание «ненависти» к Шекспиру у Ф. М. Достоевского ассоциировалось с памятью о юных годах и поучительными наставлениями опекуна Карепина.

Мы не думаем, что сообщение М. М. Достоевского брату в Семипалатинск в 1856 г. о болезненном состоянии А. А. Куманина могло «подсказать» Ф. М. Достоевскому материал для образа князя К., как это предполагается некоторыми исследователями [16]. То что нам известно о А. А. Куманине никак не согласуется с обликом князя К., светского угодника, обломка аристократии XVIII в. Если для создания облика Семена Семеновича Блеклова М. М. Достоевский мог воспользоваться подлинными сведениями о Карепине, о его прошлом разбогатевшего дельца, о его презрении к искусству и литературным интересам, письмами, сообщавшими о его самочувствии и, наконец, возможно, личными впечатлениями от встречи с ним во время заболевания, то для художественного воплощения князя К. краткое сообщение о болезни А. А. Куманина ничего не давало, кроме сведений о жадно ожидавших наследства его родственников, т. е. самого ординарного явления для того времени. Надо думать, что правы те исследователи, которые ищут прообраз князя К. в исторической литературе или в мемуарных бытовых преданиях, идущих от современников.

Близость сюжетов повестей обоих братьев позволяет предполагать две возможности: или Ф. М. Достоевский, который, по свидетельству Яновского, имел обыкновение делиться со своими подражателями некоторыми творческими замыслами, сообщил сю-

жет повести брату, а позднее сам вернулся к нему. Или в 1855—1856 гг. в его руки попал номер «Отечественных записок» с повестью М. М. Достоевского «Пятьдесят лет», и он в какой-то мере использовал готовую канву, художественно включив в нее картину провинциального общества, трагический образ Зины и характернейший облик старого князя К.[17]

Особое место в литературном наследстве М. М. Достоевского занимает его неоконченный роман «Деньги». По серьезности замысла, по тщательности обработки он стоит выше известных его повестей, хотя и не лишен тех же недостатков, какими страдают они. Роман был задуман в 1848—1849 гг. Свой замысел автор, очевидно, особо лелеял и относился к нему с несравненно большей внимательностью, чем к повестям, написанным в это время. 23 июля 1849 г. М. М. Достоевский, выйдя после двухмесячного заключения из крепости, писал брату в крепость: «Серьезно я еще не принимался ни за что. Начал было повесть, но меня просят окончить начатый роман, за который мне как-то страшно приниматься: боюсь испортить. Я чувствую, что до сих пор я еще все как будто не устроился, не обжился дома и не шутя опасаюсь, чтоб это тревожное состояние не отразилось в труде, требующем большой сосредоточенности мыслей».

18 августа 1849 г. он вновь сообщал брату: «Роман мой подвигается чрезвычайно медленно; пришло в голову несколько сюжетов, из которых один для драмы». В черновой тетради этого времени находятся записи под общим заглавием: «Типы и очерки, материалы для будущих романов. 13 июля 1849 г.» Одна из записей (под № 3) является наброском характеристики одного из персонажей второй части романа (И. П. Ластова). К № 7 сделано примечание: «ввести этот эпизод»; однако в дошедшем до нас тексте романа его нет.

Беловая, тщательно переписанная М. М. Достоевским рукопись романа «Деньги», переданная в 20-х годах его дочерью Е. М. Достоевской в Московский музей Ф. М. Достоевского, представляет полностью первую часть романа и большую часть второй, объемом приблизительно около 10 печатных листов. При жизни М. М. Достоевский напечатал в 1852 г. в журнале «Пантеон» три главы из первой части романа, отличающиеся от рукописи значительными цензурными вырезками и искажениями. Публикация озаглавлена: «Брат и сестра. Эпизод из романа». Полностью рукопись романа не публиковалась[18]. Надо думать, что в начале 50-х годов М. М. Достоевский оставил мысль об окончании романа, но на обложке второй части рукописи бегло наметил содержание конца второй части и содержание последней, третьей. Этот скупой конспект позволяет говорить об общем замысле романа и развязке его сюжета.

Не только большой масштаб, в котором было задумано новое произведение, вынуждало М. М. Достоевского отнестись к нему с особым вниманием. Повести, написанные им ранее, были не что

иное, как правдивые картинки с натуры или затейливые анекдоты, разыгрывающиеся на тщательно выписанном бытовом фоне. В них не было глубины содержания, которое придавало бы им внутреннюю значительность и вес. Попутно с точным воспроизведением быта и изложением интриги М. М. Достоевский давал психологический анализ действующих лиц, но над идеей, объединяющей произведение, над глубинным смыслом того, о чем повествуется, автор не задумывался. В начатом романе такая идея была, и, вероятно, она вызывала автора на «большую сосредоточенность мысли». М. М. Достоевский дал роману название «Деньги». Власть денег над людьми, их магическая сила, воздействующая на общество в целом и на судьбу отдельного человека, — вот основная мысль романа. Она тесно связана с историческим моментом написания, с субъективным мировосприятием автора и будущим творчеством его брата.

Проникновение капиталистических отношений в феодально-крепостническое государство к концу 40-х годов ощущалось остро, особенно в обеих столицах. Это отмечали и специалисты-статистики этого времени и журналисты, писавшие на злободневные темы. Так, А. Семенов, издавший в 1859 г. сведения «о российской внешней торговле и промышленности», писал: «В тридцать лет царствования государя императора Николая I употреблено было на учреждение частных мануфактур и заводов до 500 мил. руб. серебром. С 1827 по 1855 год, в двадцать восемь лет учреждено пятнадцать обществ на паях с основным и запасным капиталом на двадцать три миллиона рублей сер., что со присовокуплением российско-американской компании составит всего до двадцати пяти миллионов руб. сер. Быстрый разбор акций главного общества железных дорог в России, денежные обороты по казенным подрядам и винным откупам, которые простираться могут по крайней мере до 200 мил. руб. сер. в год... Наконец, капиталы, употребляемые для внутренней и внешней торговли, что с постройками по городам составит до 1000 милл. руб. ассигнациями в год.. — Все это в совокупности удостоверяет, что в настоящее время в России находится достаточное количество капиталов...».

В 1843—1844 гг. в Петербурге была произведена оценка недвижимого имущества для уравнительной раскладки налога в пользу города. Работа протекала под руководством Н. А. Милютина. Полученные данные было предложено обработать К. С. Веселовскому. В 1847 г., закончив свою работу, он частично напечатал ее в «Отечественных записках». В опубликованной части работы Веселовского находим таблицу, показывающую относительное благосостояние разных сословий петербургских жителей 40-х годов, выражающееся во владении ими собственными домами. Если из числа почетных граждан имеет свой дом каждый из четырех, из числа купцов — каждый из семи, то из дворян и чиновников — лишь каждый из пятнадцати, а из мещан — из семидесяти двух. Приведя эти цифры, Веселовский отмечал, что

наиболее ценное имущество — у купцов, почетных граждан и иностранцев. Дворянско-чиновничьи владения имеют тенденцию мельчать и становиться менее ценными. О мещанах же он сообщает следующее: «Можно сказать, что класс петербургских мещан — самый бедный из всего народонаселения столицы. Мало участвуя в мелочной торговле, их главном назначении, мещане петербургские вытесняются другими сословиями даже из класса работников, промышляющих трудом безыскусственным. Как сословие без определенного рода занятий, без правильных средств к приобретению вещественных богатств, мещане являются в числе владельцев в незначительном количестве» [19].

Дух нарождавшегося капитализма, рост крупной буржуазии остро ощущало население северной столицы. Мысли о выгодных предприятиях, спекуляциях, оборотах овладевали тысячами людей, из которых, конечно, очень немногим удавалось их осуществить. Быстрая и легкая нажива стала целью многих из тех, кто оказывался выброшенным разрушающимся строем. Журналистика живо откликалась на это общественное явление не только публикацией статистических данных, но и беллетристикой и фельетонами. Так, в феврале 1849 г. в «Библиотеке для чтения» был напечатан отрывок Н. А. Полевого под заглавием «Наука наживать деньги». Вот некоторые из «Всеобщих правил», которые преподносятся там читателям: «Желающий наживать деньги да соделает деньги предметом всех мыслей, всех помышлений, всех дум... да видит он в сердце, душе и уме только средство наживать деньги, приобретать деньги, *делать деньги*... да презрит все старинные предубеждения... Он должен думать только о том, чтобы люди не открыли его великой тайны, и для того должен он свято хранить все приличия, условия, договоры или, что принято между людьми, для взаимного охранения карманов, но в то же время должен устремлять все свои способности, дарование, ум и разум для овладения кармана ближнего...» и т. д.

Мы знаем, как обстановка, в которой протекала юность братьев Достоевских, постоянно была омрачена отсутствием средств, заботами о добывании денег. Для М. М. Достоевского в связи с отказом от инженерной службы, переездом в Петербург, растущей семьей должен был встать особенно остро вопрос о средствах к существованию, что и привело его в 50-х годах к переходу в купцы, к открытию табачной фабрики [20]. Но уже в 1848—1849 гг., начав писать роман, он решительно отказался от героев, традиционных для «натуральной школы», бедных чиновников, которых сам описывал в первых повестях, и обратился к другому слою петербургского населения.

Центральной фигурой его романа стал Алексей Мироныч Похлебкин, разорившийся небогатый купец, лавка которого была продана с аукциона за долги, а сам он с семьей лишился источника существования. Похлебкин гордился тем, что, несмотря на советы с помощью «известных операций заплатить только часть

долга и потом снова начать торговать на женино имя», он полностью заплатил долги свои. В результате дальнейших неудач он принужден был служить «сидельцем» в лавке, сделать большой долг под вексель в 300 руб. и попал в кабалу к своему кредитору, так как не мог выплатить ни долг, ни проценты. Ему грозило долговое отделение. Кредитор Нерадов, ловкий делец, владелец капитальных домов, дал ему маленькую квартирку наверху одного дома, подбрасывал денежные подачки, но зато полностью использовал Похлебкина для устройства своих многочисленных дел, зная его сметку, опыт и честность.

Матвей Федорович Нерадов — вторая центральная фигура романа. Похлебкин так характеризовал его своей сестре, старой неграмотной вдове богатого купца, которая спросила, не злой ли его хозяин: «Нерадов-то? А он спекулянт, сестрица, делец, барышник, если лучше поймете это слово. Купит, примерно, дом или землю какую, да и продаст потом с барышом. А то и сам построит да продаст. Ловкий человек. Есть у него и другие дела. Только бы барыш дали, он за всякие возьмется». Сам же автор, описывая Нерадова, подчеркивал его стремление проникнуть и стать своим в высших кругах финансистов, которые пока только терпели и использовали его:

«Все его самолюбие заключалось в деньгах, и так как желание человека зависит в частую от мнений и жизни того кружка, в котором он живет и вращается, то и желания Нерадова от беспрерывных столкновений его с банкирами, капиталистами, золотопромышленниками, биржевыми спекулянтами, разного рода заводчиками и фабрикантами по необходимости приняли биржевой оттенок. В кругу этом на него смотрели свысока, как на новичка: в сравнении со всеми этими господами он был почти нищий, и если его только терпели, то потому только, что он был человеком ловким, показавшим в некоторых случаях редкую проницательность. Самолюбие его беспрестанно страдало <...> ему было приятно производить впечатление на людей посторонних».

М. М. Достоевский ввел в роман и представителя категории, стоявшей на нижней ступени лестницы, которая вела от Похлебкина к Нерадову и выше, в мир крупных капиталистов. Иван Иванович Носков — владелец перезаложенного покосившегося дома на окраине столицы, державший в нем маленькую лавчонку с табаком и мылом, в которую редко заглядывали покупатели. Со смертью жены дела пошли еще хуже, семья не торговала, а проедала сама свой «фонд», и Носков, ничего не предпринимая, «поручил себя воле провидения»:

«Если б Носков в большей мере был одарен от природы здравым смыслом и имел хоть какое-нибудь понятие о логике, то он увидел бы, что в настоящую пору, когда весь фонд был уже съеден, а дом его по старческому упрямству наотрез отказывался платить за себя проценты и всякие повинности — он давно увидел бы, что ему Носкову и семерым его потомкам жить более ни-

как не следовало». Носков был старым другом Похлебкина, но отношения их были далеко не равные. Носков благоговел перед Похлебкиным, его умением вести дела. По сравнению с жизнью Носковых мещанский быт семьи Похлебкиных представлялся верхом благополучия. Похлебкин постоянно подсмеивался над непрактичностью и инертностью друга, покровительствовал ему, но и использовал в своих интересах, давая ему разные поручения. Такими рисовал взаимоотношения на финансовой лестнице М. М. Достоевский — от верхней до нижней ее ступени.

Трем названным персонажам автор отвел немало места, давая анализ их психологии, их индивидуальную характеристику. Интересно отметить, что, несмотря на иные социальные корни, в психологии этих лиц мы находим образы хорошо нам знакомые по «чиновничьим» повестям Ф. М. Достоевского. Наметим кратко эти сопоставления.

Нерадова нельзя не сравнить с образом Юлиана Мастаковича. Правда, он не достиг еще «цвета преклонных лет», но и физически он напоминает его. Господин «довольно плотный, отчасти статный, еще молодой, однако уже лет тридцати, весьма собой не дурной и в превосходном весеннем пальто». Он обладатель черных бакенбард, роскошно отделанной квартиры, «седовласого, почтенной наружности слуги». Впечатление, производимое его кабинетом, «было глубокое и знаменательное». Всякому, кто только ни входил в комнату, «она изо всех четырех углов своих кричала, что хозяин ее, Матвей Федорович Нерадов, не простой какой-нибудь смертный, а во-первых, богатый смертный, а во-вторых, со вкусом, а в-третьих, деловой смертный, да какой деловой, и разве только опытный глаз мог заметить, что хозяин, пожалуй, точно и то, и другое, и третье, но что он еще очень недавно вышел из простых смертных и что, следовательно, не мешает быть с ним осторожнее, потому что люди в таком положении бывают ненасытны и не пренебрегают никакими средствами».

Юлиан Мастакович нещадно эксплуатирует робкого Васю Шумкова, доводя своими требованиями до безумия и вместе с тем прикрывая свою мрачную роль позой благодетеля и покровителя. Нерадов выжимает все соки из попавшего ему в кабалу Похлебкина, который ему нужен, и он умеет сделать так, что Похлебкину с семьей не вырваться от цепко державшего его кредитора.

Юлиан Мастакович, плотоядно мечтающий о юной невесте, дважды показанный Ф. М. Достоевским в роли обольстителя девочки, почти ребенка, нашел яркое воплощение в роли Нерадова, который сперва воспользовался невинностью и неопытностью юной Лизы, старшей дочери Похлебкина, а бросив ее через пять лет, готовил себе новую жертву, младшую сестру Лизы, очаровательную пятнадцатилетнюю Катю. Вот эпизод на лестнице его дома, где наверху ютились Похлебкины, а внизу находилась роскошная квартира Нерадова: «Об обнял ее, привлек к себе и, расправив разбросанные по лицу ее волосы, поцеловал ее в смуг-

ленькую щечку. Движения его были медленные, так сказать методические. Видно было, что он со всею опытностью человека, привыкшего наслаждаться, вкусил поцелуй этот...».

Что же касается брошенной Лизы, продолжавшей его любить, то он, узнав в ней сестру Кати и дочь Похлебкина, не только не смутился, но был даже доволен: «Как человек с состоянием он мог загладить теперь вину свою перед нею и потому без угрызений смотрел на ласкавшуюся к нему девушку. Красота ее приятно щекотала его нервы, и вообще он был под влиянием того приятного ощущения, которое свойственно только разбогатевшим людям и которое состоит в уверенности, что ни один кредитор не застанет их врасплох и что они зажмут своими деньгами самый крикливый рот».

Как Нерадов, в отличие от Юлиана Мастаковича, не начальствует ни в каком департаменте, а хлопочет по делам какой-то частной компании, так и Похлебкин не пишет и не переписывает бумаг, подобно Девушкину и Голядкину, а бегает по поручениям Нерадова. Но он также исполнен покорности и повиновения «начальству», также послушное орудие в его руках. Его сближает с Девушкиным и Голядкиным постоянное чувство «амбиции», ощущение своего достоинства, попытки его защитить. Он гордится тем, что, разорившись, заплатил до копейки свои долги и купцы как с равным с ним раскланиваются. Он добр, как Девушкин: горячо любит свою семью, убогого Носкова, свою полоумную сестру. И, так же как Девушкин, он остро ощущает, что мир устроен неправильно.

Здесь его протест звучит гораздо решительнее, чем защита Девушкиным обиженной Вареньки, хотя он и не подозревает об отношениях Нерадова к его дочерям. Приведем его характеристику, сделанную автором:

«Сцена с Нерадовым... задев неприятным, тяжелым образом его человеческие чувства, уязвив в нем самолюбие бедного человека, которое всегда сильно вырабатывается у бедняков, темных, но благородных, только расшевелила в нем любовь к своим и к своему домашнему крову. Несмотря на свою внешнюю грубость и черствость, Похлебкин был человек мягкого сердца: он привык любить и ощущал в любви насущную потребность. В нем было более сердца, чем ума, и эта черта отразилась на всей его жизни».

В разговоре с Катей на ее вопрос, добрый ли человек Нерадов, Похлебкин с ожесточением характеризует его такой тирадой: «Живодер, каких свет не производил, разбойник, душегубец!.. Он, добрый человек? Кровопийца! Изо всех нас кровь сосет — из меня, из тебя, из матери, из сестер! Из всех, из всех! Дал нам конуру какую-то, да и говорит: живите в ней, а я из вас стану кровь сосать, а когда вы побледнеете от изнурения и от нужды, и у вас сил более не станет, я вам брошу на поправку как милостыню несколько целковых и опять начну из вас кровь сосать, пока вы снова не побледнеете и не похиреете!.. Разве даром дал

он мне эти деньги? Разве я не заслужил их... А что я сдуру назвал его добрым, так это потому, что я бедняк, что я обрадовался его деньгам как сумасшедший и рад был за них облизать ему ноги. Что ты думаешь, обрадуется он, если я отдам ему свой долг да скажу: милостивейший мой государь и благодетель, вот вам ваши денежки, а вот вам мой поклон? Нет, дура, врешь! Не обрадуется он, разбойник! Он знает, что я ему нужен, что не скоро ему найти такого же дурака, как я. Что у него денег много, так он мной и помыкать вздумал! Нет врешь, голубчик, людьми честнее и чище себя не помыкают».

Эта горячая исповедь Похлебкина, может быть, отразила настроение убежденного «фурьериста», каким был в это время М. М. Достоевский, по словам его брата.

Третий персонаж, Носков, до какой-то степени связан с наиболее униженными робкими действующими лицами «Бедных людей», Покровским и Горшковым. В нем их тяга к тем, кто к ним внимателен, снисходителен, в нем поиск дружеского сочувствия, участия, но и боязнь чем-нибудь оказаться не на высоте этой дружбы. Вот два отрывка, характеризующие посещения друг друга Похлебкина и Носкова. Для Носкова посетить Похлебкина целое событие, к которому он специально готовится. Он идет пешком семь верст:

«Что касается до Похлебкина, то справедливость требует сказать, что он вовсе не оценивал по достоинству такой редкой привязанности и принимал ее скорее как должную дань, нежели как свободный дар признательного сердца. Если Нерадов каким-то страшным кошмаром тяготел над совестью и душою Похлебкина, то Похлебкин, в свою очередь, точно так же, если даже не больше, тяготел над бедным Носковым. Редко не встречал он его, молчаливого и робкого, каким-нибудь упреком, редко отпускал его без какой-нибудь работы или поручения. Но Носков постоянно отмалчивался, только веки его немного поднимались, и щелки глаз становились шире...».

А вот посещение Похлебкиным семьи Носкова с подарками: «Маленькие Носковы, окружив гостя, притихли и смотрели на него с невыразимым благоговением, между тем как отец предавался самой необузданной деятельности: по нескольку раз бегал в кухню заказывать кофе и всякий раз возвращался с таким видом, как будто хотел посмотреть, тут ли еще гость, не пропал ли он куда-нибудь во время его отсутствия. Вообще он был очень сконфужен посещением своего друга и употреблял все усилия, чтобы не смотреть на привезенный узел, лежавший на столе перед Похлебкиным. Он как будто боялся вступить в разговор со своим другом, и то за тем, то за другим беспрестанно убегал в кухню...».

Постоянно молчаливый, Носков, выражая свое отношение к происходящему, всегда пользуется поговорками и пословицами. Этим приемом автор своеобразно характеризует бессловесного крот-

кого человека, черпающего нехватающей ему смелости в народной мудрости. В дошедшей до нас части романа «Деньги» есть еще один персонаж, роль которого в действии не ясна и, вероятно, должна была быть развернута во второй его половине. Но уже в первой части дана его обширная характеристика, которую нельзя миновать по ее несомненной связи с творчеством Ф. М. Достоевского. Это младший брат Нерадова, Дмитрий Федорович, полная противоположность ловкому дельцу, богатеющему капиталисту Матвею Федоровичу. Дмитрий окончил университет, но не устроен в жизни и не способен в ней устроиться. В нем есть что-то от молчаливого, неприспособленного к жизненной борьбе, сердечно чуткого Носкова, но Носкова с образованием, «с инстинктивным отвращением ко всему мелкому и ничтожному в жизни», со стремлением ко всему «прекрасному и высокому», «с сильно развитым чувством внутренней деликатности» и доброты к окружающим. Он плохо себя чувствует в обществе, в «кружке»: «Только дома, в четырех стенах, ум его приходил в совершенное равновесие с сердцем...». В нем есть что-то от «мечтателей», которые появились в ранних повестях Ф. М. Достоевского, но есть что-то и от героев его будущих романов и от личности их автора. Вот значительная часть обширной его характеристики:

«Просветленные наукой и собственным анализом, которым природа снабдила их, как каким-нибудь скорпионовым жалом для постоянного самоуязвления и для самого кропотливого анатомирования всего, что только окружает их, эти натуры... если настоящее не удовлетворяет их, все надежды свои... возлагают на будущее. Да и вообще они люди более будущего, чем настоящего. Оттого-то, может быть, теперь они и не умеют ни за что взяться. Обыкновенно их зовут чудаками, романтиками, невеждами в трудной и не всем дающейся науке жизни, отталкивают их, презирают и только немногие произносят над ними верный суд; только немногие понимают, что странность их есть непременный плод века, что этот тип смешон и странен не сам по себе, а по форме, в какой модулирует его общество, что он служит миру живым протестом и что если природа с таким старанием сохраняет тип этот и снабжает им один век более, а другой менее, то, вероятно, он на что-нибудь да нужен ей».

В такой форме видятся М. М. Достоевскому современные ему русские мечтатели, мыслители, психологи, которые в другую эпоху, «в другом веке», в другой исторической обстановке из ненужных лишних людей станут героями, способными на совершение подвига.

Интересно, что из того же человеческого материала, но лишенного просвещения, образования М. М. Достоевский выводит происхождение типа Похлебкиных, Девушкиных, Голядкиных, Прохарчиных и очень метко характеризует особенности их психологии: «Если же они натуры темные, непосредственные, они бывают часто слишком даже уродливы. Не ведая ни причин, ни исхода

своим страданиям, они нередко превращаются в жалкие существа, обидчивые и подозрительные, трепещущие за ум свой и за свою невзрачную личность: так что кажется, с них содрали кожу и они беспрестанно кричат от боли, как только несколько ближе подойдешь к ним».

Скажем лишь несколько слов о женских образах в романе «Деньги», также близких героиням ранних повестей Ф. М. Достоевского. Лиза Похлебкина, соблазненная в шестнадцать лет Нерадовым и брошенная им, хотя и живет в любящей ее семье, знающей ее горе, всегда замкнута, духовно одинока и далека от сестер и родителей. Как Варенька Доброселова, она грустна и физически слаба, живет с болезненным надрывом, который разрешается душевной катастрофой, когда разбогатевший и узнавший ее Нерадов предлагает ей материально возместить причиненный ей ущерб, но, конечно, не может жениться на ней.

Прелестная юная Катя своей непосредственностью, живостью, смелостью, переходящей в дерзость, пробуждающейся женственностью в полуребенке напоминает вместе и Неточку и княжну Катю. С такою же любовью выписывает ее М. М. Достоевский, как и его брат своих двух героинь, и, может быть, у обоих в памяти были одни и те же прототипы. Легко намеченный роман Кати с Нерадовым-младшим немного напоминает отношения Настеньки с «мечтателем» в «Белых ночах».

Конечно, не повести брата, а сам николаевский Петербург вызвал к жизни в романе «Деньги» еще одну общую для него с братом фигуру, которую Федор Михайлович, иронизируя над «мудрой» властью, ей врученной, наименовал Ярославом Ильичом, а Михаил Михайлович с сарказмом к ее предательской роли — Искариотом Петровичем. Петербургский квартальный надзиратель Ярослав Ильич свидетельствует со своею «свитой» смерть Прохарчина, лезет в душу Ордынова своими разговорами в «Хозяйке», но и там и тут лишь мимоходом занимает внимание читателя. В романе «Деньги» ему отводится более внимания, хотя вызвано оно тем же предлогом — необходимостью свидетельствовать смерть купчихи — сестры Похлебкина. М. М. Достоевский поместил несколько с юмором написанных страниц, изображающих домашний быт и служебную должность Искариота Петровича, его высокомерную встречу пришедших за ним мещан, Похлебкина и Носкова, и его пресмыкательство перед ними, когда он понял, что имеет дело с единственным наследником умершей миллионерши. Полную характеристику николаевской полиции М. М. Достоевский дал в следующей зарисовке Искариота Петровича: «В лице и во всей его осанке было нечто строгое и даже грозное, особенно, когда он закидывал назад голову и левую руку, а правою выделывал жесты, способные убедить самый скептический ум. Надобно было видеть его в эту минуту, чтобы на деле убедиться, до какого величия может доходить человеческий образ, когда человеком движет чувство собственного достоинства и благородное

негодование к проступкам ближних. И, странное дело! Несмотря на такую черту пуританской строгости в его характере, трудно было найти человека терпимее, потворчивее, человека с более сладкой улыбкой, с более нежными глазами, чем Искариот Петрович, когда он по закону всеобщего тяготения сгибал свой горделивый и костистый стан и образовывал у самой талии угол в несколько градусов. Тогда, казалось, в этом горделивом теле не было ни одной косточки, а в этом строгом человеке ни одного атома смертного греха, называемого гордостью»[21].

М. М. Достоевский оставил работу над романом, когда по ходу развития сюжета должны быть особенно ярко показаны власть денег и их влияние на характер героев. Лишь первое воздействие миллионного наследства, полученного от умершей сестры Похлебкиным, успел описать автор: Носков получал новый флигель в центре города, приспособленный для жилья и торговли; Нерадов как равного уважаемого друга стал принимать прежде презираемого Похлебкина; последний же в своем недавнем «кровопийце» нашел выгодного компаньона для будущих общих дел. Беглый конспект конца романа свидетельствует, что Нерадов поспешил разорвать с предполагавшейся богатой невестой и сделал предложение Лизе, которой отец давал большое приданое. Но от Лизы Нерадов получил «благородный отказ». Однако, когда Похлебкин с гневом узнал о прежней роли Нерадова в судьбе Лизы, он все же упросил дочь дать согласие на брак с Нерадовым. Последние строки конспекта дают представление, каким идиллическим образом предполагал М. М. Достоевский закончить свой роман, задуманный как обличение нравов крепнущего капитализма. «6) Борьба Лизы с родителями. Второе объяснение с Нерадовым. Ее условия касательно денег. Он согласен. 7) Свадьба. Эпилог. Детский приют. Миллион не в оборотах».

Может быть, именно фальшь развязки, в которой матерый делец и спекулянт Нерадов под влиянием идеальной Лизы должен был превратиться в филантропа, препятствовала автору привести роман к задуманному концу. Или ему мешали собственные коммерческие дела, в которые он погрузился в середине 50-х годов, мешали не только физически — отсутствием времени и сил, — но и обострившимся признанием лживости развязки. Сохранившаяся рукопись представляет интерес и для исследователя творчества его брата, и для историка русской литературы прошлого века. Нельзя сомневаться в том, что Ф. М. Достоевский был в курсе плана и идеи романа, возможно, слушал или читал написанные части, критиковал и давал советы в конце 1848—начале 1849 гг. Самая попытка М. М. Достоевского порвать с «чиновничьей» повестью и перенести действие романа в иную социальную среду, перед которой история открывала широкое будущее, представляет несомненный, значительный интерес[22].

Приложение

ФЕЛЬЕТОН, НАПЕЧАТАННЫЙ 13 АПРЕЛЯ 1847 Г. В ГАЗЕТЕ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ», №. 81

Петербургская летопись

Говорят, что в Петербурге весна. Полно, правда ли? Впрочем, оно может быть и так. Действительно, все признаки весны. Полгорода больна гриппом, у другой по крайней мере насморк. Такие дары природы вполне убеждают нас в ее возрождении. Итак, весна! Классическая пора любви! Но пора любви и пора стихов приходят неодновременно, говорит поэт, то и слава богу. Прощайте, стихи, прощай, проза, прощайте, толстые журналы с направлением и без направления, прощайте, газеты, *взгляды*, *нечто*, прощай и прости нас, литература! Прости нас в чем мы пред тобой согрешили, как мы прощаем твои согрешения!

Но каким образом заговорили мы о литературе прежде другого чего! Я не отвечаю вам, господа. Тяжелое прежде всего, самое тяжелое с плеч. Кое-как дотащили книжный сезон — и правы! Хотя и говорят, что это очень натуральная ноша. Мы скоро, может быть через месяц, свяжем наши журналы и книги в одну кипу и развернем ее не прежде как в сентябре. Вот, должно быть, будет чего почитать, наперекор пословице: хорошего понемножку. Закроются скоро *салоны*, уничтожатся *вечера*; дни сделаются длиннее, и мы уже не будем так мило зевать в душных оградах, возле щегольских каминов, слушая повесть, которую нам тут же прочтут или расскажут, воспользовавшись вашей невинностью; не будем слушать графа де Сюзора, который поехал в Москву смягчать нравы славянофилов; и за ним, вероятно с тою же целью, отправляется Гверра [1].

Да! мы многого лишимся вместе с зимою, многого не будем иметь, многого не будем делать; мы собираемся на лето ничего не делать. Мы устали, нам пора отдохнуть. Недаром говорят, что Петербург такой европейский, такой деловой город. Он так много сделал, дайте же ему успокоиться, дайте же ему отдохнуть на его дачах, в его лесах; ему нужен лес, по крайней мере на лето. Это только в Москве «*отдыхают перед делом*». Петербург отдыхает после дела. Каждое лето он, гуляя, собирается с мыслями; может быть, он и теперь уже надумывается, что бы ему сделать на будущую зиму. Он очень похож в этом отношении на одного литератора, который сам, правда, ничего не написал, но у которого брат всю жизнь собирался писать роман. Однако, собираясь в новый путь, нужно оглянуться на старое, на пройденное и по крайней мере проститься с чем-нибудь, по крайней мере взглянуть еще раз на то, что мы сделали, что нам особенно мило.

Посмотрим, что вам особенно мило, вам, благосклонный читатель? Я говорю благосклонный, потому что на вашем месте давно бы бросил читать фельетон вообще и этот в особенности. И потому еще бросил бы, что мне самому, да, кажется, и вам тоже, ничего не мило в прошедшем. Мы все как будто работники, которые несут на себе какую-то ношу, добровольно взваленную на плечи, и рады, рады, что европейски и с надлежащим приличием донесут ее хоть до летнего сезона. Каких-каких занятий ни задаем мы себе, так, из подражания! Я, например, знал одного господина, который никак не мог решиться надеть галош, какая бы ни была грязь на улице, равно как и шубу, какой бы ни был мороз: у этого господина было пальто, которое так хорошо обрисовывало его талию, давало ему такой парижский вид, что никак нельзя было решиться надеть шубу, равно как и уродовать панталоны галошами. Правда, у этого господина весь европеизм состоял в хорошо сшитом платье, он оттого и Европу любил за просвещение; но он пал жертвою своего европеизма, завещав похоронить себя в лучших своих панталонах. Когда на улицах начали продавать печеных жаворонков, его похоронили.

У нас, например, была превосходная италианская опера, на следующий год будет, нельзя сказать лучше, а богаче. Но не знаю отчего, мне все кажется, что мы держим италианскую оперу для тону, как будто по обязанности. Если мы не зевали (мне кажется, даже что немножко зевали), то по крайней мере вели себя так благовоспитанно и чинно, так умно не высказывались, так не навязывали своего восторга другим, что, право, как будто скучали и чем-то очень тяготились. Далеко от меня мысль порицать наше уменье жить в свете; опера принесла в этом отношении публике большую пользу, естественно, рассортировав меломанов на энтузиастов и просто любителей музыки; одни убрались в верх, отчего там сделалось так жарко, как будто в Италии; другие сидели в креслах и, поняв свое значение, значение образованной публики, значение тысячеглавой гидры, имеющей своей вес, свой характер, свой приговор, ничему не удивлялись, зная уже заранее, что это главная добродетель благовоспитанного светского человека.

Что до нас касается, мы совершенно разделяем мнение последней части публики; мы должны любить искусство тихо, не увлекаясь и не забывая обязанностей. Мы народ деловой; нам иногда в театр и некогда. Нам еще так много предстоит сделать. И потому мне очень досадны те господа, которые думают, что они в свой черед *должны* выходить из себя, что на них как будто возложена какая-то особенная обязанность уравновесить мнение публики своим энтузиазмом по *принципу*. Как бы то ни было и как сладко ни выпевали наши Борси, Гуаско и Сальви свои рондо, каватины и прочее, но мы оперу дотащили, как дрова; устали, потратились, и если бросали под конец сезона букеты, то будто благодаря, что опера подходит к концу. Потом был Эрнст... Насилу на третий концерт съехался Петербург. Сегодня мы с ним прощаемся, будут ли букеты не знаем!

Но будто одна опера была у нас удовольствием: у нас было более. Хорошие балы. Были маскарады. Но дивный артист рассказал нам недавно на скрипке, что такое южный маскарад, и я, удовольствовавшись этим

рассказом, и не ездил в наши многочинные северные маскарадные балы. Цирки удались. — Слышно, что и на будущий год удадутся.

Замечали ли вы, господа, как веселится простой народ наш на своих праздниках? Положим, дело в Летнем саду. Сплошная, огромная толпа движется чинно и мерно; все в новых платьях. Изредка жены лавочников и девушки позволят себе пощелкать орешков. В стороне гремит уединенная музыка, и главный характер всего: все чего-то ждут, у всех на лице весьма наивный вопрос: что же далее? Только? Разве разгуляется где-нибудь пьяный сапожник-немец; но и то не надолго. И как будто досадно этой толпе на новые нравы; на столичные забавы свои. Ей мерещится трепак, балалайка, нараспашку сибирка, вино через край и не в меру, одним словом, все, в чем бы можно было развернуться, распоясаться по-родному, по-своему. Но мешает приличие, несвоевременность, и толпа чинно расходится по домам, не без того разумеется, чтобы не завернуть в «заведение».

Мне кажется, есть что-то похожее тут на нас, господа, мы, конечно, не выкажем наивно нашего удивления, мы не спросим: только-то? Мы не потребуем чего-нибудь больше, мы очень хорошо знаем, что мы за наши 15 руб. получили европейское наслаждение, и с нас довольно. И к тому же к нам ездят такие патентованные знаменитости, что роптать мы не можем. Мы же научились ничему не удивляться. Если уж не Рубини, так нам певец нипочем; не Шекспир писатель, так на что ж время терять, читать его? Пусть Италия образует артистов, Париж пускает их в ход. Есть ли нам время голубить, образовывать, ободрять и пускать в ход новый талант; певца, например? Уж оттуда присылают их совсем готовыми, со славою. Как часто случается, что писатель не понят и отвергнут у нас одним поколением; через десятилетия, через два, три последующие поколения, признают его и добросовестнейшие из стариков только качают головами. Мы уж знаем наш норов; мы часто недовольны собою, часто сердиты на себя самих и на взваленные на нас Европой обязанности. Мы скептики, нам очень хочется быть скептиками. И ворчливо и дико сторонимся от энтузиазма, бережем от него свою скептическую, славянскую душу. Оно бы иной раз и порадовался, да ну как не тому, чему нужно, ну как промахнешься, — что тогда скажут об нас? Не даром мы так полюбили приличия.

Впрочем, оставим все это, лучше пожелаем себе хорошего лета, мы бы так погуляли, так отдохнули. Куда мы поедем, господа? В Ревель, в Гельсингфорс, на юг, за границу или просто на дачи? Что мы будем там делать? Удить рыбу, танцевать (летние балы так хороши!), немного скучать, не покидать служебных занятий в городе и вообще соединять полезное с приятным. Ежели вам захочется читать, возьмите два тома «Современника» за март и апрель; там есть, как вам известно, роман *Обыкновенная история*, прочтите, если вы не успели прочитать его в городе. Роман хорош. В молодом авторе есть наблюдательность, много ума; идея кажется нам немного запоздалою, книжною, но проведена ловко. Впрочем, особенное желание автора сохранить свою идею и растолковать ее как можно подробнее придало роману какой-то особенный догматизм и сухость и даже растянуло его. Этого недостатка не выкупает и легкий,

почти летучий слог г-на Гончарова. Автор верит действительности, изображает людей как они есть. Петербургские женщины вышли очень удачны.

Роман г-на Гончарова весьма интересен, но отчет Общества посещения бедных еще интереснее[2]. Мы особенно порадовались этому призыву к целой массе публики; мы рады всякому соединению, особенно соединению на доброе дело. В этом отчете много интересных фактов. Самым интереснейшим фактом была для нас необыкновенная бедность кассы общества, но терять надежду ненадобно: благородных людей много. Укажем на того денщика, который прислал 20 р. серебром; по его достатку это, вероятно, сумма огромная. Что если бы все прислали пропорционально? Распоряжения общества при раздаче вспоможений превосходны и показывают необязанную филантропию, глубоко понявшую свое назначение. Кстати, об обязанной филантропии. На днях мы проходили мимо книжного магазина и видели за стеклом последнюю «Ералаш». Там очень верно и популярно изображен филантроп по обязанности, тот самый, который:

Старого Гаврила
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло[3],

на улице же вдруг проникается искренним состраданием к ближнему. Об остальных не скажем ни слова, хотя тут много меткого, современного. Не хочет ли г. Невахович, но мы расскажем ему по поводу филантропии, анекдот. Один помещик с большим жаром рассказывал, как он чувствует любовь к человечеству и как он проникнут потребностью века.

«Вот, сударь мой, у меня дворня разделена на три разряда, — рассказывал он, — слуги старые, почтенные, служившие отцу и деду моему беспорочно и верно, составляют первый разряд. Они живут в светлых комнатах, чистых, с удобствами, и едят с барского стола. Другой разряд, слуги не почтенные, не заслуженные, но так себе, хорошие люди; их я держу в общей светлой комнате и по праздникам им пекут пироги. Третий разряд — мерзавцы, мошенники и всякие воры; им не даю пирогов и *учу* по субботам нравственности. Собакам и житье собачье! Это мошенники!» — А много ли у вас в первых разрядах? — спросили помещика. — Да по правде сказать... — ответил он с небольшим замешательством, — еще ни одного... народ разбойник и вор... все такой, что не стоит совсем филантропии».

---

[1] Граф де Сюзор в феврале—марте 1847 г. читал в Петербурге курс лекций по современной французской литературе.
А. Гверра — владелец гастролировавшего в Петербурге цирка.
[2] «Отчет О-ва о посещении бедных» напечатан в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1847, № 42—45. В последнем о денщике Федоре Трофимове).
[3] «Ералаш» — юмористический сборник, издававшийся М. Л. Неваховичем в 1846—1849 гг.
Цитата из стихотворения Д. В. Давыдова «Современная песня»,

ПРИМЕЧАНИЯ

Введение

[1] Близок по смыслу к этой формулировке отрывок из письма Ф. М. Достоевского к А. Н. Майкову от 15/27 мая 1869 г.: «...поэма, по-моему, является как самородный, драгоценный камень, алмаз, в душе поэта, совсем готовый во всей своей сущности, и вот это первое дело поэта, как *создателя* и *творца*, первая часть его творения. Если хотите, так даже не он и творец, а жизнь, могучая сущность жизни ... если не сам он творец, то по крайней мере душа-то его есть тот самый рудник, который зарождает алмазы и без которого их нигде не найти... Затем уж следует *второе* дело поэта, уже не так глубокое и таинственное, а только как художника: это, получив алмаз, обделать и оправить его. Тут поэт почти только что ювелир». (*Достоевский Ф. М.* Письма/ Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. Л.: Просвещение, т. II, с. 190. Далее: Письма, т.).

[2] *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». М.: Наука, 1972.

На с. 22 о чернящих М. М. Достоевского предположениях в связи с получением им денежного пособия после ареста, на с. 45—47 о якобы нечестной расплате М. М. Достоевского с сотрудниками журнала. Последовательную недоброжелательную характеристику М. М. Достоевскому давал А. С. Долинин (см. там же, с. 46, примечание).

I. Москва 20—30-х годов XIX в. Родители писателя

[1] Санкт-Петербургские ведомости, 27 апреля 1847 г., фельетон «Петербургская летопись»; *Достоевский Ф. М.* Полное собрание художественных произведений/ Под ред. Б. Томашевского и К. Халабаева. Л.: Просвещение, 1930, т. XIII, с. 14—15.

[2] О книге В. П. Андросова, о ее авторе, об оценке современниками сообщаемых им сведений, а также о точке зрения на нее в свете труда В. И. Ленина «Развитие капитализма в России» см. в кн.: *Нечаева В. С.* В. Г. Белинский: Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве». 1829—1836. М., 1954, гл. I, с. 7—28, 423—427.

[3] О политических настроениях в Москве на рубеже 20—30-х годов XIX в. см. названную выше книгу В. С. Нечаевой (гл. II, с. 30—60, 428—429).

[4] История Москвы, 1954, т. III, с. 320.

[5] *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского. 1506—1933. М.: Север, 1933.

[6] Воспоминания Андрея Михайловича Достоевского/ Под ред. А. А. Достоевского. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, 1930, с. 17. Далее: Воспоминания А. М. Достоевского, с.

[7] *Волоцкой М. В.* Указ. соч., с. 49.

[8] *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. М.: Соцэкгиз, 1939, с. 123—127. Здесь публикуется послужной список М. А. Достоевского, составленный в 1828 г., и исправления, в него внесенные в 1832 г.

[9] История императорской Военно-медицинской академии (быв. Медико-хирургической) за сто лет. СПб., 1898.

[10] *Кирпотин В. Я.* Опровергнутая версия. — Литературная газета, 1975, № 25, 18 июля.

В первом томе биографии Белинского я сообщила ряд сведений о правилах поступления семинаристов в Медико-хирургическую академию на рубеже XVIII и XIX вв. Г. Н. Белынский поступил в нее в 1804 г. из Тамбовской семинарии и, не закончив ее, самостоятельно отправился в Петербург, где и был принят сперва в ученики, а в 1806 г. в студенты (см.: *Нечаева В. С.* В. Г. Белинский: Начало жизненного пути и литературной деятельности. М.: АН СССР, 1949, с. 41—43, 385—386).

[11] История Москвы, 1954, т. III, с. 502—503.

[12] История императорской Военно-медицинской академии..., с. 139—145.

[13] Историческая записка о московской Мариинской больнице для бедных. М., 1881.

[14] См., например, в кн.: *Гроссман Л. П.* Ф. М. Достоевский. М.: Молодая гвардия, 1965, серия ЖЗЛ. (М. А. Достоевский «страдал тяжелой формой алкоголизма», «крайней скупостью», и его «деспотический гнет» ощущала вся семья, — с. 9).

[15] Биографические сведения о И. Г. Прыжове см.: *Альтман М.* Иван Гаврилович Прыжов. М.: Изд-во политкаторжан, 1932. О службе отца в Мариинской больнице для бедных и своем детстве см.: *Прыжов И. Г.* Исповедь. — Минувшие годы, 1908, № 2, с. 52—53.

[16] *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. Здесь же опубликована переписка М. А. и М. Ф. Достоевских 1832—1835 гг., на которую далее в тексте даются многочисленные ссылки с указанием даты писем, но без указания страниц.

[17] Отметим, что Л. П. Гроссман в книге «Путь Достоевского» (Л., 1924, с. 23) в этих строках видел одно из подтверждений «жестокости» М. А. Достоевского и не усматривал в них своеобразную шутку автора.

[18] Гос. б-ка им. В. И. Ленина. Отдел рукописей.

[19] Письма, т. III, с. 204; Достоевский в воспоминаниях современников, т. I, 1964, с. 157.

[20] Письма, т. I, с. 215.

[21] В Полн. собр. соч. (т. I, с. 467), в примечании к «Бедным людям», приводится это определение М. А. Достоевского без указания на какие-либо факты, но со ссылкой на *мнение* Г. А. Федорова, без указания печатного источника.

[22] *Бельчиков Н. Ф.* Достоевский в процессе петрашевцев. М.: Наука, 1971, с. 107.

[23] *Добролюбов Н. А.* Полн. собр. соч. М., 1963, т. VII, с. 247.

[24] *Достоевский А. М.* Воспоминания, с. 72.

[25] В книге Б. И. Бурсова «Личность Достоевского» (Л., 1974) мы не можем принять некоторые его характеристики родителей Достоевского. Так, на с. 113 он пишет: «О мученической жизни Марии Федоровны красноречиво говорят ее письма к мужу». Как мы пытались доказать в тексте, основания для столь решительного приговора в письмах нет. Нельзя вполне согласиться и с его характеристикой Михаила Андреевича: «Отец был человеком тяжелым, не в меру строгим с детьми, подозрительным и лицемерным» (с. 112). Никаких данных о его «лицемерии» мы не знаем, но можно думать, что Б. И. Бурсов считал таковым его постоянные жалобы на бедность и даже подозревал, что отец послужил прообразом будущего Прохарчина: «И я спрашиваю себя: не мелькал ли в глубинах сознания Федора Михайловича, когда он писал „Господина Прохарчина“, образ его собственного родителя?» (с. 245). Это в корне неверно. Отказы в деньгах, постоянное внимание к мелким хозяйственным убыткам диктовались не манией накопления, а естественной боязнью перед совершенно реальным грядущим разорением поместья, судьбой большого семейства и голодающих крестьян.

18*

Что касается «особой строгости» с детьми, то при отсутствии физических наказаний, столь распространенных в ту эпоху, странно выдвигать в качестве «угнетения» детей требования к ним французских поздравлений к дню праздников или их обязательного участия в семейных танцах (с. 246). Это явное подражание обычно принятым методам воспитания в дворянских семьях.

II. Детство. Учение в пансионах

1 Биография, письма и заметки из записных книжек Ф. М. Достоевского. СПб., 1883.

2 Биография, письма..., с. 12, 13, 15.

3 Московские ведомости, 1881, 31 января; Письма, т. IV, с. 204, 16 октября 1880 г.

4 Так в тексте «Биографии...» 1883 г. (с. 25). В изд. «Воспоминаний» А. М. Достоевского 1930 г. — «произведение».

5 О том, что Московский университет «можно с полным правом назвать питомником декабристов», см. в кн.: *Нечкина М. В.* Грибоедов и декабристы. 2-е изд. М., 1951, с. 80; История Москвы, 1954, т. III, с. 346—356, 371—374; *Нечаева В. С.* Белинский: Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве», 1829—1836. М., 1954, гл. II.

О первоначальном желании отца отдать старших сыновей в Университетский пансион, закрытый в 1830 г., см. статью Г. А. Федорова в «Литературной газете» (1974, № 29, 17 июля).

6 Письма, т. IV, с. 239, 23 марта 1839 г.

7 Связь изолированности писателя в детские годы с его будущим творчеством бегло отметил Б. И. Бурсов в «Личности Достоевского». На с. 392 он пишет: «Боль одиночества и обособления, ставшая темой творчества Достоевского, поразила его в самые ранние годы и преследовала на протяжении всей жизни».

8 *Быков П.* Выдержки из автобиографии Ф. М. Достоевского. — Красная газета, 1925, веч. вып., № 47, 24 февраля; *Быков П.* Памяти проникновенного сердцеведа: (Из моих воспоминаний). — Вестник литературы, 1927, № 2, с. 4—5.

9 О пансионе Драшусова см. статью Г. А. Федорова «Драшусовы и пансионишко Тушара» (Литературная газета, 1974, № 29).

10 *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч. М.: Наука, 1974, т. IX, с. 129—136. Записи к «Житию Великого грешника», частично использованные в «Подростке».

11 *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. XIII, с. 72.

12 В кн.: Достоевский и его время. Л.: Наука, 1971. В статье Г. А. Федорова «Пансион Л. И. Чермака» на с. 248 читаем: «В списке учеников 1-го класса пансиона 1833 г. находим имя Ламберт Евгений». И дальнейшие объяснения, что Ламберт мог учиться в пансионе три года, т. е. до 1835 г., и, следовательно, Достоевский «целый год» мог знать Ламберта по пансиону.

13 *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. IX, с. 518—523, 126—135.

14 *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. М.: Соцэкгиз, 1939, с. 55—60.

15 Вероятно, это было одно из изданий Смирдина, или 3-е (1830—1831), или 4-е (1833—1834). В т. IX — осуждение тирании Ивана Грозного, в т. X — история Бориса Годунова, к которой Ф. М. Достоевский обратился в своем раннем творчестве.

16 Письма, т. IV, с. 196.

17 Воспоминания А. М. Достоевского..., с. 69—70. Слова, взятые мною в скобки, в этом издании отсутствуют, но находятся в изд.: *Миллер О.* Биография... 1883.

18 *Шумахер А. Д.* Поздние воспоминания о давно минувших временах. — Вестник Европы, 1899, март, с. 94.

19 Московские ведомости, 1881, 31 января, с. 3.

[20] Воспоминания А. М. Достоевского..., с. 69; *Федоров Г. А.* Пансион Чермака (см. прим. 12).

[21] Сведения о жизни, литературной и педагогической деятельности Н. И. Билевича см. в статье В. Толбина, в кн.: Гимназия высших наук и лицей кн. Безбородко. 2-е изд. СПб., 1881, с. 336—341.

[22] Об общественной пропаганде, которую вел Н. И. Полевой среди купечества и демократической молодежи, его окружавшей, см.: *Нечаева В. С.* В. Г. Белинский: Учение в университете..., 1959, с. 16—24, с. 424—427.

[23] Библиотека для чтения/ Изд. Августа Семена. Отд. 2, ч. III. М., 1846. — Гос. б-ка им. В. И. Ленина. Отдел редких книг, шифр XXIV, 75/II, с. 47—89.

[24] *Гоголь Н. В.* Полн. собр. соч., т. XIV, с. 155, 403.

На экз. статьи Н. И. Билевича «Николай Иванович Новиков» из «Московского городского листка», переплетенного в виде книжечки in 8° с ценз. разрешением 1 августа 1848 г. На форзаце авторская надпись: «Ольге Смирновой в Калуге 1851 года» (Музей книги Гос. б-ки им. В. И. Ленина).

[25] Лит. наследство, т. 77. Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток». 1965. Раздел «Первоначальные наброски к роману. Февраль—июль 1874 г.», с. 59. К этой записи А. С. Долинин поместил на с. 441 следующее примечание: «Это первая запись об учителе, как и все дальнейшие записи о нем, о детях и об его деятельности среди них, в основном восходят к неосуществленной поэме „Житие великого грешника", замысел которой связан с целым рядом записей к роману „Идиот" и относится еще к 1869 г.»

Говоря далее о плане Достоевского написать роман о современных русских детях, временно отодвинутый работой над «Бесами», Долинин указывает, что в начале 1874 г. Достоевский в связи с воплощением «Подростка» возвращается к прежнему плану и подготовительным наброскам: «Появляется какой-то учитель, часть действия происходит в пансионе Чермака... Там читают произведения Вальтер Скотта, „Герой нашего времени" Лермонтова, Гоголь — особенно часто упоминается Гоголь и эффект этих чтений... Это образ идеального учителя, положительного прекрасного человека...».

[26] Роман Вельтмана «Сердце и думка» был напечатан лишь в 1838 г., читать и восторгаться им Достоевский мог только в Петербурге, где и сообщал свое впечатление А. М. Достоевскому, некоторое время живущему у брата.

[27] Русский инвалид, 1847, № 56. Раздел: Петербургская хроника. Об отношении братьев Достоевских к Н. И. Новикову см. кн.: *Нечаева В. С.* Журнал «Время». М.: Наука, 1972, с. 205, 206, 208, 211, 240, 250.

[28] В книге «В семье и усадьбе Достоевских» (с. 43—44) мы дали расширенные сведения об этом сочинении А. Путяты, характеризующем хозяйство мелких помещиков, подобных М. А. Достоевскому. Полное название труда А. Путяты следующее: «Опытный помещик, или Вернейший руководитель гг. владельцев к увеличению доходов с недвижимых имений в 3 и 4 раза более обыкновенных, ныне получаемых и тем самым к предохранению заложенных имений от публичной продажи».

[29] См. выше примеч. 21, статью В. Толбина, с. 338—339.

[30] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. II, с. 220—225.

III. В Инженерном училище. Смерть отца

[1] *Савельев А. И.* Воспоминания о Ф. М. Достоевском. — Русская старина, 1900, № 8; Биография..., с. 35—38.

[2] Письма, т. 1, с. 42. До ликвидации Лазаревского кладбища в конце 1920-х годов, когда я хлопотала о перевозе памятника Марии Федоровне Достоевской в музей Достоевского, я записала надписи на памятниках, находившихся рядом с ним: «Альфонская Екатерина Кирилловна, урожденная Андреевская; Анна Гарднер, урожденная Андреев-

ская; Владимир Петрович Гарднер, 1819—1862...». Последний по возрасту был сверстником братьев Достоевских, мог быть им знаком по Москве и обучаться в Инженерном училище.
3 *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. М., Соцэкгиз, 1939, с. 115.
4 Письма, т. II, с. 178. Эти слова написаны в связи с заботой о здоровье племянника Достоевского, сына А. П. Иванова: «Вы пишете о нездоровье Саши, это дурно, но скажите, что за причина ему была оставить университет и заняться таким неблагодарным делом (неблагодарным, я знаю наверно), как инженерство путей сообщения. И какие расчеты были у Александра Павловича. Вот по таким же точно, может быть, расчетам и меня с братом...».
5 Письма, т. I, с. 41—43; т. IV, с. 242.
6 Письма, т. IV, с. 228.
7 Еще в 1836 г. в «Библиотеке для чтения» (т. XV, с. 79) М. А. Достоевский мог прочитать извещение: «Читателям нашим известно уже по газетам об учреждении в Петербурге императорского училища правоведения. Это чрезвычайно важное событие для нашего гражданского устройства... сохранения общественной безопасности и порядка».
8 *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских, с. 117; Письма, т. IV, с. 228—229.
9 Письма, т. IV, с. 230—231.
10 Письма, т. IV, с. 233; *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских, с. 115—119.
11 Письма, т. IV, с. 234—238.
12 Письма, т. IV, с. 446.
13 Письма, т. I, с. 47—52; Лит наследство, т. 86, с. 362; *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских, с. 119—120.
14 *Дельвиг А. П.* Полвека русской жизни. Воспоминания. Academia, 1930, т. 1, с. 399, 411—412.
15 Письма, т. IV, с. 238—242, 446; т. I, с. 52—54.
16 *Бурсов Б. И.* Личпость Достоевского, с. 112—124, 259.
17 Письма, т. I, с. 52.
18 Достоевский и его время. Л., 1971, с. 281; автограф письма 24 II. 1839 г. в Отделе рукописей Биб-ки им. В. И. Ленина.
19 Письма, т. IV, с. 267, 454.
20 *Трутовский К. А.* — В кн.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, 1964, т. I, с. 106; *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. V, с. 135.
21 *Решетов Н.* Люди и дела минувших дней. — Русский архив, 1886, кн. 10, с. 226—232; *Алексеев М. П.* Ранний друг Достоевского. Одесса, 1921, с. 1—26.
22 Письма, т. I, с. 42, 44, 49, 56—58; т. IV, с. 232—233; Литературное наследство, т. 86, с. 359; Достоевский и его время, с. 280—281; Письмо И. П. Шидловского к М. М. Достоевскому. — Гос. б-ка им. В. И. Ленина. Отдел рукописей.
23 Шидловский вспоминает напечатанные в «Современнике» (1836, № 3) статьи Пушкина о «Фракийских элегиях», стихотворениях В. Теплякова и «Об истории Пугачевского бунта», статье Броневского в «Сыне отечества».
24 *Миллер О.* Биография..., с. 38; Письма, т. I, с. 57.
25 *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. V, с. 470.
26 Письма, т. IV, с. 272; т. I, с. 49—52, 58—59.
27 Письма, т. I, с. 50; т. II, с. 549—551.
28 *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских, с. 115.
29 *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских, с. 43—48.
30 См.: По Тульскому краю. Изд. Тульского губисполкома. Тула, 1925; Московские ведомости, 1839, № 93—100; История Москвы, т. III, с. 168.
31 *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских, с. 49.

Там же ссылки на исторические источники о крестьянских волнениях этих лет и их причинах (с. 47—50).

[32] *Достоевский А. М.* Воспоминания, с. 109—110; *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских, с. 50—61; *Нечаева В. С.* Поездка в Даровое. — Новый мир, 1926, кн. 3.
[33] *Мороховец Е. И.* Крестьянская реформа 1861 г., 1937.
[34] В книге «В семье и усадьбе Достоевских» я детально обрисовала условия, в которых разыгралась трагедия, привела ряд документов и ссылок на исторические источники и личные беседы с крестьянами. Г. А. Федоров, использовав данные моей книги, не счел нужным ее назвать в статье, хотя почему-то без всякой ссылки на источник однажды сослался на мое имя для подкрепления одного из своих утверждений.

IV. Начало творческого пути. Перевод романа Бальзака

[1] Письма, т. I, с. 60—62 (19 июля 1840 г.).
[2] Лит. наследство, т. 86, с. 328—329.
[3] *Миллер О.* Биография. . ., с. 42—43.
[4] Лит. наследство, т. 86, с. 329.
[5] Письма, т. I, с. 69, 73; Лит. наследство, т. 86, с. 365, 368.
[6] Творчество Достоевского, 1821—1881 г./ Под ред. Л. П. Гроссмана. 1921, с. 41—62.
[7] *Гроссман Л. П.* Достоевский. М.: Молодая гвардия, 1965, с. 36—37. (ЖЗЛ).
[8] *Кирпотин В. Я.* Ф. М. Достоевский: Творческий путь: 1821—1859. 1960, с. 93.
[9] Письма, т. II, с. 550, 16 августа 1839 г.
[10] Письма, т. I, с. 62—64; *Гроссман Л. П.* Жизнь и труды Ф. М. Достоевского. Academia, 1935, с. 34.
[11] Отдел рукописей Гос. б-ки им. В. И. Ленина, ф. 93; Письма, т. I, с. 64.
[12] Лит. наследство, т. 86, с. 331.
[13] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. I, с. 129, 130; *Нечаева В. С.* В. Г. Белинский: Учение в университете и работа в «Телескопе» и «Молве», гл. IX. Переводы Белинского, с. 203—233.
[14] Письма. т. I, с. 70—71; т. II, с. 553.
[15] *Достоевский А. М.* Воспоминания, с. 99.
[16] *Григорович Д. В.* Из литературных воспоминаний. — В кн.: Достоевский в воспоминаниях современников, 1964, т. I, с. 128—130.

В 1844 г. Достоевский планировал перевод романа Е. Сю «Матильда» с бывшим товарищем по Инженерному училищу Оскаром Паттоном. — См. статью: *Гроссман Л. П.* Бальзак в переводе Достоевского. В кн.: *О. Бальзак.* Евгения Гранде. «Academia», 1935.
[17] Письма, т. I, с. 47, 69; т. II, с. 550.
[18] В указанной в примеч. 16 статье Л. П. Гроссман писал: «Было бы соблазнительно показать, как образ старика Гранде мог поразить фантазию Достоевского по своему сходству с образом его отца, Михаила Андреевича Достоевского, старого скупца, дрожавшего над сломанными ложками, видевшего воров во всех окружающих и совмещавшего, подобно герою Бальзака, сентиментальность с жестокостью. На такое сближение дает нам основание повторение Достоевским от имени старика Гранде характерного выражения из писем отца писателя к его матери — „жизненочек", но за отсутствием каких-либо доказательств ограничимся этим беглым указанием».
[19] *Бальзак О.* Собр. соч. М.: Изд-во «Правда», 1960, т. VI, с. 516.
[20] Приводим эти сведения, необходимые для желающих выписать это издание в центральных библиотеках Москвы, так как на мой первоначальный запрос в Гос. б-ке иностр. лит-ры и Гос. б-ке им. Ленина о французском издании «Eugénie Grandet» Бальзака 1834 г. я получила ответ об отсутствии такого издания.
[21] См.: Charles de Lovenjoul. Histoire des Oeuvres de H. de Balzac. Paris: Calman Levy, 1879.

Для сопоставления с текстом перевода Достоевского я пользовалась изданиями Бальзака: 1. «Eugénie Grandet», 1834, Paris, M-me Charles-Bichet edit. 2. 1834. Bruxelles. J. P. Meline edit. 3. 1839. Paris: Charpentier. libraire-editeur. Edition revue et corrigée.

22 *Гроссман Л.* Библиотека Достоевского. Одесса, 1919, с. 43; *Поспелов Г. Н.* ««Eugénie Grandet» Бальзака в переводе Ф. М. Достоевского. — Ученые записки Ин-та яз. и лит-ры (РАНИОН), 1928, т. II, с. 127, 128.

23 Французский текст: «au farouche républicain».

24 В перепечатке перевода в изд. Пантелеева вставлено: «во мне нравится. Поклянитесь оставить меня свободною на всю жизнь, не напоминать мне ни одного из супружеских прав, и вот вам рука моя».

25 См. французское издание 1834 г., с. 324—325 и все следующие. В русском переводе включены Л. П. Гроссманом в изд. «Academia» (1935 г.). См. также: *Бальзак О.* Собр. соч., т. 4, с. 183—189.

26 Письма, т. I, с. 68—70; *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. II, с. 498.

27 Письма, т. I, с. 71; т. II, с. 555. В тексте второй цитаты напечатано вместо: Aldini — Albini и так же в указателе имен (т. IV).

28 *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. VIII, с. 491.

29 *Sand Georges.* La dernière Aldini. Paris: Calman Lévy edit., 1882, p. 67. В «Библиотеке для чтения» (1838, т. 27, отдел II, Иностранная словесность, с. 142—240) напечатано: «„Il primo tenore“, повесть из нового романа Ж. Санда (госпожи Дюдеван)». Название романа не указано. Повесть является не переводом, но очень близким, хотя и сокращенным пересказом романа «La dernière Aldini», с некоторым стремлением затушевать плебейское происхождение Лелио (певца), его сочувствие карбонариям и простому народу. Эта более ранняя публикация, очевидно, и помешала появлению в печати готового перевода Достоевского в 1844 г.

V. «Бедные люди»

1 Воспоминания о Ф. М. Достоевском А. Е. Ризенкампфа частично опубликованы Орестом Миллером в «Биографии» (1883, с. 34—53) и дополнены Г. Ф. Коган по автографу в изд.: Литературное наследство (т. 86, 1973, с. 322—331).

2 *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. XI, с. 418, 420, 452.

3 Стихотворение Ап. Григорьева, помещенное в «Репертуаре и Пантеоне» (1845, т. XII).

4 Письма, т. I, с. 76.

5 См.: Русская повесть XIX в. М.: Наука, 1973, гл. II. Путь развития романтической повести. Повесть 20—30-х годов, ее разновидности и тенденции.

6 Письма, т. I, с. 73—74; Дневник писателя, 1877, январь.

7 О Емельяне Ильиче, который в «Бедных людях», сблизившись с Макаром Девушкиным, втягивал его в «дебоши», Астафий Иванович («Честный вор») рассказывал: «А прежде он тоже, как и ко мне, к одному служащему хаживал, привязался к нему, вместе все пили; да тот спился и умер с какого-то горя» (*Достоевский.* Полн. собр. соч., т. II, с. 85). Рассказав о горе Вырина и узнав о его смерти, Пушкин так заканчивал историю смотрителя: «Отчего же он умер? — спросил я пивоварову жену. — „Спился батюшка“, — ответила она».

8 *Кирпотин В. Я.* Ф. М. Достоевский: Творческий путь (1821—1859). М., 1960, с. 247—248; Письма Белинского к Боткину. — В кн.: *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. XII, с. 53—76.

9 См. выше, с. 127—129.

10 *Нечаева В. С.* В. Г. Белинский (1842—1848). М.: Наука, 1967, гл. II, Белинский и утопический социализм, с. 35—66, 483—486.

[11] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. IV, с. 68—109. Эта статья Белинского имела большое влияние на прогрессивную общественную мысль. О ней Чернышевский писал в «Очерках Гоголевского периода», цитируя отрывок: «...все это проникнуто самыми гуманными плодотворными для нашей жизни понятиями... Вся статья о детских книгах имеет самое живое отношение к нашей действительности».

[12] *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских. М.: Соцэкгиз, 1939.

[13] Письма, т. IV, с. 244. Письма М. М. Достоевского к сестре Варваре 1839 г. в Отделе рукописей Гос. б-ки им. В. И. Ленина, ф. 93. Частично опубликованы Л. Р. Ланским (Лит. наследство, т. 86).

[14] Лит. наследство, т. 86, с. 373.

[15] *Фридлендер Г. М.* Реализм Достоевского. Л., 1964, с. 62—63.

[16] См. выше прим. 5.

[17] *Виноградов В. В.* О языке художественной литературы. М., 1959, с. 477—493.

[18] *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских, с. 81.

[19] *Виноградов В. В.* Сюжет и архитектоника романа Достоевского «Бедные люди». — В кн.: Творческий путь Достоевского/ Под ред. Н. Л. Бродского. М., 1924, с. 89.

VI. «Двойник»

[1] Письма, т. I, с. 79—80.

Датировано: «конец августа—начало сентября». По разысканиям А. М. Конечного мы знаем, что Достоевский выехал из Ревеля 1 сентября 1845 г. и, следовательно, письмо надо датировать 3 сентября (Достоевский и его время. Л., 1971, с. 283).

[2] *Евнин Ф. И.* Об одной историко-литературной легенде: (Повесть Достоевского «Двойник»). — Русская литература, 1965, № 3, с. 3—26.

[3] *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. X, с. 40 (статья: Взгляд на русскую литературу 1846 г.).

[4] Письма, т. I, с. 89.

[5] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. I, с. 488. Комментарии к «Двойнику». Читаем — без ссылок на печатный источник: «По мнению Г. М. Федорова, в Голядкине можно угадать и некоторые черты отца писателя, которого постоянно мучило чувство материальной необеспеченности». Но как раз эта черта совершенно не характерна для Голядкина, а сближает его с М. А. Достоевским мнительность по отношению к окружающим, ощущение ущемленности своих прав, амбициозность.

[6] Письма, т. I, с. 89, 1 апреля 1846 г.

[7] *Майков В. Н.* Критические опыты (1845—1847). СПб., 1897, с. 294, 327.

[8] *Добролюбов Н. А.* Полн. собр. соч., 1963, т. VII, с. 260.

[9] В академическом издании собрания сочинений Гоголя 1952 г. (т. XIII, № 133 и 195) в комментариях сообщено о нахождении в Отделе рукописей Гос. б-ки им. В. И. Ленина писем Малиновского к Гоголю, но они не опубликованы и их содержание не использовано для уточнения сведений о корреспонденте и его письмах к Гоголю.

[10] Письма, т. I, с. 257, 1 октября 1859 г.

VII. «Господин Прохарчин»

[1] Несмотря на явно выраженную Достоевским мысль, что путь развития скупости Соловьева был «другой», В. Л. Комарович увидел в «Сновидениях» Достоевского «как бы остов будущей теории ротшильдства» Аркадия (роман «Подросток»), для которого, так же как и для Соловьева из фельетона, богатство ценно лишь как источник «уединенного спокойного сознания силы», т. е. увидел идею пушкинского скупого рыцаря, которую именно отвергал Достоевский (*Комарович В. Л.*

Неизвестная статья Достоевского «Петербургские сновидения в стихах и прозе». — Русская мысль, 1916, кн. 1, с. 105).

[2] Журн. Время, 1861, № 1, с. 1—22 (фельетон).

[3] Письма, т. I, с. 89, 91, 92, 95.

[4] *Добролюбов Н. А.* Полн. собр. соч., 1963, т. VII, с. 260—261.

[5] Северная пчела, 1844, № 129. Статейка подписана буквами П. В., поставленными в скобки.

[6] Эта первая часть данной статьи была мною напечатана в журн. «Русская литература» (1965, № 1, с. 157—158).

[7] Письма, т. I, с. 108.

[8] По нашему мнению, Б. И. Бурсов в «Личности Достоевского» не учитывал это отличительное свойство Прохарчина, позволяя себе сопоставлять его с Михаилом Андреевичем Достоевским и даже с Раскольниковым: отсутствие идеи накопительства у первого, философски заостренная мысль второго противоречат самой возможности их сопоставления.

Между тем у Б. И. Бурсова читаем па с. 245: «И я спрашиваю себя: не мелькал ли в глубинах сознания Федора Михайловича, когда он писал „Господина Прохарчина", образ его собственного родителя?!» А на с. 333: «В ничтожном чиновнике Прохарчине отчетливо прорезывается образ Раскольникова».

[9] Отметим, что в языке болтающих о пустяках чиновников вдруг прорываются сакраментальные канцелярские выражения, вызывающие соответствующую реакцию: «Тут Семен Иванович поспешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех языков могуче-форменная фраза „Неоднократно замечено" окончательно осекла все его возражения...» (с. 243).

VIII. «Неточка Незванова»

[1] Русская повесть XIX века. Л., 1973, ч. II, с. 104—106.

[2] *Достоевский Ф. М.* Собр. соч.: В 10-ти т., 1956, т. 2, с. 648; *Кирпотин В. Я.* Ф. М. Достоевский (1821—1859). М., 1960, с. 319.

[3] *Белинский В Г.* Полн. собр. соч., т. VI, с. 426.

[4] Письма, т. I, с. 104, 17 декабря 1846 г.

[5] *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. 2, с. 497—498.

В настоящее время одно из автобиографических примечаний комментатора академического издания может быть предложено и расширено в связи с новыми появившимися материалами. На с. 503, т. 2 (к с. текста 143), читаем: «В рассказе о таинственной смерти капельмейстера, возможно, есть отзвук реального трагического события, пережитого молодым Достоевским: в 1839 году отец писателя был убит своими крестьянами... в документах следствия было записано, что смерть произошла от апоплексического удара». Опубликованные в 1975 г. Г. А. Федоровым материалы следствия о смерти М. А. Достоевского сообщают, что через месяц после смерти отца писателя в суд поступил донос о том, что причиной смерти был не апоплексический удар, а убийство его крепостными крестьянами. Этот донос вызвал возобновление дела (см. в нашей книге раздел IV, с. 91—94). В рассказе Неточки о Ефимове читаем: «Через месяц после смерти итальянца скрипач графского оркестра подал донос в суд, что причиной смерти был Ефимов и что „апоплексический удар произошел не от пьянства, а от отравы", и „требовал следствия в другой раз"». Началось дело, которое «заинтересовало всю губернию» и окончилось тем, что скрипач был уличен «в ложном доносе». Хотя «формально» Ефимов был оправдан, но скрипач, не имея доказательств, продолжал до скорой своей смерти настаивать, что убийцей итальянца был Ефимов.

Текст рассказа Неточки, дышащие злобой и ненавистью высказывания Ефимова об итальянце не исключают возможности предположе-

ния, что он был причастен к смерти своего учителя. Об этом же говорит сцена его с Неточкой после смерти жены и перед бегством из дома, когда он в припадке бешенства «чуть не убил на месте» девочку, восклицая: «Ах! так еще ты осталась! Так еще не все кончилось». Подведя дочь к покойнице, он настойчиво твердил одно: «Он был ужасно бледен, губы его двигались и что-то шептали. „*Это не я*, Неточка, *не я*, —говорил он мне, указывая дрожащей рукой на труп. — Слышишь, *не я: я не виноват в этом*. Помни, Неточка!“» (с. 186, подчеркнуто Достоевским). Не было ли это упорное отрицание связано с памятью о смерти итальянца?

6 *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., с. 498—500.

7 См. разделы III и V и примечания к ним.

8 *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского, с. 52, 58; *Нечаева В. С.* В семье и усадьбе Достоевских, с. 120.

9 *Достоевский А. М.* Воспоминания, с. 107.

10 См. раздел II этой книги, с. 42 и примеч. 14.

11 Лит. наследство, т. 83, с. 372; Письма, т. IV, с. 244.

12 *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского, с. 82.

13 Лит. наследство, т. 77, с. 290, 498.

14 В кн.: Дворянские роды, внесенные в Общий гербовик Всероссийской империи/ Сост. гр. А. Бобринский, ч. II, с. 621. А. А. Куманин имел ряд наград и благодарностей за свою филантропическую деятельность: 30 сентября 1834 г. — орден св. Анны 3-й степени за усердие «на пользу нуждающихся московских жителей по бывшему комитету для предупреждения затруднений по продовольствию Москвы». Члены комитета в продолжение шести месяцев оказывали пособие бедным семействам безденежной выдачей муки и заботились о снижении цен на хлеб. В 1832 г. А. А. Куманину была сообщена «высочайшая благодарность» как члену Совета Московского коммерческого училища, оказывавшего ему много услуг, а 17 февраля 1839 г. за то же и за денежные пожертвования вручен орден св. Станислава 4-й степени. В 1826 г. он был приглашен московским генерал-губернатором кн. Голицыным в члены Комитета по организации московской Глазной больницы как человек, «известный по своему человеколюбию и благотворительности», и оставался в комитете, имея благодарности за сбор пожертвований в пользу больницы и за заботы о ее снабжении всем необходимым. Был он также казначеем и попечителем Глебовского подворья, как-то связанного с Глазной больницей. В 1844 г. он просил освободить его по домашним обстоятельствам.

IX. «Петербургская летопись»

1 Письма, т. I, с. 108, 109 (апрель 1847).

2 *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. VI, с. 451—453; т. VIII, с. 482.

3 Там же, т. XII с. 324; т. X, с. 88—101.

Фельетон Соллогуба, о котором пишет Белинский, был помещен в № 15 от 19 января 1847 г., а не февраля, как указано в примеч. на с. 441.

4 Фельетоны Достоевского были мною обнаружены в 1921 г. в связи с работой, организованной П. Н. Сакулиным по изучению русской журналистики 40-х годов XIX в. У него в квартире собирался кружок молодых литературоведов, его бывших учеников, в числе которых были Д. А. Горбов, В. В. Баранов, П. А. Марков, Л. В. Крестова и др. П. Н. Сакулин наметил, как наиболее интересное, изучение журналистики 1847 г. и предложил каждому, взяв определенное издание, на карточках описать содержание томов, указать авторов-участников издания, характерные особенности публикации и т. д.

Мне достались журнал «Современник» и газета «Санкт-Петербургские ведомости». Изучая последнюю, я и обнаружила фельетоны Достоев-

ского, чему способствовало особое внимание к этому писателю в связи со столетием со дня его рождения — 1921 г.

При помощи М. О. Гершензона, под руководством которого я в это время работала в Архиве культуры и быта (Центрархив), мне удалось напечатать найденные фельетоны в книге: Ф. М. Достоевский. Петербургская летопись. (Из неизданных произведений) / Предисл. В. С. Нечаевой. Петербург—Берлин: Эпоха, 1922.

5 *Достоевский Ф. М.* Собр. соч. Под ред. Б. В. Томашевского, т. XIII, 1930, с. 608—609.

6 *Гаранина Н. С.* Литературно-критическое наследие А. Н. Плещеева. — Вестник Москов. ун-та, 1961, № 3, с. 42—55; *Пустильник Л. С.* Атрибуция анонимных и псевдонимных критических статей и рецензий Плещеева. — Научные доклады высшей школы: Филологические науки, 1962, № 2.

7 Лит. наследство, 1939, т. 15, с. 260.

8 Письма, т. I, с. 109.

9 Письма, т. I, с. 107, 108, 111.

10 Видение Нефедевича на Неве (конец «Слабого сердца») Достоевский, как известно, перенес в свой фельетон «Сновидения в стихах и прозе» (журн. «Время», 1861), в котором тот же текст является как бы видением самого автора.

11 Считаю нужным отметить, что в изданных мною в 1922 г. фельетонах Достоевского «Петербургская летопись» отсутствует фельетон 1 июня не из-за случайного пропуска и недосмотра. Объясняется это дефектным комплектом за 1847 г. газеты «Санкт-Петербургские ведомости», которым я принуждена была пользоваться в 1921 г. в библиотеке Румянцевского музея. Тогда я не имела возможности получить другой экземпляр в Москве, а тем более поехать для этого в Петроград.

12 О фельетоне Достоевского 1 июня см.: *Кирпотин В. Я.* Достоевский: Творческий путь (1821—1859). М., 1960, с. 176—185; *Кийко Е. И.* Белинский и Достоевский о книге Кюстина «Россия в 1839 г.» — В кн.: Достоевский: Материалы и исследования, 1974, с. 196—200; *Шарапова А.* Тема Петербурга в творчестве Достоевского 60-х годов. — Ученые записки Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. Рус. лит. 1969, т. 239, вып. 13.

13 *Бурсов Б. И.* Личность Достоевского. 1974, с. 467, 472, 474, 505, 470.

14 Фельетон 13 апреля.

15 Фельетон 1 июня.

16 Письма, т. I, с. 89; *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. XII, с. 352.

17 Письма, т. II, с. 169—170.

18 *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. X, с. 349—350; т. XII, с. 347.

19 Излагая эту часть повести, Достоевский писал: «Вот разбился чайник; правда денег стоит; но при людях все-таки совестно, когда муж начинает стыдить и попрекать за неловкость...».

В повести «Сбоев» говорится не о разбитом чайнике, а о миске, чашке и блюдце. Интересно отметить, что эпизод о разбитом дочерьми чайнике в таком же скромном семействе и страх перед отцом использован в романе «Деньги» Мих. Мих. Достоевского (1850), где играет заметную роль в развертывании сюжета произведения. Не была ли история с «разбитым чайником» семейным воспоминанием обоих братьев.

20 Стихотворение А. Н. Майкова.

21 О «сатирическом разоблачении состоятельных и достаточных граждан выше среднего чиновного и барского круга» в фельетонах Достоевского см.: *Шарапова Г. А.* Ф. М. Достоевский — художник и публицист. — Ученые записки Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. Рус. лит-ра, 1969, т. 239, вып. 13.

22 *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч., т. VIII, с. 167—186.

23 О Мастаке в первом томе романа, гл. IV, читаем разговор Родольфа с Резакой (le Chourineur). Родольф спрашивает о Мастаке: «Pourquoi

é'tait-il bagne?» Резака отвечает: «Pour avoir était faussaire voleur et assassian. On l'appelle le Maître d'école, parce qu'il a une ecriture superfe et qu'il est très savant».

У Мастака есть сын. Он и его сообщники готовят из него в будущем помощника в деле конторских и банковских преступных операций. Жак Ферран, изображение которого в романе хвалит Белинский в своей статье, является нотариусом, слывущим исключительно набожным, справедливым и знатоком своего дела, а в то же время он организатор ряда преступных дел, проходящих через его контору. См.: *Sne Eugéne*. Les mystéres de Paris. Bruxelles, 1844, t. I, p. 48, 171, 198, 215; t. II, p. 155 и др.

24 О прототипе Шумкова — Я. П. Буткове — и о связи Юлиана Мастаковича с образом Краевского см.: *Альтман М. С.* Из арсенала имен и прототипов литературных героев Достоевского. — В кн.: Достоевский и его время. Л., 1971, с. 196—201.

25 Следуя за рядом предшественников, сопоставил Быкова с Карепиным и Б. И. Бурсов в «Личности Достоевского»: «П. А. Карепин потребовался Достоевскому на роль прототипа помещика Быкова в „Бедных людях“» (с. 185).

26 Письма, т. IV, с. 449—450; т. I, с. 74.

27 Историю публикации «Иллюстрированного альманаха», «Ползункова» и литературу о нем см.: *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. II, с. 472—474; *Нечаева В. С.* Ф. М. Достоевский: Ползунков/ Рис. П. А. Федотова. Госиздат, 1928.

28 О «Ползункове» и дальнейшем развитии этого типа в творчестве Достоевского см.: *Шарапова Г. А.* К проблеме характера в творчестве Достоевского 40-х годов: (Рассказ «Ползунков»). — Ученые записки Моск. обл. пед. ин-та им. Н. К. Крупской. Рус. лит., 1969, т. 239, вып. 13, с. 94—106.

X. М. М. Достоевский — беллетрист конца 1840-х годов

1 *Бельчиков Н. Ф.* Достоевский в процессе петрашевцев. М.: Наука, 1971, с. 123; Письма, т. I, с. 128—131; т. II, с. 99.

2 Следственное дело М. М. Достоевского-петрашевца: Показания Михаила Достоевского. — В кн.: Достоевский: Материалы и исследования. Л.: Наука, 1974, с. 259—265. См. выше примеч. 2 к «Введению».

3 Журн. «Эпоха», 1864, июнь, с. I—IV; *Достоевский Ф. М.* Собр. соч./ Под ред. Б. В. Томашевского. 1939, т. XIII, с. 340—343.

4 Статья о «Грозе» Островского в журн. «Русский мир», 1860.

5 Современник, 1849, кн. 1, отд. 3, «Заметки о русской литературе, 1848 г.»

6 См. сб.: Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников, т. I. с. 166—167.

7 Ф. М. Достоевский писал брату 1 января 1840 г.: «Сюжет твоей драмы прелестен, видна верная мысль, и особенно то нравится мне, что твой герой, как Фауст, ища беспредельного, необъятного, делается сумасшедшим именно тогда, когда он нашел это беспредельное и необъятное — когда он любим. Это прекрасно!» (Письма, т. I, с. 58).

8 В трех повестях М. М. Достоевского из пяти наем квартиры с описанием хозяев и жильцов играет важную роль в развитии сюжета.

9 Современник, 1850, кн. II, отд. VI, с. 28 («Современные заметки»): «Есть повести и романы, которые словно написаны по известному рецепту; в них вы почти не встретите индивидуального воззрения автора на жизнь и на людей, взамен того найдете много подробностей, совершенно верных и совершенно лишних», и т. д.

10 См. замечания в цитированной выше рецензии «Современника» 1849 г. (примеч. 5), а также некролог М. М. Достоевского в «Иллюстрированной газете» 1864 г. (т. XIV, № 27): «До своего редакторства покойник

написал несколько замечательных повестей: между ними „Г. Светелкин“ памятна всем».

То же в той же газете 1874 г. (12 мая, № 18), в статье, посвященной М. М. Достоевскому. Возможно, что «Светелкина» имел в виду в некрологе брату Ф. М. Достоевский, находя «признаки таланта в одном небольшом рассказе, помещенном в „Отеч. зап.“ в 1848 году».

11 Письма, т. I, с. 54.

12 *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. II, с. 444—445.

13 Там же, с. 511—513.

14 П. А. Карепин писал Ф. М. Достоевскому 5 сентября 1844 г., отказывая ему в просьбе выделить его часть наследства и не одобряя его выход в отставку в связи с желанием отдаться литературной работе. Он поучал его идти путем «труда, прилежания и терпения», которые предоставляла ему служба по полученной им специальности. «Вам ли оставаться при софизмах портических, в отвлеченной лени и неге Шекспировских мечтаний? На что они, что в них вещественного, кроме распаленного, раздутого, распухлого — преувеличенного, вещественного образа? Тогда как в вещественности вам указан и открыт путь труда уважительного...» и т. д.

Ф. М. Достоевский, резко, по пунктам, отвечая Карепину, писал между прочим: «...вам не следовало бы так наивно выразить свое превосходство заносчивыми унижениями меня, советами и наставлениями, которые приличны только отцу, и шекспировскими мыльными пузырями. Странно: за что так больно досталось от вас Шекспиру. Бедный Шекспир!».

Об этой переписке с Карепиным Ф. М. Достоевский юмористически писал брату, подчеркивая «комическую черту, озлобление на Шекспира» (Письма, т. IV, с. 450, 252—253; т. I, с. 73—74).

15 Выдержки из писем о болезненном состоянии Карепина (январь—сентябрь 1849 г.) В. М. Карепиной к А. М. Достоевскому см. в кн.: *Волоцкой М. В.* Хроника рода Достоевского, 1933, с. 163—164.

16 *Достоевский Ф. М.* Полн. собр. соч., т. II, с. 511. — Читаем: «Не исключено и то, что некоторые черты богатого слабоумного старика... объекта домогательств многих наследников, могли быть подсказаны письмом М. М. Достоевского от 18 апреля 1856 года, в котором говорилось о родственнике Достоевских П. А. Карепине: „На дядю плохая надежда. Он безвыходно живет в креслах и стал как ребенок, а братья его и племянники овладели тетушкой. Просто взяли целый дом в опеку“».

В письме М. М. Достоевского речь идет не о Карепине, который не был «дядей» и умер в 1850 г., а о А. А. Куманине и его жене, сестре матери Достоевских (Письма, т. I, с. 529).

17 О том же обыкновении делиться с друзьями задуманными сюжетами будущих произведений в 1859 г. писал М. М. Достоевский брату, вспоминая 1840-е годы: «Вот ты теперь и колеблешься между двумя романами, и я боюсь, что много времени погибнет в этом колебании. Зачем ты мне рассказывал сюжет? Майков раз как-то давным-давно сказал мне, что тебе стоит только рассказать сюжет, чтобы не написать его» (Ф. М. Достоевский: Материалы и исследования, 1935, с. 515).

Интересна отрицательная характеристика самого Ф. М. Достоевского этой повести, как о «нарочно выдуманной», и другие отзывы, собранные В. Я. Кирпотиным в кн.: Ф. М. Достоевский: Творческий путь (1821—1859). М., 1960, с. 509—512. Здесь после ряда примеров и сопоставлений В. Я. Кирпотин пишет: «Так из обломков чужих и своих созданий Достоевский строит произведение, поддерживаемое только силой его недюжинного дарования». Однако повесть М. М. Достоевского В. Я. Кирпотин не упоминает.

18 Рукопись романа, переданная Е. М. Достоевской, и черновая тетрадь М. М. Достоевского, переданная мне его внуком, Милием Федоровичем

Достоевским, находятся в Отделе рукописей Б-ки им. В. И. Ленина. «Брат и сестра», как и другие беллетристические произведения М. М. Достоевского, собраны и перепечатаны по текстам, опубликованным в журналах 1840—1850 гг. в двухтомном издании: «Собрание сочинений М. М. Достоевского». Пг., изд-во «Пантеон литературы», 1915.

19 *Семенов А.* Изучение исторических сведений о российской внешней торговле и промышленности с половины XVIII ст. по 1858 г. СПб., 1859, ч. III, с. 242; *Веселовский К. С.* Статистическое исследование о недвижимом имуществе в Санкт-Петербурге. — Отечественные записки, 1847.

20 Нам точно неизвестно, когда и при помощи каких связей М. М. Достоевский решительно вступил на новый жизненный путь, посвятив свою деятельность производству, табачной промышленности, и торговле. По рассказам мне Е. М. Достоевской, в начале это было очень скромное, почти домашнее предприятие, в котором работали все члены семьи. Лишь к середине 1850 г. в результате непрерывных героических усилий положение улучшилось, дело росло, но не стало прочным, устойчивым, и в конце 1850—начале 1860 гг. из-за обилия долгов по производству М. М. Достоевский был принужден за бесценок продать предприятие. Вот несколько строк из его большого письма брату в Сибирь от 18 апреля 1856 г., где он рассказывает о своей жизни после отправки Ф. М. Достоевского на каторгу: «Я начал фабрику, как ты сам знаешь, без всякого капитала. У меня пошло хорошо, но самое расширение производства, вместо того, чтобы увеличивать мои средства, только стеснило их. Я должен был сделать кредит... Я бьюсь, как рыба об лед, и наверно скоро поседею. Но не воображай себе, что я сделался коммерческим и практическим человеком. Увы! Все такой же последний из романтиков. Худой и бледный...» (Письма, т. I, с. 527—530).

21 В опубликованном М. М. Достоевским отрывке из романа «Деньги», под названием «Брат и сестра» (журн. «Пантеон», 1852, кн. III), имя квартального надзирателя, по рукописи «Искариот Петрович», заменено «Степаном Петровичем», а описание его внешности, быта и приведенная цитата-характеристика в печати выброшены, конечно, по цензурным соображениям.

Жур. «Репертуар и Пантеон», выходил в 1842—1848 и 1850—1856 гг., несколько раз сменял названия (см.: БСЭ, т. 36, с. 395—396). В 1852—1856 гг. назывался просто «Пантеон», в 1847 г. назывался «Репертуар и Пантеон театров», а в 1848 г. — «Пантеон и Репертуар русской сцены»).

22 О романе «Деньги» см. также в кн.: *Нечаева В. С.* Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время». М., 1972, с. 23—24. Там же и в книге «Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских „Эпоха“» (М., 1975) дана характеристика последних лет жизни и деятельности Михаила Михайловича Достоевского.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Вера Степановна Нечаева

Ранний Достоевский
1821—1849

Утверждено к печати
Институтом мировой литературы им. А. М. Горького
Академии наук СССР

Редактор издательства *Е. Г. Павловская.* Художник *Ю. А. Ноздрин*
Художественный редактор *С. А. Литвак*
Технические редакторы *И. Н. Жмуркина, Т. А. Прусакова*
Корректоры *Г. М. Котлова, Л. А. Сулханова*

ИБ № 15059

Сдано в набор 12.09.78. Подписано к печати 9.IV.79. А-11620. Формат 60×90[1]/[16].
Бумага типографская № 1. Гарнитура обыкновенная. Печать высокая.
Усл. печ. л. 18. Уч.-изд. л. 20,6. Тираж 38600 экз. Тип. зак. 768.
Цена 1 р. 60 к.

Издательство «Наука» 117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 94а

Ордена Трудового Красного Знамени Первая типография издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, 12

1 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»